ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[4] 2010

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД:
ФРАНЦУЗСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

А ТАКЖЕ РОМАН **ДОНА ДЕЛИЛЛО** "ПАДАЮЩИЙ"

Основан в 1955 году

[4]
2010

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Дон Делилло *Падающий.* Роман. Перевод с английского С. Силаковой

181 *"Я больше не узнаю Америку".* Три интервью Дона Делилло. Составление и перевод с английского С. Силаковой

Литературный гид *Французский калейдоскоп*

191 Лоран Годе *Рассказы из сборника "В мозамбикской ночи".* Перевод Татьяны Чугуновой

222 *Из современной поэзии.* Жак Ансе, Жерар Бошолье, Жан Мамбрино, Жан-Ив Массон, Салах Стетие, Людовик Жанвье. Переводы Михаила Яснова, Алины Поповой. Составление и предисловие Марка Фонтана

239 Мишель Пастуро *Синий. История цвета.* Фрагменты книги. Перевод Нины Кулиш

Carte blanche

298 Игорь Померанцев *Czernowitz.* Воспоминания утопленника

Среди книг

307 Елена Фанайлова *Князья тишины*

БиблиоФИЛ

311 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

316

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

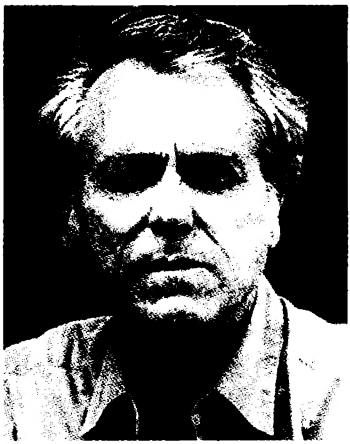
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства [illegible]
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента [illegible] Ельцина

Дон Делилло



Падающий

Роман

Перевод с английского С. Силаковой

Часть первая
Билл Аден

1

УЛИЦА была уже не улица, а чужая планета, пространство-время, где пепел падал, как снег, и сгущалась ночь. Он шел в северном направлении по грязи и крошеву, другие бежали, прикрывая лица полотенцами, головы – пиджаками. Прижимали носовые платки ко рту. Обувь свою несли в руках, одна женщина – в каждой руке по туфле. Они бежали и падали – не все падали, некоторые, – растерянные, неуклюжие, а вокруг сыпались обломки. Кое-кто прятался под автомобили.

© 2007 by Don Delillo
© С. Силакова. Перевод, 2010
Отдельным изданием роман выйдет в издательстве "Флюид".

Грохот все еще висел в воздухе. Грохот, означавший: "накренилось и рухнуло". Вот каков теперь его мир. Дым и пепел несутся по улицам, заворачивают за углы зданий, заволакивают углы, цунами из дыма, и тут же летят бумаги, листы А4 с острыми как бритва краями, фр-р — мимо, нездешние какие-то, в утренней дымке.

Он шел: в деловом костюме, с портфелем. В волосах, на щеках — осколки стекла: сверкающие кровавые ростки. У вывески "Завтраки: специальное предложение" навстречу попались они — полицейские и охранники: бежали ТУДА, придерживая револьверы на поясе.

Внутри — там, где полагалось быть его "я", — все обмерло, отступило вдаль. А вокруг что-то происходит: под горой обломков еле заметен автомобиль, окна — вдребезги, наружу выплескивается шум: радиоголоса силятся выбраться из-под руин. Он видел, как мокрые люди отряхиваются на бегу, — система пожаротушения сработала, облила водой лица, волосы, одежду. На мостовой валялись ботинки, сумочки, ноутбуки, на тротуаре сидел мужчина и харкал кровью. Мимо скакали бумажные стаканчики, вприпрыжку — странно...

И вот что еще происходит теперь в мире: на тысячефутовой высоте в окнах мелькают фигуры и валятся в пустоту, и пахнет горящим керосином, и сирены размеренно пилят воздух. Всюду, куда ни сунься, залежи шума: звуки стекаются со всех сторон, наслаиваются; пытаясь отдалиться от шума, снова погружаешься в его толщу.

И одновременно — другое, в отрыве от всего остального, чуждое всему, отрешенное. Он видел, как ЭТО падало. Рубашка: вылетела из клубов дыма в высоте, закружилась, подхваченная ветром, в полумраке, поднялась повыше, снова начала снижаться: ее сносило к реке.

Люди бежали, а некоторые, не все, останавливались — стояли пошатываясь, пытаясь набрать в грудь воздуха, а воздух пылал, в воздухе скапливались отрывистые заполошные вскрики, заблудившиеся оклики вперемешку с бумагами, пролетали мимо контракты и сводки, уцелевшие в неприкосновенности фрагменты деловой жизни — раз, и упорхнули.

Он шел себе, шел дальше. Вот те, кто бежали, а потом остановились, вот другие, бегущие, сворачивают на боковые улицы. Некоторые идут спиной вперед, уставившись ТУДА, глядя, как там, позади, столько жизней бьется в агонии, а сверху всё падают и падают какие-то штуки, опаленные, с огненными шлейфами.

Он увидел, как две женщины шли пятясь и рыдая, глядя мимо него. Обе в спортивных шортах. Лица искажены страданием.

Он увидел группу, которая занималась тайцзи в соседнем парке: эти люди развели руки и застыли, словно пытаясь ввести все, включая себя, в латентное состояние.

Из закусочной кто-то вышел, попытался всучить ему бутылку с водой. Женщина: в маске от пыли, на голове бейсболка. Отдернула бутылку, отвинтила пробку и снова протянула. Он поставил портфель, чтобы взять бутылку, смутно сознавая: левая рука не слушается, если бы не отпустил ручку портфеля, так бутылку бы и не взял. С боковой улицы выскочили, заложив крутой вираж, три полицейских фургона и, завывая сиренами, умчались туда, откуда он шел. Он зажмурился, сделал глоток, почувствовал, как вода проникает в тело, увлекая за собой пыль и копоть. Женщина смотрела на него. Что-то сказала — он не расслышал. Вернул ей бутылку, подхватил портфель. В воде ощущался привкус крови.

Он снова зашагал. На тротуаре — пустая магазинная тележка, поставленная на попа. За тележкой, лицом к нему, стояла женщина. Ее голова была обкручена желтой полицейской лентой, лентой с надписью "осторожно", которой огораживают место преступления. Глаза — узкие проблески, мертвенно-белые на фоне яркой маски; вцепившись в ручку коляски, женщина стояла, уставившись в клубы дыма.

Прошло еще какое-то время, и он услышал, как рухнула вторая. Пересек Кэнэл-стрит; теперь он все видел в каком-то ином свете. Казалось, все утратило привычный смысл: и булыжная мостовая, и чугунное литье на фасадах. Вещи вокруг него лишились какого-то главного свойства. Все было "незавершенное" — что бы это слово ни значило. "Никем не видимое" — что бы под этим ни подразумевалось.

Витрины, пандусы складов, разводы краски на стенах. Возможно, так выглядит мир, когда его некому увидеть.

Звук второго падения он услышал или ощутил в содроганиях воздуха; северная рухнула, тихие голоса вдалеке, ропот благоговейного ужаса. Он сам рухнул с северной башней.

Здесь небо было светлее, дышалось легче. За ним шли другие, тысячи людей чуть позади, людские массы, движущиеся почти что строем, выходящие из клубов дыма. Он шел и шел, пока не остановился, поневоле. Вдруг как-то сразу понял: больше невмочь.

Попытался сказать себе: "Я жив", но эта мысль была совершенно непостижима, в голове не укладывалась. Не видно ни одного такси. Вообще почти нет движения — ни такси, ни других машин. Потом — старый фургон, на кузове: "Лонг-Айленд-Сити. Электротехнические работы", притормозил рядом, и водитель, высунувшись из правой дверцы, вгляделся в

то, что перед ним предстало, — в человека в чешуе из пепла, в чешуе из мира, растоптанного в пыль, — и спросил, куда ему ехать. И только забравшись в кабину и прикрыв за собой дверцу, он понял, куда шел все это время.

2

Это ощущение появлялось не только в постели, хотя в постели они проводили, кажется, целые ночи и дни. Нет, поначалу секс был во всем: в словах, фразах, незавершенных жестах, в самом банальном; так действует близость на окружающее пространство — изменяет его. Она откладывала журнал или книгу, и вокруг мир останавливался. И это был секс. Идя вместе по улице, они замечали свое отражение в пыльной витрине. Лестничный пролет — секс: она придвигалась к стене, а он шел следом, близко-близко, и — неважно, соприкасались они или просто мимолетно задевали друг друга, или прижимались — она чувствовала: он, точно толпа, охватывает ее сзади, кладет руку на бедро, удерживает на месте; и как он пододвигался, протискивался, и как она цеплялась за его запястье. И когда она сдвигала солнечные очки, оборачиваясь, оглядываясь на него — или тот фильм по телевизору, когда женщина входит в пустую комнату и уже неважно, что делает: поднимает ли телефонную трубку, снимает ли с себя юбку — лишь бы в одиночестве, а они бы за ней наблюдали. Арендовали дом у моря — тоже секс: ночью, после долгого пути на машине, входишь в дверь, тело затекло, суставы словно бы заварены наглухо, и тут — тихий шорох прибоя за дюнами: плюхнется и отхлынет, и этот звук — веха, шум где-то в темноте, задающий крови земной, плотский ритм.

Теперь она сидела и думала об этом. Мысли текли беспорядочно, то и дело возвращаясь к началу. К тому, что было восемь лет назад и в итоге перешло в затяжной мрак — их супружескую жизнь. На коленях у нее лежала сегодняшняя почта. Надо бы заняться делами; на фоне того, что случилось, ее мысли ничего не значат; но она все смотрит и смотрит мимо лампы на стену, где словно бы спроецированы они вдвоем: мужчина и женщина, тела видны не целиком, но явственно, реально.

От забытья пробудила открытка — на самом верху растрепанной кипы счетов за электричество и прочей корреспонденции. Текст она проглядела по диагонали, — стандартный, нацарапанный каракулями привет из Рима, от приятельницы, которая сейчас там, — снова перевернула открытку лице-

вой стороной, всмотрелась. Репродукция книжной обложки: Перси Биши Шелли, поэма в двенадцати песнях, первое издание. Называется "Восстание ислама". Даже в уменьшенном формате, на открытке, чувствовалось, что работа изящная — буквица с арабесками, напоминающими живых существ: голова барана, небывалая рыба с бивнями и хоботом. "Восстание ислама". Издано мемориальным музеем Китса и Шелли на площади Испании; в первые же секунды, сквозь оторопь, она смекнула, что отправлена открытка неделю-две назад, не позже. Обычное совпадение — но нет, необычайное: это ж надо, чтобы открытка, на которой значится именно это название, пришла именно сегодня.

Вот и все: несколько минут, попусту потраченные в пятницу на долгой, как жизнь, неделе, спустя три недели после самолетов.

Она сказала матери:

— Невероятно: восстал из мертвых, смотрю — в дверях он. Повезло, что Джастин как раз был у тебя. Страшно подумать: увидел бы отца в таком виде. Серая сажа с головы до пят — ох, даже не знаю, — точно столб дыма, стоял передо мной, лицо и одежда в крови.

— А мы паззл собрали, паззл с животными: лошади на поле.

Ее мать жила неподалеку от Пятой авеню. На стенах — картины, развешенные с досконально выверенными интервалами, на столиках и книжных полках — небольшие бронзовые скульптуры. Но сегодня в гостиной царил безмятежный беспорядок: игрушки Джастина, разбросанные по полу, нарушили дух комнаты, ощущение существования вне времени (вот и славно, подумала Лианна, иначе атмосфера заставляла бы перейти на шепот).

— Я не знала, что делать. Телефоны не работали. В итоге мы пошли пешком в больницу. Я вела его, как ребенка, шажок, еще шажок.

— Почему он вообще туда пошел — к тебе домой?

— Не знаю.

— Почему сразу не пошел в больницу? Там у себя, в своем районе. Почему он не пошел к друзьям?

Под "друзьями" подразумевалась женщина: мать, как всегда, не удержалась от колкостей.

— Я не знаю.

— Ты с ним об этом не заговаривала. Где он теперь?

— С ним все в порядке. Врачи его пока отпустили.

— О чем вы разговаривали?

— Ничего серьезного — в смысле, физически не очень пострадал.

— О чем вы разговаривали? — повторила мать.

Ее мать, Нина Бартос, преподавала в университетах: в Калифорнии, в Нью-Йорке. Два года как на пенсии. Госпожа Такая-То, Профессор Того-Сего, как выразился однажды Кейт. Бледная, исхудавшая — последствия операции: протезирования коленного сустава. Мать состарилась, решительно и окончательно, и, казалось, добровольно: вздумала превратиться в усталую старуху, отдаться старости, увязнуть в ней, войти во вкус. Трости, лекарства, послеобеденный сон, особая диета, походы по врачам.

— О чем сейчас разговаривать? Ему надо от всего отрешиться, и от разговоров тоже.

— Не пускает к себе в душу.

— Ты же знаешь Кейта.

— Меня в нем всегда это восхищало. В нем чувствуется потаенная глубина: не только походы и лыжи, не только игра в карты. Но что там у него в глубинах, а?

— Альпинизм. Не забывай.

— Ты ходила с ним в горы. Да, я как-то запамятовала.

Мать, сидящая в кресле, пошевелилась; ноги закинуты на пуфик, подобранный под тон кресла; скоро полдень, а она все еще в халате; ей дико хочется курить.

— Его замкнутость, или как там ее назвать, мне нравится, — сказала она. — Но ты лучше остерегайся.

— Это он при тебе замыкается — или раньше замыкался, в те редкие моменты, когда вы общались по-настоящему.

— Будь осторожнее. Знаю: он подвергался большой опасности. Там были его друзья — тоже знаю, — сказала мать. — Но ты позволила состраданию и милосердию возобладать над разумом.

А еще — беседы с приятелями и бывшими коллегами о протезировании коленных суставов и переломах шейки бедра, о жестокостях склероза и долгосрочных полисах медицинского страхования. Все это столь не вязалось с представлениями Лианны о матери, что закрадывалось подозрение: Нина разыгрывает комедию. Пытается адаптироваться к невыдуманным атакам старости: драматизирует, слегка отстраняется, оставляет люфт для иронии.

— А Джастин? В доме снова есть отец.

— С ним все нормально. Иди-пойми, что у мальчика в голове. Все у него нормально, опять в школу ходит, — сказала она. — Занятия снова начались.

— Но ты волнуешься. Я-то знаю. Любишь растравлять в себе страх.

— Что теперь на очереди? Разве ты не задумываешься? На очереди — не через месяц. В ближайшие годы.

— Что на очереди? Ничего. Нет никакой очереди. Это случилось, и очередь кончилась. Восемь лет назад в одну из башен подложили бомбу. Тогда никто не спрашивал: "Что на очереди?" А на очереди было вот это. Бояться надо тогда, когда нет оснований. Теперь — поздно.

Лианна подошла к окну:

— Но когда башни рухнули...

— Я знаю.

— Когда это случилось.

— Я знаю.

— Я думала, что он погиб.

— И я так думала, — сказала Нина. — Столько людей наблюдало.

— И все думали: он погиб, она погибла.

— Знаю.

— Смотрели, как падают здания.

— Сначала первое, потом второе. Знаю, — сказала ее мать.

Тростей у нее было несколько — выбирай любую, и иногда, когда выдавалось время или лил дождь, она ходила пешком за несколько кварталов в "Метрополитэн", в залы живописи. За полтора часа — три или четыре полотна. Смотрела на неисчерпаемое. Она любила большие залы, старых мастеров, все, что непременно воздействует на глаз и душу, на память и личность. Потом возвращалась домой, раскрывала какую-нибудь книгу. Немножко почитает, немножко подремлет.

— Конечно, ребенок — это счастье, но в остальном — ты лучше меня знаешь — ты совершила большую ошибку, став его женой. И ведь сама пожелала, сама напросилась. Выбрала стиль жизни, не считаясь с последствиями. Ты четко знала, чего хочешь, и подумала: Кейт — это оно.

— И чего же я хотела?

— Ты думала, Кейт даст тебе это.

— И чего же я хотела?

— Почувствовать опасный пульс жизни. То, что ассоциировалось у тебя с отцом. Но тут иной случай. В глубине души твой отец был человек осмотрительный. А твой сын — прелестный и тонко чувствующий ребенок, — сказала она. — Но в остальном...

Честно говоря, она — Лианна — любила эту комнату прибранной, когда игрушки не валялись где попало. В этой квартире мать поселилась лишь несколько лет назад, и Лианна обычно

осматривалась здесь глазами гостьи: спокойное, без тени неуверенности пространство, — и не страшно, что оно невольно сковывает. Больше всего ей нравились два натюрморта на северной стене — работы Джорджо Моранди. Мать занималась его творчеством, писала о нем. Изображены расставленные рядами бутылки, кувшины, жестяные банки с печеньем — только и всего, но в мазках была какая-то тайна, которую не назвать словами; то ли в мазках, то ли в кривых очертаниях ваз и банок. Картины бередили душу чем-то трогательным, ускользающим от анализа, не зависящим от светотени и колорита. Natura morta. Итальянский термин, к которому восходит слово "натюрморт", казался слишком уж образным, даже зловещим, но этой мыслью она с матерью не делилась. Пусть подтексты порхают себе на ветру, не отягощенные комментариями авторитетов.

— В детстве ты была почемучкой. Упорно расспрашивала. Но тебя интересовали неподходящие вещи.

— Мои вещи, не твои.

— Кейт искал женщину, которая с его подначки выкинула бы какой-то фортель, а потом раскаялась. Это в его духе: подбивать женщин на поступки, о которых потом жалеют. А ты затеяла связь не на одну ночь, не на уик-энд. Он — мужчина для уик-эндов. А ты что сделала?

— Сейчас не время.

— Вышла за него замуж.

— А потом выгнала. У меня к нему были серьезные претензии. Со временем накопились. Тебя в нем коробит совсем другое: он не ученый, не художник. Ни картин, ни стихов не пишет. Если бы писал, ты бы ему любые фокусы спустила. Он был бы неистовый творец. Ему было бы позволительно творить такое, что и назвать стыдно. Скажи-ка мне...

— На сей раз ты можешь потерять нечто большее — потерять уважение к себе. Подумай об этом.

— Скажи-ка, каким художникам позволительнее безобразничать — реалистам или абстракционистам?

И, услышав звонок, шагнула к динамику домофона, чтобы лучше расслышать консьержа. Впрочем, она и так знала, кто это пришел. Мартин, любовник ее матери, уже поднимается в лифте.

3

Подписал какую-то бумагу. Потом еще одну. Люди на каталках, люди в инвалидных колясках; тех, что в колясках, совсем не-

много. Писать свое имя трудно, завязывать на спине тесемки больничного халата — еще труднее. Рядом была Лианна, помогла. Потом она куда-то пропала, а санитар усадил его в коляску и повез по коридору, в один кабинет, в другой, в третий. Приходилось ждать — экстренные больные шли вне очереди.

Врачи в хирургических костюмах и масках проверили проходимость дыхательных путей и измерили давление. Их интересовало, может ли его травма привести к летальному исходу из-за кровотечения или обезвоживания. Определили содержание кислорода в крови, внимательно изучили ушибы, заглянули в глаза и уши. Сделали ему кардиограмму. За открытой дверью в коридоре проплывали капельницы — он видел. Проверили, может ли он сжать в руке какой-то предмет, сделали рентген. Говорили что-то, чего он так и не смог понять, о связках и сухожилиях, разрывах и растяжениях.

Один извлек осколки стекла, торчавшие из его щек и лба. Пока длилась операция, врач говорил без умолку, а сам орудовал инструментом, который назвал кохером, предназначенным для мелких, неглубоко засевших стеклышек. Врач сказал, что самые тяжелые в основном находятся в больницах на Среднем Манхэттене или в травматологическом центре на пирсе. И что уцелевших поступает меньше, чем ожидалось. Взбудораженный событиями, врач все говорил и говорил, не мог остановиться. Врачи и добровольцы сидят без дела, сказал он, ведь люди, которых они дожидаются, в большинстве своем так и остались под руинами. Он сказал, что осколки, которые засели поглубже, будут вытаскивать корнцангом.

— Когда террористы-смертники себя взрывают... Или вам об этом слушать неприятно?

— Даже не знаю.

— Когда это случается, у уцелевших — тех, кто отделался ранениями, — иногда, через несколько месяцев, вырастают на теле, попросту говоря, шишки. И, как вы думаете, от чего? Мелкие, крохотные ошметки террориста — вот причина. Его разносит вдребезги, буквально вдребезги, частицы мяса и костей разлетаются с такой скоростью, что вонзаются в каждого, кто окажется рядом, вонзаются и застревают. Верите, нет? Студентка сидит в кафе. И тут теракт. Студентка уцелела. А впоследствии, спустя много месяцев, врачи обнаруживают этакие малюсенькие уплотнения — брызги мяса, человеческого мяса, засевшие под кожей. "Органическая шрапнель" называется.

Он выдернул пинцетом из щеки Кейта еще один кусок стекла.

— Но это, полагаю, не ваш случай, — заметил он.

Лучшие друзья Джастина, брат и сестра, жили в небоскребе в десяти кварталах от его дома. Первое время Лианна никак не могла запомнить их имена и называла их "брат с сестрой". Прозвище прилипло. Джастин говорил: "Да их так и вправду зовут", и она думала: а мальчик-то умеет острить, когда хочет.

Она встретила на улице Изабель, мать Брата-с-Сестрой. Они остановились поговорить на углу.

— Конечно, дети есть дети, но скажу вам честно: я уже начинаю волноваться.

— Значит, у них что-то вроде заговора.

— Да, они разговаривают на своем тайном языке и подолгу стоят у окна в комнате Кэти, прикрыв дверь.

— Вы знаете, что они у окна.

— Мне же слышно, как они разговаривают, когда я прохожу по коридору. Именно что у окна. Стоят у окна и разговаривают на каком-то тайном языке. Вам Джастин случайно не рассказывал?

— Да вроде нет.

— Понимаете, все-таки немножко странно, честно вам скажу, они все время то жмутся друг к другу, то, как бы это сказать... по-своему, по-тарабарски шушукаются — конечно, дети есть дети, но все-таки.

Лианна не могла понять, что тут плохого. Трое детей, собравшись вместе, ведут себя по-детски.

— Джастин заинтересовался погодой. По-моему, они сейчас в школе облака проходят, — сказала она, сознавая всю вымученность объяснения.

— Они не об облаках шепчутся.

— Ах вот как.

— Это как-то связано с тем человеком.

— Что за человек?

— Имя. Вы же слышали имя.

— Имя? — переспросила Лианна.

— Они ведь постоянно одно и то же имя бормочут, верно? Мои наотрез отказываются говорить на эту тему. Кэти уперлась. И брата прямо застращала. Я думала, может, вы что-то знаете.

— Ума не приложу.

— Значит, Джастин об этом ни гу-гу?

— Нет. А чье имя? Кто этот человек?

— Кто он? Я бы сама хотела знать, — сказала Изабель.

Высокий, коротко остриженный; похож на солдата, думала она, на кадрового военного; он все еще в хорошей форме и смахивает на бывалого вояку, только закалили его не бои, не

кровопролитие, а суровость нынешнего образа жизни: фактический развод, жизнь без семьи, отцовство на расстоянии.

Сейчас он лежал в постели и смотрел, как она, в нескольких футах от него, застегивает блузку. Спали они на одной кровати: во-первых, не могла же она ему сказать: "Иди-ка на диван", во-вторых, ей нравилось, что он здесь, рядом. Казалось, он вообще не смыкает глаз. Лежит на спине и говорит, но в основном слушает, и ничего дурного в этом не было. Ей уже не требовалось выяснять, какого мнения мужчина о том-то или о сем-то, — отпала необходимость выяснять, во всяком случае, у этого мужчины. Ей нравилось, как он преображает пространство. Нравилось одеваться у него на глазах. Она знала: настанет момент, и он прижмет ее к стене прежде, чем она успеет полностью одеться. Встанет с постели, посмотрит на нее, и она замрет, будет ждать, пока он подойдет и прижмет ее к стене.

Он лежал в наглухо закрытом тоннеле аппарата на узком длинном столе. Под коленями подушка, над головой — пара точечных светильников. Пытался слушать музыку. Окутанный громоподобным шумом, сосредотачивался на инструментах, выделял из оркестра какую-нибудь группу: струнные, деревянные духовые, медные. А аппарат выбивал неистовое стаккато, лязгал: будто находишься в фантастическом фильме, в сердце космического города, который вот-вот развалится на части.

Ощущение беспомощности в заточении напомнило ему об одной фразе врача-радиолога; это оказалась русская женщина, и ее акцент успокаивал: русские — люди серьезные, знающие цену каждому слову; может быть, поэтому он сказал: "Классическую музыку", когда она спросила, что он будет слушать. И вот теперь он услышал в наушниках ее голос, сообщающий, что теперь аппарат будет шуметь три минуты, и, когда музыка снова зазвучала, он подумал о Нэнси Диннерстайн, которая держала в Бостоне клинику сна. Убаюкивала людей за деньги. А та, другая Нэнси — как там ее, мимолетные воспоминания о случайных соитиях, — это уже Портленд, штат Орегон, Нэнси без фамилии. У города была фамилия, у женщины — нет.

Шум был невыносимый: то что-то падало и разбивалось вдребезги, то нестройно наигрывал, на ходу меняя тональности, синтезатор. Он пытался слушать музыку и вспоминал слова радиолога: как только исследование закончится — сказано было с русским акцентом, — все ощущения моменталь-

но забудутся, так что ничего страшного; так сказала врач, а он подумал: она словно бы описывает смерть. Но смерть – это все-таки другое, и шум другой, и в ящик засовывают насовсем. Он слушал музыку. Очень старался расслышать флейты и отличить их от кларнетов, если в оркестре вообще были кларнеты, но ничего не получалось, и спасала только пьяная Нэнси Диннерстайн в Бостоне; ее образ вызвал у него дурацкую, непрошеную эрекцию: Нэнси в его гостиничном номере, где из окна дуло, а за стеклом виднелся кусочек реки.

В наушниках послышался голос, известивший, что теперь аппарат будет шуметь семь минут.

Она увидела в газете лицо, лицо человека с рейса номер одиннадцать. Видимо, на тот момент лицо было только у одного из девятнадцати: смотрит с фотокарточки пристально, желваки играют, суровые глаза какие-то слишком всеведущие – таким глазам не место на удостоверении личности.

Ей позвонила Кэрол Шоуп. Кэрол возглавляла отдел в крупном издательстве и иногда подбрасывала ей работу: Лианна редактировала книги, внештатно, на дому или, при необходимости, в читальных залах.

Это Кэрол прислала открытку из Рима, из музея Китса и Шелли; кстати, Кэрол из тех, кто по возвращении из поездки непременно спрашивает певуче: "Ну как, открытку мою получила?"

И в интонации непременно звучит фатальная неуверенность в себе вперемешку с затаенной обидой.

Но об открытке Кэрол не упомянула. Спросила тихо:

– Я тебя отрываю?

После того как он переступил ее порог и молва разнеслась, ей все звонят и спрашивают: "Я тебя отрываю?"

Разумеется, подразумевается: ты занята? наверно, ты занята, наверно, тут масса всего происходит, мне лучше перезвонить? я чем-нибудь могу помочь? как он? он надолго останется? и наконец: может быть, поужинаем вчетвером, в каком-нибудь тихом местечке?

Удивительно, как это ее раздражало. Она отделывалась общими словами, возненавидела вечный зачин, который ничего не значил, а просто повторялся, множился. Начисто утратила доверие к этим голосам, столь непринужденно-похоронным.

– Если что, – сказала Кэрол, – можем отложить разговор до другого раза.

Ей не хотелось думать, что она оберегает его из эгоистических соображений, потому что жаждет сохранить за собой эксклюзивные права. Он сам предпочитает оставаться здесь, вдали от цунами лиц и голосов, от Бога и страны, сидеть один в безмолвных комнатах рядом с теми, кто ему дорог.

— А кстати, — сказала Кэрол, — ты получила открытку, которую я тебе послала?

Она услышала музыку, доносившуюся откуда-то от соседей, с нижнего этажа, и сделала два шага к двери; и, отставив трубку от уха, приоткрыла дверь. Застыла, вслушиваясь.

И вот, встав в изножье кровати, глядя на него, распростертого, поздно вечером, доделав работу, она наконец-то спокойно спросила:

— Почему ты пришел сюда?

— Вот в чем вопрос, значит?

— Ради Джастина, верно?

Ей хотелось услышать в ответ: "Да, ради Джастина". Самое логичное объяснение.

— Чтобы он увидел, что ты жив, — сказала она.

Но то было лишь пол-ответа, и она осознала, что этого недостаточно: ей требовалось дознаться до глубоких мотивов его поступка, или бессознательного порыва, или что там это было.

Он надолго задумался.

— Трудно вспомнить. Не знаю, что творилось у меня в голове. Подъехал один на фургоне — водопроводчик, кажется, — и отвез меня сюда. Радио у него украли. По сиренам он понял: что-то стряслось, но что именно, не знал. Выехал на место, откуда ему ничто не заслоняло Нижний Манхэттен, но увидел только одну башню. Подумал: одна башня загораживает от него другую, или клубы дыма мешают. Дым-то виднелся. Он отъехал в восточном направлении и поглядел снова: опять одна. Одна башня вместо двух — чушь какая-то. Он свернул, поехал в Верхний Манхэттен — туда он с самого начала и направлялся — и в итоге увидел меня и подобрал. К тому времени второй башни тоже не стало. Восемь радиоприемников за три года, он сказал. Все украли. Кажется, он электрик. У него была бутылка воды, он мне все ее совал.

— А твоя квартира? Ты сообразил, что не можешь пойти к себе.

— Я понимал, дом слишком близко от башен. Может, понимал, что туда нельзя, а может, даже не задумывался. В любом случае, я не поэтому сюда пришел. К этому не сводится.

У нее полегчало на душе.

— Он меня в больницу хотел отвезти — тот парень на фургоне, но я сказал, пусть везет сюда.

Он посмотрел на нее.

— Я дал ему этот адрес, — сказал он со значением, и ей стало еще легче.

Ничего особенного: госпитализации не требуется, просто небольшая операция, то ли на связке, то ли на сухожилии, — и в приемном покое дожидалась Лианна, чтобы отвезти назад к себе. На столе он подумал о своем приятеле Ромси, мимолетно, сразу перед тем, как лишиться чувств, либо сразу после. Врач, анестезиолог, вколол ему то ли сильнодействующее снотворное, то ли какой-то еще препарат, вещество, отшибающее память; или было два препарата, два укола? — но вот он, Ромси, в своем кресле у окна, а значит, память не отшибло или препарат пока не подействовал, сон, явственная галлюцинация, какая разница, Ромси в дыму, падающие предметы.

Она вышла на улицу, думая о простых вещах: ужин, химчистка, банкомат, — вот и славно, иди домой.

Надо тщательно вычитать рукопись, которую она редактирует для одного университетского издательства, — о древних алфавитах, скоро сдавать. Да, это, безусловно, главное.

Интересно, как понравится мальчику чатни[1] из манго, которое она купила; или он его уже, кажется, пробовал, попробовал и скривился, у Брата-с-Сестрой; Кэти что-то такое говорила, или не Кэти.

Автор — болгарин, пишет по-английски.

И вот еще что: шеренга такси, три или четыре машины мчатся в ее сторону с соседнего перекрестка, на зеленый, а она, замявшись посреди перехода, размышляет о своей судьбе.

В Санта-Фе ей попалась на глаза табличка в витрине: "Этнические шампуни". Она путешествовала по Нью-Мексико с мужчиной, с которым встречалась после того, как рассталась с мужем; он был большой человек на телевидении, козырял своей начитанностью, зубы у него были отбелены безупречно — казалось, известью; этот мужчина любил ее длинноватое лицо, лениво-гибкое тело, любил, как он выразился, "до последнего дюйма" ее голенастые руки и ноги; а

1. Чатни — индийская острая кисло-сладкая приправа. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

как он ее изучал, проводя пальцем по грядам и неровностям, которым давал прозвища в честь геологических эр, полтора дня смешил ее каждую минуту — или все объяснялось тем, что они трахались высоко-высоко, на горном плато под самыми небесами.

Теперь она бежала к бровке, чувствуя себя юбкой и блузкой без тела — о, как славно укрываться за пластиковым мерцанием длинного чехла из химчистки! — чехол она держала на отлете, между собой и такси, защищаясь.

Она вообразила глаза таксистов, сосредоточенные, полузакрытые, и как таксисты сидят, подавшись вперед к баранке; все та же проблема: нельзя допускать, чтобы события ее подавляли, так посоветовал Мартин, любовник ее матери.

Да, не склоняться, так-то. И еще одна картинка, Кейт под душем сегодня утром: оцепеневший в потоке воды, словно его в плексиглас запаяли, почти неразличимая тусклая фигура.

Но каким ветром навеяло это воспоминание — "Этнические шампуни" — посреди Третьей авеню? Вряд ли ей ответит книга о древних алфавитах (дотошные дешифровки, надписи на глиняных табличках, которые потом обжигают, на древесной коре, камнях, костях, листьях хвоща). Юмор — злая насмешка над редактором — в том, что текст напечатан на дряхлой пишущей машинке, а поверх вписаны авторские поправки и дополнения вдохновенным неразборчивым почерком.

Первый полицейский велел ему пойти на КПП в соседнем квартале, к востоку отсюда, и он пошел, и увидел людей из военной полиции, и джипы с солдатами, и колонну мусоровозов и уборочных машин, которая направлялась в южные кварталы. Заграждения в виде козел раздвинули, пропуская колонну. Он показал справку с места жительства и удостоверение личности с фотографией, и второй полицейский отправил его на следующий КПП, еще восточнее, и он пошел туда, и увидел посреди Бродвея сетчатый забор, который патрулировали солдаты в противогазах. Полицейскому на КПП он сказал, что должен накормить кошку: если она умрет, ребенок будет безутешен, и полицейский сочувственно кивнул, но велел попытать счастья на следующем КПП. Пожарные машины и машины "скорой помощи", полицейские фургоны, выделенные штатом Нью-Йорк, тягачи с платформами без бортов, автовышки — все они ехали за ограждение, туда, где простирался саван из щебня и пепла.

Очередному полицейскому он показал справку с места жительства и удостоверение личности с фотографией и сказал, что должен накормить кошек, трех кошек, если они умрут, дети будут безутешны, и показал гипсовую лангетку на левой руке. Тут пришлось посторониться: баррикады раздвинули, пропустив вереницу гигантских бульдозеров и канавокопателей, которая издавала адский, нарастающий грохот. Он снова принялся убеждать полицейского, опять показал лангетку на запястье, пообещал обернуться за пятнадцать минут: зайдет в квартиру, накормит кошек и вернется на Верхний Манхэттен, в гостиницу, туда с животными не пускают, и успокоит детей.

Ладно, сказал полицейский, но, если вас там остановят, скажете, что прошли через КПП на Бродвее, не через этот.

Он пробирался по зоне оледенения на юго-запад, проходя через КПП поменьше, огибая другие. Взвод национальных гвардейцев в бронежилетах, с револьверами, кое-где одиночки в респираторах — то мужчина, то женщина, — неприметные, движутся воровато — единственные штатские тут, кроме него. Асфальт и автомобили припорошены пеплом, у бровки и у стен сложены высокими штабелями мешки с мусором. Он шел медленно, высматривая сам не зная что. Все было серое, вялое, пришибленное, витрины скрыты за ржавыми железными ставнями — город в какой-то чужой стране, навечно осажденный врагами, зловонный воздух разъедает кожу.

Он стоял у барьера с надписью "Прокат заборов" и вглядывался в дымку, видел кривые бриды железного кружева — последнее, что еще не рухнуло, скелет башни, где он проработал десять лет. Мертвецы были повсюду: в воздухе, среди обломков, на соседних крышах, в ветре с реки. Как и пепел, облепили все поверхности, осели моросью на окна, на его волосы, на его одежду.

Почувствовал, что рядом с ним у забора кто-то остановился — мужчина в респираторе, безмолвствующий с умыслом, безмолвствующий только для того, чтобы потом вдруг прервать молчание.

— Посмотрите-ка, — заговорил наконец мужчина. — Я себя убеждаю: я стою на этом самом месте. Трудно поверить, что я здесь, что я это вижу.

Респиратор приглушал слова.

— Когда это случилось, я дошел пешком до Бруклина, — продолжал он. — Я не там живу. Я живу в Верхнем, далеко, на Вест-Сайд, но работаю здесь, в Нижнем, и когда это случилось, все пошли по мосту в Бруклин, и я с ними. Они переходили реку, и я перешел.

Казалось, он косноязычный: говорит нечленораздельно, слова спотыкаются. Достал мобильник, набрал номер.

— Я стою на этом самом месте, — произнес в телефон, а затем повторил, так как абонент его не расслышал. — Я стою на этом самом месте.

Кейт пошел к своему дому. Увидел трех мужчин в касках, в куртках с надписью "УПН"[1], с собаками-ищейками на коротких поводках. Они приблизились к нему, один вопросительно наклонил вбок голову. Кейт сказал ему, куда идет, упомянул о кошках и детях. Полицейский помедлил, чтобы сообщить: "Уан-Либерти-Плаза", пятьдесят с гаком этажей, неподалеку от места, куда идет Кейт, вот-вот обвалится к едреной бабушке. Другие нетерпеливо топтались, а первый добавил, что здание шатается, заметно шатается. Он кивнул, подождал, пока они уйдут, и снова двинулся в южном направлении, а потом опять повернул на запад по почти безлюдным улицам. У магазина с разбитой витриной стояли два хасида. Казалось, так и стоят последнюю тысячу лет. У своего дома он увидел рабочих в противогазах и защитных костюмах, которые пылесосили тротуар огромным пылесосом.

Двери подъезда были то ли выломаны, то ли выбиты взрывом. Но не мародерами, подумал он. Подумал: когда рухнули башни, люди в отчаянии разбегались, укрывались где попало. В холле воняло: мусор не вывозят, так и лежит в подвале. Он знал, что электричество снова подключили и лифтом можно пользоваться спокойно, но к себе на девятый поднялся по лестнице, с передышками на третьем и седьмом — хотелось постоять на площадках, в конце длинных коридоров. Он стоял и прислушивался. Здание казалось пустым: по звуку, по ощущениям. Войдя в квартиру, он долго стоял, просто осматриваясь. Окна покрылись коростой из песка и пепла, к грязи прилипли обрывки бумаги и один целый лист. Больше в квартире ничего не изменилось с утра вторника, когда он запер дверь и отправился на работу.

Впрочем, тогда, утром, он особо не приглядывался. Здесь он прожил полтора года, с тех самых пор, как съехал от жены; нашел квартиру рядом с офисом, наладил свою жизнь, не заглядывая далеко вперед — ни к чему не приглядываясь придирчиво.

Но теперь он смотрел внимательно. Сквозь стекла, между кляксами грязи, сочился свет. Теперь он видел квартиру дру-

1. Управление полиции Нью-Йорка.

гими глазами. Если, переступив порог, взглянуть трезво, в этих двух с половиной комнатах ему ничто не дорого: все тусклое, застывшее, слегка попахивает нежилым. Разве что ломберный стол, обтянутый зеленой материей с начесом — то ли сукном, то ли фетром, — арена еженедельной партии в покер. Один из игроков говорил: это сукно, липовый фетр, — и Кейт не перечил. Лишь единственный раз на неделе, единственный раз в месяц жизнь становилась легка: только партию в покер он предвкушал без кровоточащих, совестливых мыслей о разорванных связях. Уравнивай ставку или сбрасывай карты. Фетр или сукно.

Ему больше никогда не стоять на этом самом месте. Никакой кошки у него нет — только одежда. Кое-что сложил в чемодан: несколько рубашек, несколько пар брюк, альпинистские ботинки из Швейцарии, остальное ему ни к чему. Кой-какие вещи и швейцарские ботинки; ботинки — это важно, и ломберный стол важен, но больше не нужен: два игрока погибли, один тяжело ранен. Один чемодан и паспорт, чековые книжки, свидетельство о рождении и еще кое-какие бумаги, документы, удостоверяющие личность владельца. Он стоял, смотрел, ощущал одиночество — материальное, осязаемое. У окна затрепетал на ветру уцелевший, невредимый лист, и он подошел взглянуть, что на нем написано. Но вместо этого уставился на фасад "Уан-Либерти-Плаза" с заметной трещиной и начал считать этажи, но на середине бросил — надоело, задумался о чем-то еще.

Заглянул в холодильник. Возможно, он думал о том, кто жил здесь прежде: пытался представить себе, что это был за человек, угадать по этикеткам на бутылках, по набору продуктов. На улице зашуршала бумага, и он подхватил чемодан, вышел, запер за собой дверь. Прошел по коридору шагов пятнадцать, отдалился от лестницы и заговорил почти шепотом:

— Я стою на этом самом месте. — И еще раз, громче: — Я стою на этом самом месте.

Будь это экранизация, в здании оказался бы кто-нибудь еще: женщина с измученным лицом или старик-бродяга, — и был бы диалог, и крупные планы.

Сказать по правде, лифта он остерегался. Замечать за собой такие страхи было неприятно, но он осознавал страх, неотступно. В холл спустился по лестнице, с каждой ступенькой все острее ощущая запах мусора. Рабочие с пылесосом уже ушли. Он услышал монотонный грохот и гул тяжелых машин ОТТУДА: землеройная техника, экскаваторы, крошащие бетон; взвыла сирена, возвещая об опасности — возмож-

ном обвале здания по соседству. Он замер, и машины замерли. Немного погодя громыхание возобновилось.

Он зашел на почту забрать письма, пришедшие на его имя, но не доставленные на дом, а потом пошел на север к оцеплению и подумал: нелегко, наверно, поймать такси во времена, когда в Нью-Йорке что ни таксист, то Мухаммед.

4

В их жизни порознь была определенная симметричность: оба нашли замену — кучку людей, которой беззаветно хранили верность. У него был покер: шесть игроков, в Нижнем Манхэттене, вечером, раз в неделю. У нее был кружок "Дни нашей жизни" в Восточном Гарлеме, тоже раз в неделю, во второй половине дня, группа из пяти-шести-семи мужчин и женщин с болезнью Альцгеймера в ранней стадии.

Когда рухнули башни, партии в покер прекратились, зато занятия кружка приобрели новую значимость. Кружковцы сидели на складных стульях в комнате с самодельной фанерной дверью, в большом культурном центре. По коридорам, не смолкая, катилось эхо: вечный шум и гам. Носились дети, занимались на курсах взрослые. Играли в пинг-понг и домино. Волонтеры готовили горячие блюда — для доставки престарелым на дом.

Кружок затеял один психоневролог. Он доверил Лианне проводить занятия самостоятельно — как-никак, они должны были просто поддерживать в пациентах стойкость перед лицом болезни. Лианна и кружковцы обсуждали, что случилось в мире и в их собственной жизни, а потом Лианна раздавала разлинованные блокноты и шариковые ручки и предлагала тему или просила выбрать собственную. "Воспоминания о моем отце", например, или "Моя мечта, которая так и не сбылась", или "Знают ли мои дети, что я за человек?"

Писали они минут двадцать, а потом каждый по очереди зачитывал написанное вслух. Порой ей становилось жутко: первые симптомы замедленной реакции, сбои, утраченные навыки, мрачные предвестья. Признаки, что в сознании понемногу ослабевает сцепленность составных частей, без которой личность распадется. Это было заметно по строчкам на листках: буквы в слогах переставлены, фразы корявые и не дописаны. По почерку: буквы словно размывались, таяли. Но были и тысячи радостей — минуты упоения, переживаемые кружковцами, когда им удавалось открыть для себя прелести писательства: здорово, когда воспоминание оказывает-

ся еще и озарением. На занятиях много и громко смеялись. Набирались мастерства, находя сюжетные линии, которые развиваются словно бы сами собой. Появлялось ощущение, что самое естественное занятие — сидеть и рассказывать всякие истории из своей жизни.

Розэллен С. видела, как вернулся домой ее отец, где-то пропадавший четыре года. Вернулся бородатый, с бритой головой, без одной руки. Когда это случилось, ей было десять, и теперь она описывала это событие, смешав все в одну кучу, без утайки перечисляя четкие детали материального мира и призрачные воспоминания, ничем, казалось бы, между собой не связанные: радиопередачи, двоюродные братья, которых звали Лютерами, два Лютера, и в каком платье мать ходила на чью-то свадьбу, и они слушали, как она зачитывает, полушепотом: "У него одной руки не хватало", — и Бенни на соседнем стуле, прикрыв глаза, раскачивался до самого конца рассказа. "У нас тут молельня", — сказал Омар Х. Они вызывали силу, которой нельзя противиться. Никто не знает того, что ведомо им здесь и сейчас, в последний миг ясности ума перед полным коллапсом.

Сочинения было принято подписывать своим именем и первой буквой фамилии. Так предложила Лианна; но теперь она вдруг подумала, что в этом есть какое-то жеманство: имена, как у персонажей европейских романов. Они — персонажи и авторы одновременно, рассказывают, что заблагорассудится, остальное скрывают под завесой молчания. Кармен Г., зачитывая свои рассказы, любила украшать их испанскими фразами, чтобы передать звуковую суть происшествия или чувства. Бенни Т. терпеть не мог писать, зато любил поговорить. На занятия он приносил сладости — какие-то гигантские аппендиксы с джемом, к которым так никто и не притрагивался. Эхо разносило шумы по коридору, дети играли на роялях и барабанах, катались на роликах. Здание полнилось английской речью с разноязыкими оттенками — так изъяснялись, так выговаривали слова взрослые.

Кружковцы писали о тяжелых временах и приятных воспоминаниях, о том, как дочери становились матерями. Анна написала, каково это — писать: целый новый мир открылся. Она думала, двух слов связать не может, а теперь поглядитека, что только не изливается на бумагу. Так написала Анна Ч., ширококостная женщина из этого района. Тут почти все были местные, самый старший — Кертис Б., восемьдесят один год, высокий, угрюмый, с тюремным прошлым; в его голосе, когда он читал вслух, слышались отзвуки статей из Британ-

ской энциклопедии, прочитанной от корки до корки в библиотеке тюрьмы.

Была одна тема, за которую хотелось взяться всем кружковцам, всем, кроме Омара Х. Омар нервничал, долго мялся, но согласился. Им хотелось написать о самолетах.

Когда он вернулся в Верхний Манхэттен, в квартире никого не было. Он разобрал свою почту. На паре конвертов его имя было написано с орфографической ошибкой — обычная история; он взял авторучку из кружки около телефона и внес исправления. Он толком не помнил, когда появилась эта привычка, и не мог бы объяснить, почему ей следует. Нипочему. Потому что, когда его фамилию пишут неправильно, он уже не он, вот почему. Один раз исправил, и исправлял снова и снова, исправлял всегда, и, пожалуй, интуитивно знал унаследованным от рептилий отделом мозга: он будет исправлять ошибку в фамилии год за годом, десятилетие за десятилетием, таков его долг, которому он не изменит. Он не пытался вообразить свое будущее, не представлял его отчетливо, но оно, безусловно, при нем, мурлычет себе в черепной коробке. Он никогда не исправлял орфографические ошибки на конвертах с явной пустопорожней рекламой, которые выбрасывались нераспечатанными. Однажды едва не исправил, но успел отдернуть руку. Непрошеная корреспонденция для того и создана — чтобы объединять все индивидуальности мира в одну универсальную, под перевранным именем или фамилией. Но большей частью он вносил исправления — заменял букву в первом слоге своей фамилии (Ньедекер, не Ньюдекер), а потом уже вскрывал конверт. И только если был один. На людях никогда ничего не исправлял — тщательно скрывал свою привычку.

Она пересекла Вашингтон-сквер. Идущий впереди студент говорил в мобильник: "Нет проблем". День был погожий, шахматисты сидели за своими столиками, под аркой шла фотосессия для глянцевого журнала. "Нет проблем", — говорили люди. "Супер-супер!" — говорили люди с восхищением, на грани благоговейного трепета. Она заметила на скамейке девушку: сидит в позе лотоса, читает. После смерти отца Лианна несколько недель, если не месяцев, только и делала, что читала хокку, сидя на полу по-турецки. Она припомнила стихотворение Басё — точнее, первую и третью строки. Вторую запамятовала. "Даже в Киото — тара-рара-ра — я тоскую по Киото". Второй строчки не хватает — ну и ладно, обойдусь, подумала.

Через полчаса она дошла до вокзала Гранд-сентрал – надо встретить мать с поезда. Давненько она здесь не бывала, картина непривычная: скопления полицейских – городских и из штата Нью-Йорк, рядом охранники со сторожевыми собаками. Другие страны, подумала она, иные миры, грязные станции, крупные пересадочные узлы – там такое в порядке вещей, из века в век. То был не осознанный вывод, а мимолетное, подброшенное памятью впечатление: мегаполисы, которые ей довелось повидать, толпы, зной. Впрочем, в остальном на Гранд-сентрал все как обычно: щелкают фотоаппаратами туристы, к пригородным поездам спешат люди, возвращающиеся с работы домой. Она направилась к справочному бюро уточнить номер платформы, но близ выхода на Сорок вторую улицу что-то привлекло ее взгляд.

У стеклянных дверей, и внутри вокзала, и снаружи, толпились люди. По лицам тех, кто входил с улицы, было заметно, что они потрясены каким-то происшествием. Лианна вышла на тротуар, в толчею. На мостовой уже образовалась пробка, машины сигналили. Пробравшись бочком вдоль витрины, она подняла глаза на зеленое стальное сооружение над Першинг-сквер – отрезок двустороннего путепровода, по которому едут над вокзалом машины.

Там, над улицей, висел вниз головой человек. В деловом костюме, одна нога подогнута, руки по швам. Присмотревшись, можно было заметить страховочный пояс типа тех, что используют альпинисты. Трос от пояса, пропущенный под брючиной вдоль прямой, как палка, ноги, был привязан к декоративному ограждению путепровода.

Об этом человеке она уже слышала: художник-перформансист, прозванный Падающим. За минувшую неделю он несколько раз объявлялся в разных районах города – болтался в воздухе под каким-нибудь сооружением, неизменно вверх тормашками, одетый в костюм. при галстуке, в начищенных ботинках. Разумеется, он воскрешал воспоминания – те минуты отчаяния в пылающих башнях, когда люди вываливались или поневоле выбрасывались из окон. Его видели свисающим с галереи в атриуме одного отеля. Полиция выпроводила его из концертного зала, а также из двух или трех жилых домов с террасами или свободным доступом на крышу.

Машины притормаживали. Люди, запрокинув лица, осыпали Падающего бранью: их возмущало зрелище, кукольный спектакль о людском отчаянии, о последнем невесомом вздохе тела и о том, что отлетает с этим вздохом. Последний вздох на глазах у всего мира, подумала она. Какая в этом ужасная публичность, такого мы еще не видели: одинокая падаю-

щая фигура, тело, которое сейчас окажется среди нас, и все будет кончено... А тут, подумала она, это превратили в балаган, мерзость какая, даже пробка образовалась... Разволновавшись, Лианна кинулась назад на вокзал.

Мать ждала на платформе, на нижнем ярусе, опираясь на трость.

— Я там просто не могла оставаться, — сказала она.

— Я думала, ты еще недельку побудешь, как минимум. Лучше уж там, чем здесь.

— Я хочу жить в своей квартире.

— А Мартин?

— Мартин все еще там. Мы все еще ругаемся. Я хочу сидеть в моем кресле и читать моих европейцев.

Лианна взяла у матери сумку, и они поднялись по эскалатору в главный зал, озаренный косыми столбами света, в которых роилась пыль, — лучами, пробивающимися через тимпаны на высоком потолке. У лестницы, ведущей на восточную галерею, человек двенадцать, собравшись вокруг экскурсовода, созерцали небосвод на потолке — созвездия из сусального золота, а рядом стоял охранник с собакой, и мать не преминула прокомментировать его одежду — к чему на Манхэттене камуфляжный рисунок "джунгли"?

— Люди уезжают, а ты вернулась.

— Никто не уезжает, — возразила мать. — Уезжают те, кто здесь по-настоящему и не жил.

— Должна сознаться, я сама подумывала. Забрать мальчика и уехать.

— Уши вянут! — сказала мать.

Даже в Нью-Йорке, произнесла она про себя. Конечно, не стоит пренебрегать второй строчкой хокку. Какая бы ни была эта строчка, в ней ключ к стихотворению. "Даже в Нью-Йорке... я тоскую по Нью-Йорку".

Она повела мать через зал и по переходу, чтобы выйти в трех кварталах севернее главного входа. Там уличное движение в норме, и можно будет поймать такси, и нигде не будет видно человека, который завис вниз головой в вечном падении на десятый день после самолетов.

Занятно, а? Спать со своим мужем: тридцативосьмилетняя и тридцатидевятилетний, — и ни разу ни одного томного стона. Он — твой бывший муж, формально так и не ставший бывшим, незнакомец, с которым ты заключила брак в прежней жизни. Она одевалась и раздевалась, он смотрел — и ничего. Странно, но занятно. Напряжение не аккумулируется. Удивительно. Ей хотелось, чтобы он был здесь, рядом, и это жела-

ние не казалось ей наивным самообманом, не встречало в ее сердце сопротивления. Просто надо обождать, только-то, нельзя же в одно мгновение списать со счета тысячи безрадостных дней и ночей. Требуется время. Не может же все идти так, как при нормальных обстоятельствах. Все это весьма любопытно: как ты расхаживаешь по спальне — обычно почти нагишом, как почтительно относишься к прошлому, как дорожишь былыми страстями, которые не приносили ничего хорошего, а лишь ранили и обжигали.

Она жаждала прикосновений. И он — тоже.

Портфель — странно маленький, рыжевато-бурый с медными застежками — стоял во встроенном шкафу, на полу. Он и раньше видел портфель в шкафу, но только теперь понял: чужой. Не его и не жены. Портфель он где-то уже видел, даже смутно ассоциировал с чем-то запредельно далеким, — с вещью, которую нес в руке, в правой, с вещью, белой от пепла, — но только теперь сообразил, отчего портфель здесь.

Он взял его и отнес на стол в кабинете. Портфель здесь, потому что он принес. Портфель чужой, но он вынес его из башни и вошел с ним в квартиру. Очевидно, с тех пор Лианна вытерла портфель, и теперь Кейт стоял и разглядывал его: натуральная некрашеная кожа с шероховатой текстурой, симпатичные потертости, одна пряжка слегка закоптилась. Он провел большим пальцем по ручке со стеганой подушечкой, пытаясь вспомнить, зачем вынес портфель ОТТУДА. Открывать не спешил. Даже подумал: "Что-то совсем не хочется открывать", а в чем причина, не понял. Провел костяшками пальцев по клапану, расстегнул одну застежку. На карту звездного неба, висящую на стене, скакнул солнечный зайчик. Он расстегнул вторую застежку.

Обнаружил плейер с наушниками. Маленькую бутылку родниковой воды. В надлежащем кармашке — мобильник, в отделении для визитных карточек — полшоколадки. "Три кармана для ручек, одна шариковая ручка", — отметил он. Пачка сигарет "Кент", зажигалка. В одном из наружных карманов — ультразвуковая зубная щетка в дорожном футляре и цифровой диктофон, более компактный, чем у него.

Эти предметы он рассматривал отрешенно. Казалось бы, разглядывать их — занятие неприличное, с макабрическим оттенком, но минута, когда портфель появился в его жизни, была так далеко, что теперь, наверно, это уже позволительно.

В одном из карманов лежала маленькая папка из кожзаменителя, а в ней — чистый блокнот. Он обнаружил конверт с

маркой и штампом "Эй-Ти энд Ти"[1], без обратного адреса, а в отделении с молнией — книгу в бумажной обложке: советы покупателям подержанных автомобилей. В плеере диск — сборник бразильской музыки. В другом боковом кармане — бумажник с деньгами, кредитными картами и водительскими правами.

На этот раз она встретилась Лианне в булочной — мать Брата-с-Сестрой. Вошла вслед за Лианной и присоединилась к ней в очереди, взяв из коробочки на стойке номерок.

— Меня только бинокль озадачивает. Вы же знаете, он не самый разговорчивый ребенок.

Она елейно улыбнулась Лианне, окутанная ароматом пирожных с глазурью, — так мать переглядывается с матерью, мы-то обе знаем, что у наших деток свои миры, огромные, сияющие, куда родители не допускаются.

— Просто в последнее время он всегда его приносит. Вот я и подумала, понимаете, вдруг он вам что-то да говорил, хотя бы намеками.

Лианна понятия не имела, о чем речь. Уставилась на широкое и румяное лицо мужчины за прилавком. Оно ничего не подсказало.

— Он дает бинокль поиграть моим, значит, тут другое, отец им тоже обещал бинокль, но мы пока не собрались: ну, знаете, бинокль — не самая важная вещь, а моя Кэти ужасно секретничает, а брат, как всегда, ей беззаветно предан.

— Вы имеете в виду: на что они смотрят за закрытыми дверями?

— Я думала, может, Джастин...

— Ну уж вряд ли что-то особенное, да? Может, птицы. Ну, знаете, сарычи...

— Нет, это явно связано с Биллом Аденом. Я уверена на сто процентов, потому что бинокль — часть этого синдрома замалчивания, которым увлеклись дети.

— Билл Аден.

— Тот человек. Я же упоминала это имя.

— Кажется, еще не упоминали, — сказала Лианна.

— Это и есть их секрет. Я знаю только имя, больше ничего. Вот я и подумала: может, Джастин... Мои дети, стоит мне об этом заикнуться, точно дар речи теряют.

Лианна не знала, что в гости к Брату-с-Сестрой Джастин ходит с биноклем. Собственно, бинокль был не его, хотя в

1. Американская телефонно-телеграфная компания.

том, что он берет его без спросу, нет ничего страшного. Или все же нехорошо, что берет, подумала она, ожидая, пока продавец выкликнет ее номер.

— Они ведь в школе птиц проходят, правда?

— В прошлый раз вы говорили про облака.

— Вообще-то насчет облаков я ошиблась. Но птиц они определенно изучают: голоса, места обитания, — сказала она этой женщине. — Ходят на экскурсии в Центральный парк.

И почувствовала, как ей противно дожидаться своей очереди, зажав в руке номерок. Какая гадость этот обычай распределять номера и непреложно соблюдать очередность в помещении, где толпятся люди, и ради чего — всего лишь ради маленькой белой коробки с пирожными, перевязанной ленточкой.

Когда это разбудило его, он сначала ничего не понял. Лежал с открытыми глазами, задумавшись: в темноте мысли разбредались. Потом сообразил: по подъезду распространяется, откуда-то с нижних этажей, музыка, — и тогда сосредоточился, вслушался: в толще стен — бубны, и струнные инструменты, и слившиеся в унисон голоса, но очень тихие, и словно бы совсем далеко, по ту сторону долины — так чудилось ему — мужчины, поющие молитвы, хор, славящий Бога:

Алла-у-у Алла-у-у Алла-у-у

К краю стола в комнате Джастина была прикреплена старомодная точилка для карандашей. Стоя в дверях, Лианна смотрела, как он поочередно вставляет карандаши в отверстие и крутит ручку. У него были двухцветные карандаши — красные и синие с разных концов, — и карандаши "Седар-Пойнт", и "Диксон-Тримлайн", и старинные "Эберхард-Фабер". И карандаши из гостиниц Цюриха и Гонконга. Были карандаши из веток, с которых не содрана кора: шероховатые, сучковатые. И карандаши из "Лавки дизайнера" в Музее современного искусства. И "Мирадо-Блэк-Уорриор". И карандаши из магазинчика в Сохо, на которых начертаны лаконичные тибетские изречения.

Как-то грустно: все эти символы престижа оказались в комнате маленького мальчика.

Больше всего ей нравилось смотреть, как, заточив карандаш, он сдувает с грифеля микроскопические стружки. Если бы он занимался этим весь день, она бы весь день смотрела: карандаш за карандашом. Крутит ручку и дует, крутит ручку и дует — торжественно, сосредоточенно; по серьезности с ним

не смогли бы тягаться даже одиннадцать господ в орденах при подписании международного договора.

Перехватив ее взгляд, он спросил:

— Чего тебе?

— Сегодня я разговаривала с мамой Кэти. Кэти и ее брата, как там его зовут. Она рассказала мне о бинокле.

Он стоял и смотрел на нее, с карандашом в руке.

— Кэти и как там его.

— Роберт, — сказал он.

— Ее младший брат Роберт. И его старшая сестра Кэти. И этот человек, о котором вы трое все время говорите. Мне, случайно, не следует об этом знать?

— Какой человек? — спросил он.

— Какой человек. И какой бинокль, — сказала она. — Тебе разрешили без спросу выносить бинокль из дома?

Он стоял и смотрел. Волосы у него были бесцветные, отцовские, и осанка отцовская, чуть угловатая. Невозмутимость — его собственная. Когда он занимается спортом или играет в подвижные игры, в нем чувствуется поразительная собранность.

— Тебе отец разрешил?

Он стоял, уставившись на нее.

— Что интересного можно увидеть из их окон? Хотя бы это ты мне можешь сказать?

Она прислонилась к дверному косяку, готовая ждать три дня, четыре, пять, — об этом говорило выражение ее лица и ее поза, — пока он не ответит.

Он слегка отвел в сторону руку, руку без карандаша, ладонью вверх, и его лицо еле заметно изменилось: между подбородком и нижней губой возникла дугообразная впадина. Эта гримаса — беззвучный стариковский аналог реплики, с которой начинает разговор маленький мальчик: "Мама, тебе чего?"

Он сидел боком к столу, положив левую руку на угол столешницы, параллельно краю. Кисть руки — пальцы сжаты в мягкий кулак — свисала со стола. Он приподнял кисть, не отрывая предплечья от столешницы, пять секунд продержал в вертикальном положении. Повторил это десять раз.

Так и называется: мягкий кулак, так говорят физиотерапевты. Термин из листка с инструкциями.

Он считал, что занятия восстанавливают его силы. Четыре раза в день, сгибание-разгибание запястья, ульнарное отведение кисти. Вот чем по-настоящему можно восполнить ущерб, нанесенный ему в башне, когда с неба сошел хаос. К

нормальному самочувствию его постепенно возвращала не томография, не хирургическая операция. Возвращала скромная программа домашних занятий, отсчитывание секунд, отсчитывание повторов, часы, специально выделенные им для упражнений, лед, который он прикладывал к руке после каждого комплекса упражнений.

Одни мертвы, другие изувечены. У него травма была легкая, но старался он не ради порванных связок. А ради хаоса, ради пляски потолков и этажей, ради голосов, задыхающихся в дыму. Он сидел, глубоко сосредоточившись, выполнял упражнения для кисти: руку в запястье согнуть, опуская, руку в запястье согнуть, поднимая, предплечье распластано на столе, при некоторых упражнениях большой палец оттопырен кверху, свободная рука прижимает рабочую. Мыл лангетку теплой водой с мылом. Не сдвигал лангетку без консультации с лечащим врачом. Читал инструкции. Сжимал руку в мягкий кулак.

Джек Гленн, ее отец, не захотел безвольно плыть по течению прогрессирующего старческого слабоумия. В своем коттедже на севере Нью-Гемпшира он набрал несколько телефонных номеров и, закончив последний разговор, застрелился из старого охотничьего ружья. Подробностей она не знала. Когда это случилось, ей было двадцать два и она не стала выспрашивать у местных полицейских подробности. Какие там могли быть подробности, кроме невыносимых? Но она невольно гадала, что это было за ружье: знакомое ей, то, которое он ей разрешал подержать, прицеливаться из него, только стрелять не позволял, — когда она, четырнадцатилетняя, пошла с ним в лес, нехотя пошла уничтожать вредителей. Она выросла в городе и толком не знала, кто вредит посевам, но четко запомнила одну фразу, услышанную тогда в лесу. Отец любил поговорить об анатомии гоночных автомобилей, мотоциклов, охотничьих ружей, об устройстве всяческих механизмов, а она любила слушать. Тем охотнее слушала, чем большая дистанция их разделяла: дистанция, которая с самого начала измерялась милями, неделями и месяцами жизни врозь.

Он вскинул ружье и сказал ей:

— Чем короче ствол, тем громче выстрел.

Накал этой фразы с тех пор, за годы, не ослаб. С ней как бы примчалось известие о его смерти. Страшная фраза, но она пыталась втолковать себе, что он поступил мужественно. Он поторопился: болезнь еще не успела пустить цепкие корни, но Джек уважал право природы на оплошности и пола-

гал, что его судьба предрешена. Ей хотелось верить, что его убило то же самое ружье, которое он учил ее держать в лесопосадках, среди лиственниц и елей, в косых лучах северного солнца.

Переступив порог, Мартин приобнял ее. Вид у него был скорбный. В день терактов он находился где-то в Европе и, как только транспортное сообщение кое-как наладилось, прилетел одним из первых трансатлантических рейсов.

— Теперь уже ничто не покажется гиперболой. Меня больше ничем не удивишь, — сказал он.

Мать была у себя в спальне: одевается — давно пора, полдень наступил, — а Мартин прохаживался по комнате, все вокруг разглядывая, лавируя между игрушками Джастина, подмечая, что куда переставлено.

— Где-то в Европе. Эти слова всегда мне приходят на память, стоит о тебе подумать.

— Но не тогда, когда я здесь.

Воздетая кверху рука — маленькая бронзовая скульптура, обычно стоявшая на бамбуковом журнальном столике, — теперь соседствовала со стопками книг на другом столике, кованом, у окна, а объект Луизы Невелсон[1] на стене сменился фотографией Артюра Рембо.

— Но даже когда ты здесь, у меня такое ощущение, что ты лишь проездом из одного далекого города в другой, такой же далекий, и оба города — расплывчатые, бесформенные.

— Как и я. Я сам бесформенный, — сказал он.

Они поговорили о том, что произошло. О том, о чем говорили все. Он увязался за ней на кухню, и она налила ему пива. Наливая, рассказывала:

— Люди читают стихи. Знаю таких — принялись читать стихи, чтобы снять шок и боль, найти для себя какую-то отдушину, что-то красивое в смысле языка, — сказала она, — утешиться или совладать с собой. Я не стихи читаю — газеты. Уткнусь в страницу, и стервенею, и с ума схожу.

— Есть и другой подход, а именно: изучить предмет досконально. Отстраниться и поразмыслить об его составляющих частях, — сказал он. — Холодно, здраво, если хватит сил. Не допускай, чтобы события тебя подавляли. Проанализируй их, взвесь.

— Взвесь, — повторила она.

1. Луиза Невелсон (1899–1988) — американский скульптор. Работала в стиле абстрактного экспрессионизма.

— Есть событие, и есть индивид. Взвесь событие. Позволь себе вынести из него какие-то уроки. Изучи его во всех ракурсах. Сделайся равновеликой ему.

Мартин Риднур был антиквар, коллекционер. Возможно, куда-то вкладывал деньги. Лианна точно не знала, чем он, собственно, занимается, но подозревала: скупает произведения искусства и тут же с большим барышом перепродает. Ей Мартин был симпатичен. Говорил он с акцентом, имел квартиру здесь и офис в Базеле. Подолгу живал в Берлине. В Париже у него жена — а может, и нет никакой жены.

Они вернулись в гостиную. Он держал в одной руке кружку, в другой — бутылку.

— Я тут какую-то чушь несу, сам себя не понимаю, — сказал он. — Говори ты, а я выпью.

Мартин был тучен, но не производил впечатления толстяка, который раздобрел от хорошей жизни. Обычно он маялся бессонницей из-за постоянных перелетов между часовыми поясами, выглядел неряшливо, ходил в заношенных костюмах — изображает старого поэта-изгнанника, говорила мать. Он был скорее лысоват, чем лыс: голова покрыта седым, каким-то призрачным пушком. Бородка — с сильной проседью, растрепанная — вечно смотрелась так, словно он отращивает ее всего две недели.

— Прилетел сегодня утром и сразу позвонил Нине. Мы уедем на неделю-две.

— Хорошая мысль.

— Красивый старый дом в Коннектикуте, у побережья.

— Ты все устраиваешь.

— Специальность у меня такая.

— У меня к тебе один вопрос. Совсем о другом. Можешь пропустить его мимо ушей, — сказала она. — Вопрос с бухты-барахты.

Она посмотрела на него. Он стоял в другом углу комнаты, позади кресла, и допивал пиво.

— Вы с ней занимаетесь сексом? Конечно, это не мое дело. Но секс между вами возможен? Я хочу сказать, после операции на колене. Лечебной физкультурой она не занимается.

Он понес бутылку и кружку на кухню и, оглянувшись, ответил, скорее шутливо:

— Колено ей для секса не нужно. Колено мы не трогаем. Оно чертовски чувствительное. Но мы изворачиваемся, чтобы его не тревожить.

Она подождала, пока он вернется.

— Это не мое дело. Но она, кажется, начинает замыкаться в себе. Вот я и подумала.

— А ты, — сказал он, — и Кейт. Он к тебе вернулся. Это правда?

— Может, завтра соберется и уйдет. Как знать.

— Но он живет у тебя.

— Рано еще так говорить. Не знаю, что дальше. Да, спим мы вместе, если ты об этом спрашиваешь. В смысле, на одной кровати.

В его глазах сверкнуло озадаченное любопытство.

— Делите ложе. Целомудренно, — сказал он.

— Да.

— Мне это нравится. Сколько ночей?

— Первую ночь он провел в больнице — его оставили для обследования. С тех пор — ну сколько там... Сегодня понедельник. Шесть дней, пять ночей.

— Будешь докладывать мне, как развивается сюжет, — сказал он.

С Кейтом он разговаривал раза два, не больше. Думал о нем так: это американец, не нью-йоркец, не один из избранных с Манхэттена, не из той породы, которая сохраняется в чистоте путем контролируемого размножения. Мартин пытался выяснить, как смотрит этот молодой человек на политику и религию, ему было интересно, как говорят и ведут себя жители Среднего Запада. А узнал лишь, что Кейт когда-то держал питбуля. Хоть какая-то осмысленная информация: собака, у которой главное — крепкий череп и челюсти, американская порода, изначально выведенная для боев и убийств.

— Может быть, однажды вам с Кейтом снова представится возможность поговорить.

— О женщинах, полагаю.

— О маме и дочке. Во всех мерзких подробностях, — сказала она.

— Кейт мне симпатичен. Однажды я рассказал историю, которая пришлась ему по душе. Про картежников. Он, естественно, картежник. Про картежников, которых я знал в старые времена: они собирались раз в неделю и всегда садились на одни и те же места. На одни и те же места — без малого полвека. Если подсчитать, даже дольше, чем полвека. Ему понравилось.

Вошла ее мать, Нина, в темной юбке и белой блузке, опираясь на трость. Мартин обнял ее. Не сводил с нее глаз, пока она устраивалась в кресле: медленно, разделяя каждое движение на несколько фаз.

— Мы ведем старые, давно отжившие войны. По-моему, за последние дни мы откатились в прошлое на тысячу лет, — сказала она.

Мартин не появлялся здесь около месяца. И теперь увидел финальную стадию метаморфозы: Нина приняла старость без сопротивления, включилась в предложенную ей игру и окончательно стала настоящей старухой. Лианна, взглянув на мать его глазами, опечалилась. Кажется, мать еще больше поседела? Уж не злоупотребляет ли она болеутоляющими? А что, если на той конференции в Чикаго у нее произошел микроинсульт? И, наконец, уж не врет ли он насчет их интимных отношений? Голова у нее работает прекрасно. Она не прощает себе естественную эрозию памяти: когда порой забываются имена или местонахождение вещи, которую она сама только что, секунду назад, куда-то переложила. Но главное она схватывает: широкий контекст, многомерность проблем.

— Расскажи-ка, что поделывают европейцы, — сказала Нина.

— Они добры к американцам, — сказал он.

— Расскажи, что купил, что продал.

— Одно могу сказать: на арт-рынке грядет стагнация. Современное искусство кое-где идет. В остальном перспективы удручающие.

— Современное искусство. Уф, сразу камень с души свалился, — сказала Нина.

— Искусство как знак престижа.

— Людям престиж нужен.

По-видимому, ее сарказм обнадежил его.

— Я только-только на порог ступил. Собственно, едва успел пересечь границу. А она что? А она ко мне цепляется.

— Работа у нее такая, — сказала Лианна.

Они — Мартин и Нина — знали друг друга двадцать лет и почти все это время были любовниками: в Нью-Йорке, а прежде — в Беркли, а еще раньше — где-то в Европе. Лианна знала: когда, время от времени, он занимает оборонительную позицию, это не признак выплескивающейся изнутри обиды. Просто так у них принято, когда они вдвоем. Мартин вовсе не был бесформенным, сколько бы ни прикидывался, что бы о себе ни говорил. На деле он просто кремень: в своем деле сметлив, с Лианной сердечен, с ее матерью щедр. Это Мартин подарил Нине два прекрасных натюрморта Моранди. И фотографии на паспорт, что висят на противоположной стене, — тоже от Мартина: часть его коллекции. Постаревшие документы, проштемпелеванные и выцветшие — не просто памятники истории, измеряемые в квадратных дюймах. Они еще и красивы.

Лианна спросила:

— Хотите поесть?

Нине хотелось курить. Теперь бамбуковый журнальный столик стоял у кресла, а на нем — пепельница, зажигалка и пачка сигарет.

Мать щелкнула зажигалкой. Лианна наблюдала за ней с привычным, довольно болезненным чувством: с определенного момента Нина словно бы перестала ее замечать. Как она защелкивает колпачок зажигалки, откладывает зажигалку в сторону, как движется рука, как тают клубы дыма — все это навевает воспоминания.

— Отжившие войны, священные войны. Может быть, завтра Бог явит свой лик в небесах.

— И чей это будет Бог? — спросил Мартин.

— Раньше Бог был евреем из большого города. А теперь вернулся в пустыню.

Предполагалось, что Лианна получает образование, чтобы посвятить себя науке, серьезно изучать языки или историю искусств. Она объездила Европу и почти весь Ближний Восток, но в общем-то это были лишь турпоездки в компании легкомысленных друзей, а не целенаправленное изучение верований, общественного устройства, языков, искусства. По крайней мере, такой вердикт вынесла Нина Бартос:

— Чистой воды паника. Паникуют, вот и атакуют.

— В определенном смысле — да, наверно, поэтому. Им кажется, что мир заражен. Наш мир, наша с вами цивилизация. И зараза расползается, — сказал он.

— Ничего им не добиться, как бы они ни надеялись. Они не приносят свободу народам, не изгоняют диктаторов. Убивают невинных — только и всего.

— Они подрывают господство вашей страны. Вот их цель: показать, что и у великой державы есть слабое место. У державы, лезущей в чужие дела, державы-оккупанта.

Он говорил тихо, уставившись на ковер у себя под ногами.

— У одной стороны есть деньги, рабочая сила, технологии, армии, ведомства, мегаполисы, законы, полиция и тюрьмы. У другой — горстка людей, готовых на смерть.

— Аллах велик, — сказала она.

— Забудь о Боге. Это сфера истории. Политики с экономикой. Бытие определяет сознание: миллионы людей обездолены.

— Их страны отстают в развитии не из-за многолетних вмешательств Запада. Причина — в их собственной истории, в их менталитете. Они живут закрыто, потому что таков их собственный выбор, потому что им так нужно. Не развиваются, потому что не хотят или не пытаются.

— Соглашусь, они оперируют религиозной терминологией, но движет ими другое.

— Панический страх — вот что ими движет, и точка.

Мать разъярилась еще сильнее, чем Лианна, и она склонилась перед материнской яростью. Увидела на лице Нины суровое, сосредоточенное негодование, а сама лишь опечалилась: две родные души — на противоположных позициях.

Тут Мартин пошел на попятный, снова смягчил тон:

— Ну хорошо, да, возможно.

— Обвиняй нас. Сваливай на нас вину за их неудачи.

— Ну хорошо, хорошо. Но это атака не на одну страну, не на один-два города. Теперь мы все под прицелом.

Через десять минут Лианна вышла из комнаты — а разговор продолжался. Лианна стояла в ванной перед зеркалом. Почувствовала в этой сцене какую-то фальшь: прямо, как в кино, героиня смотрит на свое отражение и пытается понять, что с ней, собственно, происходит.

В голове пронеслась мысль: "Кейт жив".

Кейт жив уже шесть дней, жив с той самой секунды, как ступил на порог, но во что это для нее выльется, чем это кончится для нее и сына?

Она вымыла руки и лицо. Подошла к шкафчику, достала чистое полотенце, вытерлась. Бросила полотенце в корзину для грязного белья. Спустила воду в унитазе. Воду она спустила не для того, чтобы другие подумали, будто она покинула гостиную по неотложному делу. До гостиной вообще звуки не доносятся. Просто так, взяла и спустила — захотелось. Может быть, чтобы сказать себе: хватит, пауза закончилась, — и выставить себя за дверь.

Что она вообще делает в ванной? Ведет себя, как маленькая, подумала она.

Когда она вернулась, беседа уже увядала. Мартин еще много что имел сказать, но, вероятно, подумал: сейчас не время, некстати, слишком рано, — и отошел к стене, к полотнам Моранди.

Через несколько секунд Нина задремала. Она принимала множество лекарств через четко предписанные интервалы, точно вращала буддистское молитвенное колесо: часы и дни становились священным орнаментом из таблеток и капсул, разных цветов, разной формы, в разном количестве. Лианна стояла и смотрела на мать. В голове не укладывается, что Нина накрепко приросла к креслу, смиренная, неподвижная, — этот рьяный арбитр жизни своей дочери, рьяный и проницательный, эта женщина, которая дала жизнь слову "прекрасное", нарекла им то, чем завораживают картины, идеи, муж-

ские и женские лица, душа ребенка. Все сплыло, только тело вдыхает и выдыхает воздух, вот и все.

А вдруг матери недолго осталось жить? "Не нагнетай", — сказала она себе.

Наконец Нина открыла глаза, и взгляды двух женщин встретились. Встретились надолго, и Лианна толком не поняла, чем они обменялись молча. Или поняла, но не смогла подобрать слова для чувств, волны которых схлестнулись. Они высказали друг дружке все, накопившееся в их отношениях за всю жизнь вместе или порознь, все, постигнутое и пережитое, и то, что в будущем — сколько бы минут, дней или лет ни было у них впереди.

Мартин стоял перед полотнами.

— Вот смотрю на эти вещи — кухонная утварь, но с кухни ее забрали, освободили от кухни, от домашнего очага, от всего практического и функционального. Наверно, я сейчас в другом часовом поясе. Наверно, перелет выбил меня из колеи сильнее обычного, — сказал он. И, помолчав, добавил: — Просто на этом натюрморте мне все время чудятся башни.

Лианна встала рядом с ним. На картине было изображено семь или восемь предметов. Те, что повыше, оттенялись свинцово-серым фоном, прописанным какими-то колючими мазками. Другая группа предметов — тесное скопление коробок и жестянок с печеньем — размещалась на темном фоне. Композиция в целом — искаженная перспектива, преимущественно приглушенные тона — странно манила переизбытком энергии.

Они всмотрелись в натюрморт вместе.

Среди самых высоких предметов было два темных и мрачных, в пятнах наподобие копоти, со смазанными краями. Один был частично скрыт длинногорлой бутылкой. Бутылка как бутылка, белая. Мартин имел в виду два темных предмета; что это изображено, непонятно — слишком расплывчатые.

— Что ты видишь? — спросил он.

Она увидела то же, что и он. Башни.

5

В парк он вошел через Инженерные ворота[1], где бегуны обычно разминаются перед пробежкой. День был теплый, безветренный. Он зашагал по аллее, которая шла параллель-

1. Речь идет о Центральном парке в Нью-Йорке.

но беговой дорожке. Он не прогуливался бесцельно, но и не особенно торопился туда, куда решил зайти. Понаблюдал за одной старушкой, сидевшей на скамейке, отрешенно о чем-то задумавшись, приложив к щеке бледно-зеленое яблоко. Автомобили на аллею не допускались, и он подумал: в парк приходишь смотреть на людей, на тех людей, что на улице лишь тени. Впереди по левую руку от него и на дорожке вокруг пруда — бегуны. На дорожке чуть выше него — тоже. И на аллее их немало: бегут мужчины с грузиками, бегут женщины, толкая перед собой коляски с детьми, толкая детей, а кое у кого на поводках собаки. В парк приходишь посмотреть на собак, подумал он.

Аллея повернула к западу, пронеслись на роликах три девчонки в наушниках. Заурядность всего этого, в нормальных обстоятельствах абсолютно непримечательная, странно давила, казалась чуть ли не галлюцинацией. Он нес портфель. Ему хотелось повернуть обратно. Он поднялся наискосок в горку, миновал теннисные корты. К забору были привязаны три лошади. К седельным сумкам прицеплены полицейские каски. Мимо пробежала женщина, с кем-то разговаривая по мобильнику, голос у нее был расстроенный. Захотелось швырнуть портфель в пруд — и домой.

Она жила в двух шагах от Амстердам-авеню. Поднялся он по лестнице. Шесть пролетов. Когда она отперла дверь и пригласила его войти, вид у нее был растерянный, даже — вот странно! — слегка настороженный, и он начал объяснять, как уже объяснял накануне по телефону, что не мог вернуть портфель раньше, что не специально медлил. Она что-то толковала о кредитных картах в бумажнике: что не заблокировала их, поскольку... ну что тут скажешь — все пропало, она думала, все погребено под землей, пропало с концами, и оба помолчали, а потом вновь заговорили, одновременно, пока она не махнула рукой — мол, к чему слова. Он оставил портфель на стуле у двери и подошел к дивану, промямлив, что скоро должен уйти.

Она была светлокожая афроамериканка, его ровесница или почти ровесница, кроткая с виду, полноватая.

Он сказал:

— Когда я наткнулся в портфеле на ваше имя, после того, как наткнулся на ваше имя, и заглянул в телефонную книгу, и увидел, что вы в ней значитесь, и даже начал набирать номер — только тогда до меня дошло.

— Я знаю, что́ вы скажете.

— Я подумал: зачем я это делаю, не проверив — а если ее вообще больше нет?

Воцарилась пауза, и он осознал, как тихо она говорит, вплетая свой голос в его обрывистые пояснения.

— У меня есть чай из трав, — сказала она. — И вода с газом, если хотите.

— Вода с газом. Родниковая вода. В портфеле лежит бутылочка. Дайте вспомнить. "Поланд-спринг".

— "Поланд-спринг", — сказала она.

— В любом случае, если вы хотите проверить, что там лежит...

— Нет, не хочу. Конечно, не хочу, — тихо сказала она.

Она стояла в арке, соединявшей комнату с кухней. Под окнами громыхал транспорт.

Он сказал:

— Понимаете, вот как вышло: я и не знал, что он у меня. Не то что забыл — такое ощущение, что просто не знал.

— Кажется, я не знаю, как вас зовут.

Он сказал:

— Кейт, верно?

— Вы мне уже говорили?

— По-моему, говорил. Да, говорил.

— Звонок... просто как гром среди ясного неба.

— Меня зовут Кейт, — сказал он.

— Вы в "Престон Уэбб" работали?

— Нет, этажом выше. Маленькая такая лавочка, называлась "Ройер пропертиз".

Он встал, собираясь уйти.

— В "Престон" столько подразделений. Я думала: может быть, мы просто не сталкивались.

— Нет, "Ройер". У нас почти всех выкосило, — сказал он.

— Мы ждем, что будет дальше, куда переедем. Я об этом почти не думаю.

Повисла пауза.

Он сказал:

— Мы назывались "Ройер и Стэнс". Пока на Стэнса не завели уголовное дело.

Наконец он направился к двери — и взял портфель со стула. И, уже потянувшись к дверной ручке, опешил, взглянул на хозяйку в дальнем углу. Та улыбнулась.

— Зачем я это сделал?

— Привычка, — сказала она.

— Я чуть не ушел с вашими вещами. Во второй раз. Ваше бесценное фамильное наследство. Ваш мобильник.

— Какой там мобильник. Когда я осталась без него, оказалось, он мне не нужен.

— Ваша зубная щетка, — продолжал он. — Ваши сигареты.

— О Боже, нет! Вы узнали мою позорную тайну. Но я бросаю — дошла до четырех в день.

Она вновь указала ему на диван, широко взмахнув рукой — решительный приказ полицейского-регулировщика: поживее-ка.

Накрыла стол: чай, блюдо с сахарным печеньем. Ее звали Флоренс Дживенс. Она поставила с другой стороны стола табуретку, села наискосок от него.

Он сказал:

— Я про вас все знаю. Ультразвуковая зубная щетка. Вы чистите зубы звуковыми волнами.

— Я помешана на технике. Обожаю всякие приспособления.

— Почему у вас диктофон лучше моего?

— Кажется, я всего два раза им пользовалась.

— Я своим пользовался, но потом никогда не слушал записей. Мне нравилось в него говорить.

— И что вы говорили?

— Ну, не знаю. "Уважаемые сограждане" и всякое такое, — сказал он.

— Я думала, все пропало с концами. Не подала заявления об утере водительских прав. Собственно, вообще ничего не делала — сижу вот в этой комнате, и все.

Прошел час. Разговор продолжался. Печенье было невкусное, но он все равно машинально брал его с блюда, откусывал по чуть-чуть, как маленький ребенок, и бросал изуродованные останки назад на блюдо.

— Я сидела за монитором и услышала, как приближается самолет, да, услышала, но только после того, как меня швырнуло на пол. Вот как быстро, — сказала она.

— Вы уверены, что слышали самолет?

— Ударная волна швырнула меня на пол, и тут я услышала: самолет. И систему пожаротушения, кажется. Пытаюсь вспомнить, как сработала система пожаротушения. Точно знаю: я вдруг вымокла, до костей.

Он понял, что эта фраза слетела с ее губ нечаянно. Прозвучало как интимная подробность: вымокла до костей. Она невольно запнулась.

Он подождал.

— У меня зазвонил телефон. Я села за свой стол — не скажу почему, просто чтобы присесть, успокоиться. Беру трубку. И мы стали разговаривать: "Привет, это Донна", что-то наподобие того. Звонит моя подруга Донна. Я говорю: "Ты слышала этот шум?" Она звонит из дома, из Филадельфии, хочет приехать в гости. А я: "Ты слышала этот шум?"

Она рассказывала медленно, одновременно припоминая, часто умолкала, чтобы уставиться в пространство и снова все увидеть: обвалившиеся потолки и заблокированные лестницы, дым, дым, который не рассеивался, и развалины стены, несущей стены, — она помолчала, подбирая слово, а он ждал и смотрел.

Она была как в забытьи, потеряла чувство времени, — говорила она сама о себе.

Где-то текла или била фонтаном вода, откуда-то хлынула.

Мужчины рвали на себе рубашки и закутывали лица — от дыма, вместо респираторов.

Она видела женщину со сгоревшими волосами: волосы горели и дымились, — но теперь уже не уверена, то ли сама видела, то ли слышала от других.

Иногда приходилось пробираться на ощупь — дым был очень густой, — уцепившись за плечо впереди идущего.

Туфли она то ли потеряла, то ли сама сбросила с ног, а где-то, словно ручей, текла вода, где-то рядышком, сбегала под горку.

И вот уже на лестнице стало тесно, шли медленно, прибавлялись люди с других этажей.

— Кто-то сказал: "Астма". Теперь начинаю рассказывать — и понемножку вспоминается. "У меня астма, астма". Женщина, с отчаянием. На лицах паника. И тогда, по-моему, я упала, просто свалилась. Пролетела пять-шесть ступенек и растянулась на лестничной клетке, вроде как упала, поскользнувшись, здорово стукнулась.

Ей хочется рассказать ему все, сообразил он. То ли она забыла, что и он был там, в башне, то ли именно поэтому она должна рассказать ему и больше никому.

Он понял: она больше никому не рассказывала — по крайней мере, так живо.

— Я страшно испугалась, что меня растопчут, хотя люди ступали осторожно, помогли мне, но само ощущение — что ты упала в толпе и тебя растопчут. А люди помогали; помню одного мужчину, он мне помог встать на ноги, пожилой, с одышкой, а помог мне, разговаривал со мной, пока я не смогла двинуться дальше.

В шахтах лифтов пылал огонь.

Один мужчина говорил, что это сильнейшее землетрясение. Она совсем забыла про самолет и была готова поверить в землетрясение, хотя сама слышала самолет. А кто-то другой сказал: "Видал я землетрясения" — мужчина в костюме, при галстуке, — "хрена с два это землетрясение" — солидный мужчина, образованный, топ-менеджер, — "хрена с два это землетрясение".

Сверху свисали провода, она почувствовала, как по руке скользнул провод. Упал на мужчину позади нее, и тот подскочил на месте и выругался, а потом рассмеялся.

Толпа на лестнице, беспредельная мощь толпы: еле ковыляющие, плачущие, обгоревшие — не все обгорели, лишь некоторые, — но почти все спокойные, женщина в инвалидной коляске: ее несли на руках, люди уступали дорогу, растягиваясь по лестнице цепочкой.

Так она говорила, а на ее лице застыло умоляющее выражение. О чем она просит, просит от всего сердца?

— Сама знаю: не могу я, живая и здоровая, сидеть здесь и рассказывать, как упала на какой-то лестнице, когда такой ужас, столько народу погибло.

Он не прерывал. Давал ей выговориться, не пытался утешить. Зачем утешать? Она сгорбилась на табурете, обращалась к столешнице.

— Мимо пробегали пожарные. И: "У меня астма, астма". И некоторые — те, кто не отмалчивался, — говорили: "Бомба". Они пытались звонить по мобильникам. Прямо на ходу, на лестнице, набирали номера.

И тут откуда-то снизу, из рук в руки, стали передавать бутылки с водой, и газировку, и кое-кто — ребята из трейдерских контор — даже начали понемножку острить.

И тогда же мимо побежали пожарные, вверх по лестнице, в самое средоточие, ТУДА, и люди уступали им дорогу.

И тогда же она увидела знакомое лицо, этот человек шел наверх, ремонтник, они всегда, когда встречались, перешучивались, он пошел наверх, разминувшись с ней, держа в руках какой-то длинный железный инструмент — кажется, такими штуками отжимают двери лифтов, — и она попыталась вспомнить, как же эта штука называется.

Кейт ждал. Она смотрела в пространство, напрягала память: казалось, ей очень важно вспомнить, словно она ищет в памяти имя ремонтника, а не название его инструмента.

Наконец Кейт сказал:

— Монтировка.

— Монтировка, — произнесла она, и опять задумалась, точно увидела все вновь въявь.

Кейт подумал, что тоже видел этого человека: тот и с ним разминулся, дядька в каске, на поясе у него висели инструменты и фонарики, а в руках он нес монтировку загнутым концом вперед. Если бы она о нем не обмолвилась — не было бы повода вспомнить. Ну да какая разница, подумал он. Но нет, разница есть. Кто знает, что сталось с ремонтником, — о его судьбе им известно лишь, что они оба его видели, в разных точках своего

пути вниз по лестнице, — но важно, отчего-то важно, не поймешь почему, но важно, что воспоминания пересеклись, уловили ремонтника и вынесли его из башни сюда, в эту комнату.

Кейт подался вперед, облокотившись на журнальный столик, покусывая свою руку. Смотрел, как она говорит.

— Мы всё спускались и спускались. Темно, светло, опять темно. У меня такое ощущение, что я до сих пор на той лестнице. Мне хотелось к маме. По гроб жизни останусь на лестнице, даже если до ста лет доживу. Спускались так долго, что начинало казаться: так и полагается. Бежать мы не могли, никакого ошалелого бегства не было. Мы все были в одной лодке. Мне хотелось к маме. Хрена с два это землетрясение. Десять миллионов в год зарабатываю.

Самый ужасный дым остался позади, и тогда-то она увидела собаку, слепого мужчину и собаку-поводыря, там, впереди, недалеко, и они были точно из Библии, подумала она. Они были такие спокойные. Словно бы излучали спокойствие, подумала она. Собака — это был как бы чистейший покой. Они уверовали в собаку.

— И вот мы, наконец... не знаю, сколько нам пришлось ждать, темно было, не знаю уж, где мы стояли, но потом вышли, и прошли мимо каких-то окон, и увидели площадь, а там — разбомбленный город, что-то горит, мы увидели трупы, увидели одежду, куски металла вроде запчастей, все вразброс. Это как бы за две секунды. Две секунды я смотрела, потом отвернулась, и тут мы прошли через подземный ярус, а потом поднялись на улицу.

Некоторое время она ничего не говорила. Он прошел к стулу у двери, разыскал в портфеле ее сигареты, вынул из пачки одну, зажал в зубах, потом отыскал зажигалку.

— В дыму мне ничего не было видно, кроме полосок на куртках пожарных: яркие полоски, а потом, среди обломков, какие-то люди, вокруг стекло и сталь, просто раненые люди, сидят замечтавшись, такие мечтатели в крови.

Она обернулась, взглянула на него. Он зажег сигарету, подошел и передал ей. Она сделала затяжку, зажмурилась, выдохнула дым. Когда снова открыла глаза, он опять был с другой стороны стола — сидел на диване и смотрел на нее.

— Возьмите сигарету, закуривайте, — сказала она.

— Да мне ни к чему.

— Бросили.

— Давным-давно. Когда мнил себя спортсменом, — сказал он. — Но выдохните на меня немножко дыма. Мне будет приятно.

Через какое-то время она опять заговорила. Но о каком этапе, он так и не понял, — наверно, снова вернулась к началу.

Он подумал: вымокла до костей. Она вымокла до костей.

Повсюду были люди, проталкивались на лестницу. Она пыталась припомнить предметы и лица, детали, которые что-то объясняют или обнажают суть. Она верила в собаку-поводыря. Собака их всех выведет в безопасное место.

Она начала рассказ сызнова, и он охотно слушал ее по второму разу. Слушал внимательно, брал на заметку каждую мелочь, пытался отыскать в толпе себя.

Ее мать все разложила по полочкам, еще много лет назад.

— Есть такие мужчины — это архетип. Для друзей мужского пола — идеал надежности, настоящий друг во всем: союзник и наперсник, дает взаймы, дает советы, не предаст и так далее, зато для женщин — просто наказание. Ад кромешный. Чем больше он сближается с женщиной, тем яснее осознает, что она не чета его друзьям. И тем невыносимее все это для нее. Вот Кейт. Вот мужчина, за которого ты выходишь замуж.

Вот мужчина, за которого она выходит замуж.

Теперь он — призрак, ступающий по воздуху. В квартире дрейфует смутный образ какого-то человека, достойного почтительной участливости. В свое тело он пока по-настоящему не вернулся. Даже в комплексе упражнений, которые он выполнял, разрабатывая запястье после операции, была какая-то отрешенность; четыре раза в день, странная последовательность сгибаний и разгибаний суставов — больше похоже на молитву в каком-то далеком северном захолустье, молитву угнетенного народа, молитву, при которой к руке ритмично прикладывают лед. Кейт общался с Джастином: отводил в школу, встречал из школы, помогал делать уроки. Гипс проносил недолго, быстро снял. Ходил с сыном в парк играть в "подай-отбей". Мальчик может с утра до вечера кидать бейсбольный мяч, ощущая безграничное, неиссякающее счастье; на Джастине нет печати греха, чьего бы то ни было греха, ни единого греха за все тысячелетия. Подай — отбей. Она смотрела, как они играют на площадке около музея, на фоне закатного неба. Когда Кейт проделывал с мячом фокус: правой, здоровой рукой перекидывал мяч на ладонь и моментально скатывал к локтю, а локтем отбивал высоко в воздух и ловил за спиной, — ей казалось, что этого человека она совершенно не знает.

По дороге на Сто шестнадцатую улицу она зашла в приемную Харолда Эптера на Восточной Восьмидесятой. Она бывала там регулярно — заносила ксерокопии сочинений кружков-

цев, обсуждала с доктором их состояние. Здесь Эптер принимал пациентов. С болезнью Альцгеймера и не только.

Эптер был щуплый, кудрявый, с лицом записного острячка; но он никогда не шутил. Они побеседовали об угасании Розэллен С., о надменности Кертиса Б. Она сказала Эптеру, что хочет проводить занятия чаще — два раза в неделю. Он покачал головой:

— Поймите, отныне все, что происходит в их жизни, — одна сплошная утрата. Наблюдается неотвратимое падение результативности. Они станут чувствовать себя все неувереннее. Нужны комфортные промежутки между встречами. Не стоит внушать им, что надо все записывать, все высказывать, пока не поздно. Вам нужно, чтобы они ожидали занятий с радостным волнением, но без стресса, без панического страха. Писать — дело благодатное, но только до поры до времени. Наступит момент, когда болезнь возьмет верх. — Он испытующе посмотрел на нее. — Скажу без обиняков. Это затеяно для них.

— Что вы имеете в виду?

— Кружок — это для них, — сказал он. — Не забирайте его себе.

Они написали о самолетах. Написали, где в тот момент были. Написали о своих знакомых, которые находились в башнях или неподалеку. И о Боге — тоже.

Как мог Бог допустить такое? Где был Бог, когда это случилось?

Бенни Т. порадовался, что не верит в Бога — иначе после такого стал бы неверующим.

Я никогда еще ближе к Богу, — написала Розэллен.

Это дьявол. Это ад. Столько мук и огня. Не думайте на Бога. Это ад.

Омар Х. потом несколько дней боялся выходить на улицу. Мерещилось, что на него смотрят.

Я не увидела, как они держатся за руки. Мне хотелось это увидеть, — написала Розэллен.

Кармен Г. задавалась вопросом, все ли из того, что с нами случается, непременно предусмотрено Провидением Господним.

Я никогда еще ближе к Богу, еще ближче, ближее, совсем близко.

Юджин Э. — нечастый гость — написал: Бог знает то, чего мы не ведаем.

Прах да пепел. Вот все, что осталось от Господнего Провидения.

Но когда башни рухнули, — написал Омар.

Я ото всех слышу, что они прыгали, взявшись за руки.

Если Бог допустил это — допустил самолеты, — то, значит, Бог сегодня утром заставил меня поранить палец, когда я хлеб резала?

Они писали, а потом зачитывали написанное, все по очереди, и комментировали, и вступали в диалог, а потом перешли на монологи.

— Покажи-ка нам палец, — сказал Бенни. — Мы его расцелуем.

Лианна их подстегивала: пусть высказываются и спорят. Ей хотелось ничего не упустить, услышать каждого: и тривиальные реплики, и горячие, чистосердечные слова о вере; какой накал, какая страстность наполнили комнату. Ей нужны эти люди. Замечание доктора Эптера задело Лианну за живое: в чем-то он прав. Ей нужны эти люди. Может быть, для нее кружок значит больше, чем для кружковцев. Здесь перед ней — нечто бесценное, то, что кровоточит и сочится. В кружковцах дышит то, что убило ее отца.

— Бог скажет: "Пусть случится вот это" — и случается.

— Бога я больше не уважаю — после такого.

— Мы сидим и слушаем, а Бог нам что-то говорит или не говорит ничего.

— Иду я по улице, иду стричься. И тут кто-то бежит навстречу.

— Я сидел в сортире. Потом сам себя проклял. Люди спрашивали: "А ты где был, когда это случилось?" Я им не говорю.

— Но нам ты не забыл сказать. Молодчина, Бенни.

Они прерывали друг дружку, жестикулировали, меняли тему, перекрикивали один другого, прикрывали глаза: задумчиво, или озадаченно, или заново переживая кошмар всего, что случилось.

— Ну а люди, которых Бог спас? Они, что, праведнее погибших?

— Не наше дело спрашивать. Мы не спрашиваем.

— В Африке младенцы мрут миллионами, а мы и не спроси.

— Я подумала: война. Я подумала: война, — сказала Анна. — Поставила свечку и никуда не пошла. Моя сестра сказала: это китайцы, она им никогда не доверяла — у них же есть бомба.

С понятием "Бог" у Лианны были сложности. Ей привили убеждение, что религия делает людей податливыми. Такова задача религии — возвращать психику в ребяческое состояние. Благоговение и покорность, повторяла ее мать. Потому-то религия столь повелительно говорит на языке догматов, ритуалов и кар. Повелительно и красиво, вдохновляя музыкантов и

художников, чье-то сознание развивает, а чье-то толкает к деградации. Люди впадают в транс или буквально целуют землю, или ползут на четвереньках за тридевять земель, или маршируют всем скопом, калеча себя ножами, подхлестывая себя бичами. Но не у всех так: нас, пожалуй, эта волна колышет бережно, и мы воссоединяемся с тем, что живет в глубине нашей души. Властность и красота, говорила мать. Нам хочется воспарить над реальностью, выйти за пределы надежного знания, а самый лучший способ это сделать — тешить себя иллюзией.

Юджин Э., семьдесят семь лет; волосы смазаны гелем и уложены в "ирокез", в ухе кольцо.

— Я в кои-то веки взялся мыть раковину — и тут звонок. Это была моя бывшая, — сказал он, — я с ней, типа, лет семнадцать не разговаривал, не знал даже, на каком она свете, а позвонила откуда-то, язык сломаешь, из Флориды. Я говорю: "Чего тебе?" Она: "Мне — ничего". Все тот же тон — никакого уважения. Говорит: "Телевизор включи".

— Мне пришлось смотреть у соседа, — вставил Омар.

— Семнадцать лет ни слуху ни духу. Вы подумайте, что́ должно было стрястись, чтобы ей все-таки вздумалось позвонить. "Телевизор включи", — говорит.

Диалог внахлест продолжался.

— После этого я никогда не прощу Бога.

— Как объяснишь ребенку, если его отец, его мама?..

— Детям правды не говорят.

— Я хотела посмотреть, как они держатся за руки.

— Когда что-то у тебя на глазах происходит, считается, это взаправду.

— Но Бог. Это Бог сделал? Или не Он?

— И вот ты смотришь... прямо у тебя перед носом... Но все понарошку.

— Бог занят своими большими делами. Большие дела — это по Его части. Он сотрясает мир, — сказал Кертис Б.

— А я бы кому-нибудь сказал: по крайней мере, ты не умер с трубкой в животе или с прицепленным пакетом для говна.

— Прах да пепел.

— Я ближе к Богу, я это знаю, мы знаем, они знают.

— Тут у нас молельня, — сказал Омар.

О террористах никто не написал ни слова. И когда после читки разговаривали, о террористах никто не упоминал. Лианна заговорила сама. У вас наверняка есть что сказать, чем поделиться: девятнадцать человек приехали нас убивать.

И стала ждать, сама не зная, что именно хочет услышать. Тут Анна Ч. упомянула своего знакомого — пожарного, пропавшего без вести в одной из башен.

Все занятие Анна отмалчивалась — лишь вставила одну-две реплики рассудительным тоном. А теперь рассказывала, помогая себе руками, направляя свою мысль в нужную сторону. Рассказывала, суровая и коренастая, сидя на разболтанном складном стуле, и ее никто не прерывал.

— Если у кого инфаркт, мы говорим: сам виноват. Ел, обжирался, сидячий образ жизни, никакого соображения. Так я и сказала его жене. Или вот кто умирает от рака. Курил, а бросить не мог. Это про Майка. Если уж рак, то рак легких, и мы скажем: сам виноват. Но это... то, что случилось, оно слишком большое, ни в какие ворота не лезет. Считай, оно как на Марсе. Невозможно понять этих людей или даже разглядеть, какие они, на фото в газетах. Лица видишь, ну и что? Ругать их разными словами — без толку. Я начала обзываться раньше, чем говорить научилась. Но какими словами их обозвать — выше моего разумения.

Лианна приблизительно понимала, что испытывает Анна. Ответная реакция, жажда возмездия. И правильно. Смутное желание, выстраданное, пусть и совершенно бесполезное, когда вокруг — ад земной.

— Разбился на машине насмерть или попал под машину, когда улицу переходил — так и подмывает прикончить другого — водителя, — тысячу раз, мысленно. Убить по-настоящему ты не сможешь, это уж точно, потому что в убийствах ты не спец, но мысленно — запросто: вообразить себе картину, хоть так отвести душу. Но здесь, с этими, даже не вообразить. И как с ними быть, непонятно. От твоей жизни они далеки на миллион миль. Да и сами они погибли.

То религия, а то Бог. Лианне хотелось быть неверующей. Неверие — путь к ясности мышления и целей. Или неверие — тоже суеверие, только другого рода? Лианне хотелось доверять силам и процессам природного мира, этой единственной, доступной в ощущениях реальности, и научному прогрессу: нет никаких потусторонних существ, только мы, люди. Она знала, что Бог и наука совместимы. Верь во все сразу. Но ей как-то не хотелось. Есть ученые и философы, которых она изучала в колледже, есть книги, которые она читала, точно воодушевляющие вести, адресованные ей лично, — иногда просто в трепет бросало, — есть священное искусство, которое она всегда любила. Произведения искусства создаются теми, кто сомневается, и истовыми верующими, и скептиками, которые потом уверовали, и она вольна мыслить, сомневаясь и веруя одновременно. Но веровать ей что-то не хочется. Бог докучал бы ей своим присутствием, отнял бы у нее силу. Даже войдя в ее жизнь, Бог все равно оставал-

ся бы чем-то невообразимым. Ей хотелось только одного: задуть мерцающий огонек шаткой веры, пронесенный почти через всю жизнь.

Он начал вдумчиво проживать каждый день, каждую минуту. Это стало возможно только здесь: один во времени, в отрыве от рутинных раздражителей, всяческих контактов с людьми в офисе — вырван из беспрерывного потока общения. Вещи словно застыли, и глаз, казалось, видит их яснее, а почему — непонятно. Он больше ничего не делал машинально. Подмечал всякую всячину, каждый мелкий ускользающий штрих данного конкретного дня или данной минуты: как облизывает большой палец, подцепляет им с тарелки хлебную крошку и бездумно кладет себе в рот. Вот только ни одно движение больше не казалось бездумным. Он здесь, он снова живет в семье — а ничто не кажется своим, привычным; он сам в себе увидел чужака — или всегда видел, но только сейчас осознал?

Прогулки пешком: с Джастином до школы, назад в одиночестве, или просто шатания по городу, а потом — забрать Джастина из школы и снова домой. В эти промежутки времени он испытывал ликование — чувство, которое проникало в душу почти украдкой и казалось почти знакомым, но неуловимым, шепот, обещающий открыть, что он за человек.

Мальчик пытался подолгу изъясняться только словами не длиннее двух слогов. Это у них в школе затеяли: серьезная игра, дети постигали структуру слов, учились дисциплинированности, необходимой для четкого изложения мыслей. Лианна, не совсем в шутку, заметила: "Ну прямо тоталитаризм".

— Так мне легче думать не спеша, — сказал Джастин отцу, промеряя каждое слово, отсчитывая слоги.

Сам Кейт тоже думает не спеша, погружается в себя. Когда-то ему хотелось отключить самосознание, в любое время дня и ночи быть только телом, которое несется неудержимо. Теперь он ловит себя на том, что временами впадает в созерцательность, больше не мыслит отчетливыми модулями: неизменными, взаимосвязанными, — а лишь впитывает все что ни попадя, кое-что перетаскивает из времени и памяти в некое туманное пространство, хранилище накопленного опыта. Или стоит и смотрит. Стоит у окна и смотрит, что там происходит на улице. Всегда что-нибудь да происходит, даже в самые спокойные дни и поздно ночью, — достаточно немножко постоять, не отводя глаз.

В голове промелькнуло ни с чем не связанное словосочетание: "органическая шрапнель". Что-то знакомое, но

ему ничего не говорит. Потом он увидел на той стороне улицы машину, которую припарковали так, что соседняя не могла выехать, и подумал о чем-то другом, а потом о чем-то третьем.

Прогулки пешком до школы и из школы, еда, которую он готовил (в последние полтора года он почти никогда не готовил: не хотелось, когда жаришь яичницу, чувствовать себя так, будто на свете больше никого нет). И парк, в любую погоду, и женщина, живущая по ту сторону парка. Но прогулки пешком через парк — это другое.

— Пора домой, идем! — сказал Джастин.

Она бодрствовала: давно за полночь, глаза закрыты, мысли по кругу, — и чувствовала, как наваливается, вторгается время, и чувствовала опасность — этакий ритмичный стук в голове.

Она прочитывала все, что писали о терактах.

Думала о своем отце. Он представлялся ей на эскалаторе: едет вниз, вроде как в аэропорту.

Кейт перестал бриться, как знать, что это означает. Казалось, все вокруг неспроста. В их жизни — переходный период, вот она и ищет во всем знаки. Даже происшествия, которых она почти не замечала, впоследствии всплывали в голове, наделенные смыслом; всплывали во время приступов бессонницы, которые длились не то несколько минут, не то несколько часов: не определишь.

Они жили в кирпичном доме, на верхнем этаже, на четвертом, и в последнее время, несколько дней уже, спускаясь по лестнице, она слышала специфическую музыку — музыку-стон, лютни, тамбурины, а порой речитатив — из квартиры на втором, один и тот же диск, — думала она, — снова и снова. И музыка начинала бесить.

Она читала статьи в газетах и не могла остановиться, только усилием воли заставляла себя отложить газету.

Но обычная жизнь продолжалась. Обычная жизнь шла обычно в обычном смысле слова.

В той квартире жила женщина, Елена. Возможно, гречанка, — думала она. Но музыка не греческая. То, что она слышит, относится к другой группе культур: Ближний Восток, Северная Африка, песни бедуинов или, может быть, суфийские танцы, музыка, укорененная в традициях ислама; иногда подмывало пойти, постучать в дверь и что-то сказать.

Она всем говорила, что хочет уехать из города. Все понимали, что это она не всерьез, и восклицали: "Да ты шутишь" — и в ее душе шевелилась досада: на людей, и на свое

полное неумение скрывать чувства, и на панику по пустякам, внушающую ей средь бела дня такие же мысли, как в этот ночной час: мысли кружат без остановки, мечутся ошалело.

Она подумала о своем отце. Она носила фамилию отца. Лианна Гленн. Ее отец был блудным сыном католической церкви в старинном смысле: горячо отстаивал необходимость богослужения на латыни, но ни за что не соглашался вытерпеть мессу с начала до конца. Он не видел различий между католиками и заблудшими католиками — ценил верность традициям во всем за пределами собственного творчества. Его проекты зданий и инженерных сооружений, расположенных по большей части в глухих местах, традиционностью не отличались.

Лианна подумала, что, пожалуй, надо изобразить учтивость — тактика такая, способ обидеть обидчика. Кейт говорил: нам ведь слышно в основном на лестнице, когда спускаемся или поднимаемся к себе, и вообще это только музыка, выкинь из головы.

Они были не хозяева своему жилищу — арендовали его, как средневековые крестьяне у феодала.

Ей хотелось постучаться к Елене, спросить, зачем та это затеяла. Занять определенную позицию — уже способ сквитаться. Спросить, почему в такие напряженные времена она ставит именно эту музыку. Говорить, подразумевая: "Мы такие же жильцы, как и вы, нам это мешает".

Она читала в газетах краткие очерки о погибших.

В отрочестве ей хотелось перевоплотиться в свою мать, в своего отца, в некоторых одноклассниц — были одна-две, которые двигались, казалось, особенно раскованно, говорили слова, сами по себе ничего не значащие, главное — не что́ говорили, а как: слова слетали с уст свободно, порхали птицами. Она переспала с одной из этих девушек: ласкались, один раз поцеловались, и это вспоминалось как сон, от которого проснешься в теле подруги, с ее душой.

Постучаться. Упомянуть о шуме. Не говори "музыка", говори "шум".

Эти люди думают одинаково, говорят одинаково, едят одно и то же в один и тот же час. Так она мысленно описывает их, хотя и знает: утрирует. Произносят одни и те же молитвы, слово в слово, в одной и той же молитвенной позе, днем и ночью, следя за дугами, которые описывают солнце и луна.

Теперь нужно заснуть. Выключить шум в своей голове и перевернуться на правый бок, к мужу, и вдохнуть его воздух, и заснуть его сном.

Елена работает менеджером то ли в офисе, то ли в ресторане, разведена, держит большую собаку, а в остальном — кто ее знает.

Ей нравилась растительность у него на лице — нормальная такая растительность, но вслух она об этом не говорила. Кое-что сказала — так, банальность — и увидела, как он провел большим пальцем по своей щетине, обратил внимание: вот она, борода.

Люди говорили: уехать из города? а смысл? куда уедешь? Классический лексикон тех, для кого Нью-Йорк — пуп Земли, беспардонных, крикливых. Но сердцем она не меньше, чем они, ощущала: так и есть.

Соберись с духом. Постучись. Займи позицию. Заговори о шуме, называя это шумом. Постучать в дверь, упомянуть о шуме, воспользоваться прозрачным предлогом — мол, правила хорошего тона, покой соседей. Прояви утрированную любезность жильца в разговоре с другими жильцами, любезность, которую никто не принимает за чистую монету, — и в тактичной форме упомяни о шуме. Но называть шум только шумом. Постучать в дверь, упомянуть о шуме, держаться с учтивым самообладанием, откровенно-напускным, и не намекать на подспудную мысль, что та или иная музыка — это проявление тех или иных политических и религиозных убеждений, особенно теперь. Постепенно перейти на лексикон возмущенных жильцов. Спросить ее: "Квартира ваша или арендуете?"

Она повернулась на правый бок, лицом к мужу, и открыла глаза.

Мысли ниоткуда, не свои, мысли другого человека.

Она открыла глаза и удивилась, даже сейчас удивилась, увидев его в постели, рядом с собой, сюрприз теперь уже обыденный — на пятнадцатый день после самолетов. Сегодня ночью они занимались любовью — кажется, часа два-три назад, она точно не запомнила когда. Ощущение не развеялось, витает где-то рядом, в недалеком прошлом: распахнулись их тела, и вместе с телами вырвалось на свободу время; единственный отрезок времени за эти дни и ночи, когда она перестала ощущать гнет того, что случилось, несвободу, искаженность. Он еще никогда не был так нежен в постели. Она почувствовала, что из уголка ее рта стекает слюна, с той стороны, где голова вдавливается в подушку, и уставилась на него: он лежал, запрокинув лицо, четкий профиль в тусклом мерцании уличных фонарей.

Это выражение никогда не казалось ей органичным. Мой муж. Какой из него муж! Слово "супруг" в приложении к нему звучало комично, а "муж" — вообще не подходило. Он имено-

вался как-то иначе, существовал в какой-то иной плоскости. Но теперь она так его называет. Она уверена: он вот-вот дорастет до этого слова, он мужает — да, ей известно, что "мужать" значит немного другое.

То, что уже разлито в воздухе и бродит по жилам детей, и то, что на очереди.

Иногда в музыку вплеталось что-то вроде хриплых вздохов. Однажды она услышала на лестнице интерлюдию мужского дыхания в лихорадочном ритме, литургию вдохов и выдохов, а в другие дни — другие голоса, бормотание в трансе, декламацию, набожные причитания женщин, нестройные голоса, прорывающиеся сквозь хлопки в ладоши и рокот бубнов.

Она смотрела на своего мужа: лицо — чистый лист, никакого выражения, нейтральное, он и когда бодрствует почти такой же.

Нельзя отрицать, музыка красивая, но почему именно сейчас, что́ она, собственно, значит и как называется инструмент вроде лютни, на котором играют орлиным пером.

Она поднесла руку к его груди, к бьющемуся сердцу.

Наконец-то пора спать, следуя за дугами, которые описывают солнце и луна.

Она вернулась с утренней пробежки; стояла, взмокшая, у окна на кухне, пила воду из литровой бутылки и смотрела, как Кейт завтракает.

— А ты, как те чокнутые тетки, по улицам бегаешь. Бегай вокруг пруда.

— Думаешь, мы выглядим безумнее, чем мужчины?

— Только на улицах.

— На улицах мне нравится. В этот час по утрам в городе есть что-то особенное: там, у реки, улицы почти пустые, и только по Драйву проносятся машины.

— Дыши глубже.

— Мне нравится бегать по Драйву бок о бок с машинами.

— Дыши полной грудью, — сказал он. — Пусть легкие прокоптятся от выхлопных газов.

— А мне газы нравятся. Мне нравится ветер с реки.

— Бегай нагишом, — сказал он.

— И побегу, если ты тоже побежишь.

— А я побегу, если побежит наш мальчик, — сказал он.

Джастин у себя в комнате — сегодня суббота — наносит последние штрихи, последние цветные каракули на портрет, который рисует: портрет бабушки, фломастерами. Либо это рисует, либо птицу, которую задали в школе; по ассоциации ей кое-что вспомнилось.

— В гости к Брату-с-Сестрой он ходит с биноклем. Ты случайно не знаешь, зачем?

— Они прочесывают небо.

— Зачем?

— Высматривают самолеты. Кто-то из них — по-моему, девочка...

— Кэти.

— Кэти уверяет, что видела самолет, который таранил первую башню. Говорит, что в школу в тот день не пошла — болела. Стояла у окна, а самолет пролетел мимо.

Здание, где жили Брат-с-Сестрой, называли жилой комплекс "Годзилла" или просто "Годзилла". Сорокаэтажное, стоящее среди таунхаусов и других относительно невысоких построек, оно создавало свой собственный климат: по фасаду иногда скатывались стремительные воздушные потоки, сшибали с ног стариков на тротуаре.

— Болела, в школу не пошла. Можно ли ей верить?

— По-моему, они живут на двадцать седьмом, — сказал он.

— Окна на западную сторону, на парк. Это, по крайней мере, не враки.

— А самолет над парком пролетел?

— Может, над парком, а может, над рекой, — сказала она. — Возможно, она действительно не ходила в школу, а может, все врет.

— Как бы то ни было.

— Как бы то ни было, ты хочешь сказать, они высматривают другие самолеты.

— Ждут повторения.

— Что-то мне страшно, — сказала она.

— На сей раз смотрят в бинокль, чтобы лучше разглядеть.

— Страшно, прямо язык отнимается. Господи, какой ужас. Проклятые дети с их проклятой силой извращенного воображения.

Она подошла к столу, выудила из его тарелки с хлопьями половину клубничины. И уселась напротив, размышляя и жуя.

Наконец, сказала:

— А я от Джастина только одного добилась: башни не рухнули.

— Я же ему сказал, что рухнули.

— И я тоже, — сказала она.

— Их таранили, но они не рухнули. Так он говорит.

— Телевизор он не смотрел. Я не хотела, чтобы он видел. Но я ему сказала, что они рухнули. И он, казалось бы, усвоил. Но... как узнаешь?

— Он сам знает, что рухнули, что бы ни говорил.

— Не может не знать, согласись. И он знает, что ты был там.

— Мы об этом разговаривали, — сказал Кейт. — Но только один раз.

— И что он сказал?

— Почти ничего. Как и я.

— Они прочесывают небо.

— Верно, — сказал он.

Она знала, что давно уже хочет кое-что ему сказать, и мысль наконец-то сформировалась настолько, чтобы выразить ее словами.

— Он ничего не говорил о человеке по имени Билл Аден?

— Только один раз. О нем нельзя говорить.

— Их мать упомянула это имя. А я все забываю тебе сказать. Сначала я забыла имя. Самые простые имена всегда забываю. А когда вспомнила, тебя не было рядом — ты все время где-то.

— Мальчик проболтался. Случайно назвал имя. Он мне сказал, что самолеты — это секрет. И чтоб я никому не говорил, что они втроем стоят на двадцать седьмом этаже и прочесывают небо. Но главное, сказал он, я никому не должен говорить про Билла Адена. И тут же сообразил, что наделал. Выболтал имя. И потребовал, чтобы я ему поклялся двойной и тройной клятвой. Никто не должен знать.

— И даже его мать, которая его четыре с половиной часа рожала в муках, в кровавой луже. Не удивляйся, что женщины бегают по улицам.

— Аминь. Собственно, дело вот в чем, — сказал он, — тот мальчик, младший брат...

— Роберт.

— Имя выдумал Роберт. Это я точно знаю, остальное домысливаю. Роберт услышал имя — не знаю уж, в школе, по телевизору, еще где-то, — услышал по-своему. То ли имя так произнесли, то ли он плохо расслышал, но он навязал свою версию остальным. В общем, как услышал, так в голове и застряло.

— А что он вообще-то услышал?

— Он услышал: "Билл Аден". А говорили: "Бен Ладен".

Лианна задумалась. В первый момент ей показалось, что в звучании имени, переиначенного ребенком, заключен какой-то глубокий смысл. Она посмотрела на Кейта, пытаясь прочесть по его лицу, что он разделяет ее предчувствия, найти какую-то зацепку для своего благоговейного ужаса, лишенного почвы. Кейт, не переставая жевать, пожал плечами.

— И тогда они вместе создали миф о Билле Адене.

— Кэти должна знать, как его зовут по-настоящему. У нее-то соображения хватает. Наверно, она ухватилась за это имя как раз потому, что оно неправильное.

— Да, наверно, в этом и штука. Миф есть миф.

— Билл Аден.

— Прочесывают небо в поисках Билла Адена. Он мне кое-что рассказал, прежде чем начал запираться.

— Радует только одно. Славно, что я узнала разгадку раньше, чем Изабель.

— Кто это — Изабель?

— Мать Брата-с-Сестрой.

— А как же ее кровь и муки?

Лианну рассмешил его вопрос. Но тревожная мысль о том, как дети, закрыв дверь, стоят у окна и прочесывают небо, не отпускала.

— У Билла Адена длинная борода. Он ходит в длинном халате, — сказал он. — Он водит реактивные самолеты и говорит на тринадцати языках, но только не по-английски. По-английски говорит, но исключительно со своими женами. Что там еще? Он запросто может подсыпать яд в нашу пищу, но не во всю — только в некоторые продукты. Полный список они еще не составили.

— Вот что получается, когда мы оберегаем детей от новостей.

— Да мы их не особо оберегали, — сказал он.

— Когда не подпускаем детей к виновникам массовых убийств.

— Вот еще что: Билл Аден повсюду ходит босиком.

— Они убили твоего лучшего друга. Эти подонки — нелюди, убийцы. Двоих друзей убили, двоих.

— С Деметриусом я недавно разговаривал. Кажется, ты его никогда не видела. Он работал в другой башне. Его отправили в ожоговый центр в Балтиморе. У него там родственники.

Она посмотрела на него.

— Почему ты до сих пор здесь? — Это было произнесено с кротчайшим любопытством. — Ты думаешь здесь остаться? Я только к тому, что, наверно, нам это стоит обсудить, — сказала она. — Я разучилась с тобой разговаривать. Мы с тобой давно так долго не говорили.

— У тебя это получалось лучше, чем у всех на свете. Разговаривать со мной. Возможно, в том-то и была загвоздка.

— Значит, теперь разучилась. Понимаешь, сижу тут и думаю: нам столько надо сказать друг другу.

— Мы не обязаны говорить много. Когда-то мы высказывали всё, без передышки. Всё анализировали, все вопросы, все проблемы.

— Согласна.

— Это нас едва не погубило.

— Согласна. Ну а сейчас как? Вот что я хочу у тебя спросить, — сказала она. — Возможно ли, что конфликты остались в прошлом? Ты знаешь, о чем я. Каждый день — трения. Слово за слово, вздох за вздох — так мы с тобой и жили, пока не разъехались. С этим действительно покончено? Ведь нам такое больше ни к чему. Я правильно понимаю, что покончено?

— Мы готовы уйти с головой в свое заурядное существование, — сказал он.

На *Мариенштрассе*

Они стояли под козырьком у входа и смотрели на струи холодного дождя — двое мужчин, молодой и постарше, вышедшие с вечерней молитвы. Ветер гнал по тротуару мусор, и Хаммад сложил ладони ковшиком, поднес ко рту, подышал на них: выдохнул шесть или семь раз, медленно, сосредоточенно, чувствуя, как обтекает кожу теплый воздух. Мимо, энергично крутя педали, проехала на велосипеде женщина. Хаммад скрестил руки на груди, засунув ладони себе под мышки, и стал слушать рассказ своего немолодого спутника.

Он служил в пехоте, и был у Шатт-аль-Араб[1], пятнадцать лет назад, и смотрел, как по пескам, которые обнажил отлив, приближаются они — тысячи мальчишек, и все орут. Некоторые с автоматами, но много совсем безоружных, для младших автоматы были почти непосильной ношей: с "калашом" далеко не уйдешь. Он был солдат армии Саддама, а они — мученики аятоллы — пришли, чтобы сложить здесь голову. Казалось, они возникают прямо из грязи, волнами, и он целился и стрелял, и видел, как они падают. Справа и слева от него работали пулеметчики, стреляли все ожесточеннее, и казалось: вместо воздуха дышишь раскаленной добела сталью.

Хаммад знал об этом человеке совсем немного: работает пекарем, прожил здесь, в Гамбурге, лет десять. Они ходят в одну мечеть — это факт, молятся на втором этаже этого обшарпанного дома, где фасад размалеван граффити, а вокруг

1. Река на границе Ирана и Ирака, место кровопролитных сражений во время ирано-иракской войны (1980–1988).

роятся проститутки, прохаживаются по улице взад-вперед. А теперь Хаммад узнал еще кое-что: каково в бою во время затяжной войны.

Мальчики все шли и шли, а пулеметы их расстреливали. Через некоторое время он понял, что стрелять больше нет смысла — ему лично нет смысла. Пусть перед ним враги: иранцы, шииты, еретики, но не по нему это — смотреть, как они перепрыгивают через дымящиеся тела своих братьев, несут в руках свои души. И еще он понял: это просто тактический прием, десять тысяч мальчишек сделались символом самопожертвования, чтобы отвлечь иракские войска и технику от серьезных боевых частей, которые тем временем стягиваются к передовой.

Почти каждой страной правят полоумные, сказал он.

Погодя он сказал, что вдвойне раскаивается: во-первых, в том, что смотрел, как умирают мальчишки, — их послали подрываться на минных полях, бросаться под танки и натыкаться на шквальные артиллерийские залпы, — а во-вторых, в том, что подумал: победители — они, эти мальцы, побеждают нас своим умением умирать.

Хаммад слушал, ничего не говоря, но был признателен этому человеку, пекарю. Он из тех, кто годами еще не стар, но отягощен каким-то иным грузом, вдобавок к тяжелому прошлому.

Но крики мальчиков, высокие голоса... Пекарь сказал, что слышал эти крики сквозь грохот боя. Мальчики выкрикивали вековой клич, из сказания о стародавнем разгроме шиитов, клятву верности живых павшим и побежденным. Этот крик до сих пор у меня в ушах, сказал он. Крик совсем близко — не как то, что было вчера, а как то, что происходит всегда, происходит больше тысячи лет подряд, витает в воздухе вечно.

Хаммад стоял и кивал. Чувствовал, что холод въедается до костей: изнурительные влажные ветра и северные ночи. Они еще постояли молча, дожидаясь, пока кончится дождь, а Хаммад думал, что рано или поздно мимо проедет еще какая-нибудь велосипедистка и будет на что посмотреть, волосы мокрые, ноги крутят педали.

Все тут отращивали бороды. Один даже велел своему отцу отрастить. В квартиру на Мариенштрассе постоянно приходили мужчины — кто в гости, кто надолго поселиться, — постоянно приходили и уходили, и все отращивали бороды.

Хаммад сидел на корточках: ел и слушал. Разговоры были — свет и пламя; чувства — заразительны. В эту страну они

приехали получать техническое образование, но в квартире говорили только о борьбе. Здесь одни извращения, лицемерие, Запад прогнил телом и душой, прогнил и хочет разрушить ислам, искрошить, как крошат птицам хлеб.

Они изучали архитектуру и инженерное дело. И городское хозяйство. Один из них говорил: дом построен так плохо, потому что его строили евреи. В еврейских проектах стены слишком тонкие, коридоры слишком узкие. Евреи установили в этой квартире слишком низкий унитаз: струя, покидая тело мужчины, ударяется об воду с шумом и плеском, и тем, кто сидит в соседней комнате, все слышно. Такие вот тонкие еврейские стены.

Хаммад толком не знал, как понимать, — то ли это шутка, то ли всерьез, то ли пустая болтовня. Он слушал все, что тут говорилось, слушал внимательно. Он был плечистый, неуклюжий, ему с детства казалось, что в его теле заперта какая-то неведомая энергия, слишком глубоко загнанная, чтобы вырваться на волю.

Он не знал, который из них велел своему отцу отрастить бороду. Надо же — приказать отцу: "Отрасти бороду". Такое лучше не советовать.

Того, кто направлял беседы, звали Амир. Человек страстный: маленький, тощий, жилистый, когда беседовал с Хаммадом, заглядывал ему глубоко в глаза. Другие говорили: Амир — просто гений. Амир объяснял: можно, конечно, до скончания века сидеть в четырех стенах, строить планы, есть и спать, и даже молиться, и даже готовить заговор, но однажды необходимо будет выйти наружу, рано или поздно придется. Даже в молельне нельзя просидеть всю жизнь. Ислам — это и суры Корана, и мир за стенами молельни. Ислам — это борьба с врагом, с ближним врагом и дальним, в первую очередь с евреями, в отместку за все несправедливости и мерзости, во вторую очередь — с американцами.

Им требовалось свое пространство — и в мечети, и в передвижной молельне в университете, и здесь, в квартире на Марienштрассе.

На лестничной клетке перед дверью стояли семь пар ботинок. Хаммад вошел в квартиру. Там разговаривали и спорили. Среди них был один, который воевал в Боснии. И еще один — тот старался не приближаться к женщинам и собакам.

Они смотрели на видеомагнитофоне фильмы о джихаде в других странах, и Хаммад рассказал им, как мальчики-солдаты бежали по грязи, живые минные детекторы, и у каждого на шее — ключ от райских врат. Они уставились на него, за-

ставили замолчать: кто словом, кто взглядом. Дело давнее, какие-то мальчишки: жалеть их — зря тратить время.

Как-то поздно ночью ему пришлось переступить через брата, распростертого в молитве; а шел Хаммад в туалет — подрочить.

Вначале мир меняется в сознании человека, который хочет его переделать. Час близится, и мы должны выбирать — истина или позор, теперь каждый из нас становится другим, а потом еще раз изменится, но все три неразделимы.

Амир говорил, заглядывая ему в глаза. Его полное имя было Мохамед Мохамед эль-Амир эль-Сайед Атта.

Они чувствовали: у них нет истории, одно пустое место. Слишком долго они прожили в изоляции. Об этом и говорили: что их теснят чужие культуры, чужие сценарии будущего, всевластье финансовых рынков и глобальной политики.

Так говорил Амир: его ум все озирал с высоты птичьего полета, все разъяснял, все увязывал воедино.

Хаммад знал одну женщину — в ней была немецкая и сирийская кровь, и еще невесть какая, и капля турецкой. Глаза у нее были темные, тело пышное, обожавшее прижиматься к другим телам. Шаркая ногами, вцепившись друг в дружку, они прошли по комнате к ее кровати; за дверью ее соседка по квартире занималась английским. В жизни Хаммада все почему-то происходило в тесноте: и пространства, и времени в обрез. И сны ему снились какие-то спрессованные: каморки почти без мебели, — сны, состряпанные на скорую руку. Иногда Хаммад играл с двумя женщинами в слова — они сочиняли нелепые рифмованные стишки на четырех ломаных языках.

Названия германской службы безопасности он не знал, ни на одном языке. Некоторые из мужчин, наведывавшихся в квартиру, представляли опасность для государства. Сегодня с книгой, а завтра с бомбой. Наверно, за ними следили: телефоны прослушивали, сигналы перехватывали. В любом случае, им больше нравилось разговаривать не по телефону. Они знали: все сигналы, которые передаются по воздуху, не защищены от перехвата. У государства есть станции сотовой связи. У государства есть наземные радары, и парящие в космосе спутники, и точки обмена трафиком в Интернете. И фотосъемка: со стокилометровой высоты можно хоть навозного жука сфотографировать крупным планом.

Но мы собираемся вместе. Один приезжает из Кандагара, другой — из Эр-Рияда. Мы сходимся без посредников, в квартире или в мечети. У государства есть оптоволоконные кабели, но против нас его мощь бессильна. Чем мощнее, тем бес-

сильнее. Нам достаточно встретиться глазами — обменяться взглядом, несколькими словами.

Хаммад и еще двое пошли на Репербан, искать одного человека. Час был поздний, холод лютый; наконец они увидели, как он выходит из дома неподалеку. Один окликнул его по имени, затем второй. Он оглянулся, остановился. Хаммад подошел, ударил его три-четыре раза, и человек упал. Подошли остальные и начали пинать его ногами. Хаммад не знал его имени, пока это имя не выкрикнули другие, и толком не знал, за что этого парня надо побить: то ли ходил к албанской проститутке, то ли бороду не отрастил. Он безбородый, невольно отметил Хаммад перед тем, как ударить.

Они ели в турецком ресторане мясо, нанизанное на шампуры. Он показал ей модели, которые делал в училище, — он учился на конструктора, учился спустя рукава. Ему казалось, что в ее обществе он становится умнее — она побуждала его размышлять, расспрашивала; она от природы была такая — ей все было интересно, в том числе его друзья по мечети. С друзьями ему повезло: он рассказывал о них, чтобы ее заинтриговать, и она действительно слушала развесив уши. Ее соседка сидела в наушниках, внимала супермодным голосам, которые трещали по-английски. Хаммад просил, чтобы и его научили: только слова и выражения, грамматика ни к чему. Жизнь понесла его куда-то: ты как в водовороте, в будущее можно заглянуть разве что на минуту вперед. Он летел сквозь мгновения, ощущая, как его притягивает какой-то простор впереди, раскрывается широко — только небо да горы.

Он подолгу стоял у зеркала, рассматривая свою бороду, понимая: подравнивать ее не полагается.

Он слегка возбуждался, когда видел соседку подруги на велосипеде, но гнал от себя это чувство, оставлял за порогом. Подруга на него просто вешалась. Под ними сломалась кровать. Ей хотелось, чтобы он познал ее всю, и внутри, и снаружи. Они ели питу, начиненную фалафелем, и иногда ему хотелось жениться на этой женщине и обзавестись детьми, но это желание пропадало через несколько минут после того, как он от нее выходил, чувствуя себя футболистом, который забил гол и теперь бежит по полю, на чемпионате мира, широко раскинув руки.

Час близится.

Они ходили в интернет-кафе и выясняли насчет летних школ в Штатах. Никто не стучал к ним в дверь посреди ночи, никто не останавливал их на улицах, чтобы вывернуть им карманы и ощупать тела в поисках оружия. Но они знали: исламу притесняют.

Амир смотрел на него, видя его насквозь, до глубин души. Хаммад знал, что́ тот скажет. Только и делаешь, что жуешь, набиваешь брюхо, молитвы откладываешь на потом. И это еще не все. Живешь с бесстыжей женщиной, елозишь своим телом по ее телу. Какая разница между тобой и всеми прочими, теми, кто не с нами?

Амир произнес эти слова, глядя ему в глаза, произнес с сарказмом:

— Я что, по-китайски говорю? Или заикаюсь? Или губы у меня шевелятся, а слов не слышно?

Хаммад рассудил, что Амир к нему слишком суров. Но чем внимательнее изучал себя, тем резоннее казались упреки. Ему надо победить в себе тягу жить как обычные люди. Сначала одолеть себя, а потом уже и несправедливость, нависшую черной тучей над их жизнью.

Они читали Коран: каждый стих — клинок. Сосредотачивались на цели, старались, чтобы их умы слились воедино, в общий разум. Отбрось все, кроме людей, с которыми ты стоишь локоть к локтю. Пусть по вашим жилам течет одна кровь.

Иногда на лестничной клетке стояли десять пар обуви или одиннадцать. То был дом последователей — так они его называли, "дар аль-ансар", потому что они были последователи, последователи Пророка.

Если бы он подровнял бороду, она бы смотрелась лучше. Но существуют правила, и он твердо решил их выполнять. Он жил упорядоченной жизнью. Все было четко очерчено. Он становился одним из шеренги, старался выглядеть, как они, думать, как они. Это тоже часть джихада, неотделимая. Он молился вместе с ними, чтобы быть с ними. Они становились братьями во всем.

Женщину звали Лейла. Красивые глаза, опытное тело. Он сказал ей, что ненадолго уедет, что обязательно вернется. Скоро от нее останется только смутное воспоминание, а потом — вообще ничего.

Часть вторая
Эрнст Хехингер

6

Когда он ступил на порог, глазам поверить было нельзя: человек, который выбрался из-под пеплопада, сплошной кровавый шлак, провонял гарью, лицо в блестках — осколки

стекла, пронзившие плоть. В дверях он казался исполином, глаза зрячие, но смотрят в никуда. В руке он держал портфель, стоял, неспешно покачивая головой. Может быть, у него шок, подумала она, но что такое шок в конкретном, в медицинском смысле? Он прошел мимо нее в сторону кухни, а она попыталась позвонить своему врачу, а потом по 911, а потом в ближайшую больницу, но слышала только гул: линии перегружены. Она выключила телевизор, сама толком не понимая зачем, — оберегая его от новостей, из которых он только что вышел, вот зачем, — а потом вошла в кухню. Он сидел за столом, и она налила ему стакан воды, и сказала, что Джастин у бабушки, их рано отпустили из школы и тоже оберегают от новостей, по крайней мере, от тех, что касаются его отца.

Он сказал:

— Меня все поят водой.

Она подумала: он бы не добрался в такую даль, даже по лестнице бы не поднялся, будь у него серьезные травмы, опасная кровопотеря.

И тут он еще кое-что сказал. Портфель стоял у стола, грязный, точно со свалки. Кейт сказал, что с неба спускалась рубашка.

Она намочила кухонное полотенце, стерла пыль и пепел с его рук, лица, головы, стараясь не потревожить осколки. Крови было больше, чем показалось ей поначалу, и тут она еще кое-что осознала: его порезы и ссадины недостаточно глубоки, их не так много, чтобы объяснить всю эту кровь. Кровь не его. В основном — чужая.

Окна были открыты — ведь Флоренс курила. Они сидели на тех же местах, что и в прошлый раз, по разные стороны журнального столика, по диагонали.

— Я дал себе год, — сказал он.

— Актер. Мне легко вообразить вас актером.

— Студент театральной школы. Дальше студента не продвинулся.

— В вас есть что-то такое, вы хорошо держите пространство. Я, правда, точно не знаю, что значит "держать пространство".

— Звучит красиво.

— Наверно, я это выражение где-то слышала. Что оно значит?

— Дал себе год. Думал, будет занятно. Потом сократил до шести месяцев. Думал: "Так, а что я еще умею?" В колледже я занимался спортом, двумя видами. Но спорт остался в про-

шлом. Шесть месяцев — да ну, на фиг. Сократил до четырех. а через два вообще бросил учебу.

Она изучала его — сидела и пристально смотрела, но не так, как все: с искренней и целомудренной бесхитростностью, и вскоре он перестал чувствовать себя неловко. Она смотрела, их беседа продолжалась — в комнате, которую он не смог бы описать, едва выйдя за порог.

— Не судьба. Так бывает: просто не судьба, — сказала она. — И что вы сделали?

— Пошел учиться на юриста.

— Зачем? — тихо спросила она.

— А чему еще учиться? Куда еще пойдешь?

Она откинулась на спинку стула и поднесла к губам сигарету, о чем-то задумавшись. Лицо у нее было в мелких бурых крапинках — целая россыпь на лбу над бровями и на переносице.

— Вы, наверно, женаты. Впрочем, какое мне дело.

— Да, женат.

— Какое мне дело, — сказала она, и он впервые расслышал в ее голосе нотки озлобленности.

— Мы разошлись, а теперь снова сошлись или начинаем сходиться.

— Ну естественно, — сказала она.

Он во второй раз пересек парк пешком. Он знал, зачем пришел, но никому не смог бы объяснить — а ей объяснения не требовались. Разговаривать им было необязательно. Было бы совершенно нормально не разговаривать — просто дышать одним воздухом, или слушать, как она говорит, или считать, что день — это ночь.

Она сказала:

— Вчера я ходила в церковь Святого Павла[1]. Хотелось побыть среди людей, особенно в таком месте. Я знала, люди там будут. Посмотрела на цветы и на личные вещи, их там кладут, самодельные мемориалы. На фотографии пропавших не смотрела. Невмоготу. Час просидела в церкви, и люди приходили и молились, или просто бродили там, заходили посмотреть, читали надписи на мраморных плитах. В память о таком-то, в память, в память.

Зашли спасатели, трое, я старалась на них не пялиться, потом еще двое зашли.

1. Церковь Святого Павла, расположенная неподалеку от башен ВТЦ, чудом уцелела 11 сентября 2001 г. Служила местом отдыха для спасателей, работавших на разборке завалов. Ограду церкви люди превратили в импровизированный мемориал погибшим.

Замужем она была недолго, десять лет назад, ошибка, которая почти не оставила по себе отметин. Так выразилась сама Флоренс. Муж погиб через несколько месяцев после развода, разбился на машине, и его мать решила, что виновата Флоренс. Вот единственная отметина.

— Я говорю себе: смерть — обычное дело.

— Только не твоя собственная. Или человека, которого знаешь.

— Я не говорю, что мы не должны скорбеть. Просто отчего бы нам не отдать это в руки Божьи? — сказала она. — Почему мы этого не усвоили, несмотря на все доказательства, — после того, как столько людей умерло? Мы считаемся верующими, так почему же не подчиняемся законам Божьей вселенной? А законы учат нас, что мы — букашки, учат, чем наша жизнь кончается.

— Не-е, слишком просто, не может быть.

— Эти люди, те, кто это сделал... Они против всех наших принципов. Но в Бога веруют, — сказала она.

— Чьего Бога? Которого Бога? Я даже не знаю, что это значит — верить в Бога. Никогда даже не задумываюсь.

— Никогда не задумываетесь.

— Вас это коробит?

— Меня — пугает, — сказала она. — Я всегда ощущала присутствие Бога. Иногда я с Богом разговариваю. Мне не надо идти в церковь, чтобы поговорить с Богом. В церковь я хожу, но не... ну знаете... не то, чтобы по графику... ну, как это называют?

— Не как практикующая, — сказал он.

Он умел ее рассмешить. Когда Флоренс смеялась, ее взгляд словно бы пронизывал его душу до самого дна: глаза светятся, видят то, чего он сам не осознает. Постоянно казалось, что она вот-вот погрузится в пучину горя, какого-то воспоминания о сердечной ране или утрате — скорее всего, утрате, которой уже никогда не восполнить; но, рассмеявшись, исцелялась, сбрасывала с себя застарелую печаль, отмершую кожу — пусть только на минуту.

Из смежной комнаты слышалась музыка, что-то из классики, знакомое, но он не знал ни названия пьесы, ни имени композитора. На такие вещи у него памяти нет. Они пили чай и разговаривали. Она говорила о башне, снова рассказывала с самого начала, точно в приступе клаустрофобии, дым, гуща тел, и он понимал: о таких вещах они могут разговаривать только друг с другом, о самых мельчайших и скучнейших подробностях, которые никогда не станут скучными или лишними, ведь теперь все это живет в них самих, ведь теперь

ему нужно услышать то, что затерялось на оттисках в памяти. Это их общий исступленный тон, общая бредовая реальность, в которой они побывали оба: на лестнице, в глубоких шахтах, по которым люди спускались, описывая спираль в пространстве.

Беседа продолжалась: коснулись брака, дружбы, будущего. В этих темах он разбирался по-дилетантски, но поддержал разговор охотно. Преимущественно слушал.

— Груз воспоминаний. Он-то, наверно, все и портит, — сказала она отрешенно.

Его машина въехала в стену. Его мать винила Флоренс, потому что, будь они до сих пор женаты, он не поехал бы той дорогой на той машине, а поскольку Флоренс сама его бросила, вина лежит на ней, отметина на ней.

— Он был старше на семнадцать лет. Заранее пророчит трагедию, а? Неравный брак. У него был диплом инженера, но работал он на почте.

— Он пил.

— Да.

— И в ночь аварии был пьян.

— Да. Это случилось днем. Посреди бела дня. Другие машины к аварии причастны не были.

Он сказал, что ему пора идти.

— Ну конечно. Надо значит надо. Так уж водится. Обычное дело.

Казалось, она ставит ему это в вину — то, что он уходит, то, что он женат, бестактный намек на принадлежность другой женщине, — но одновременно, казалось, обращалась вовсе не к нему. Она обращалась к комнате, сама к себе, подумал он, говорила с собой прежней, чтобы Флоренс из прошлого подтвердила: такое ей печально знакомо. Хотела зафиксировать свои эмоции, заверить как положено, произнести все слова, соответствующие ситуации, не обязательно обращаясь к нему.

Но он не пошел к двери — остался сидеть.

Спросил:

— Что это за музыка?

— Наверно, она мне нужна, чтобы прогнать это. Все равно что музыка в старых фильмах, когда мужчина с женщиной бегут по вересковой пустоши.

— Признавайтесь. Вы такие фильмы любите.

— Я и музыку такую люблю. Но только в фильмах.

Взглянув на него, она встала. Прошла мимо входной двери, по коридору. Некрасивая, но смех ей к лицу. Женщина из толпы в метро. Юбки она носила широкие, туфли без каблу-

ков, фигура у нее была пышная, походка, пожалуй, чуть неуклюжая, но, когда она смеялась, взрывались стихии, распускалось что-то сокрытое, ослепительное.

Светлокожая черная. Один из примеров того, что в словах правды нет, а от своей расы никуда не деться. Но для него важны только те слова, которые произносит она сама и будет произносить впредь.

Она говорит с Богом. Может, Лианна тоже ведет такие разговоры. Он точно не знал. Или она произносит длинные нервозные монологи. Или робко размышляет. Когда Лианна заговаривала о Боге либо просто упоминала слово "Бог", Кейт отключался. Слишком абстрактное понятие. А здесь, с едва знакомой женщиной, это понятие казалось само собой разумеющимся, как и другие понятия, другие вопросы.

Он услышал, как музыка сменилась другой — гремящей, драйвовой, голоса читали рэп по-португальски, пели, посвистывали, под аккомпанемент ударных, гитары и полоумных саксофонов.

Она первая взглянула на него, затем он проводил ее глазами — мимо двери, по коридору, и тут смекнул: полагается последовать за ней.

Она стояла у окна, хлопая в ладоши в такт музыке. Маленькая спальня, ни одного стула, и он сел на пол и стал на нее смотреть.

— Я никогда не была в Бразилии, — сказала она. — Иногда я об этой стране думаю.

— Я тут ходил на собеседование. Мне кое-что предложили. Работа с бразильскими инвесторами. Возможно, понадобится освоить португальский.

— Нам всем не помешает немножко португальского. Нам всем надо бы поехать в Бразилию. Этот диск был в плеере, который вы оттуда вынесли.

Он сказал:

— Валяйте.

— Что?

— Танцуйте.

— Как это?

— Танцуйте, — сказал он. — Вам хочется танцевать. А мне — смотреть.

Она сбросила туфли и начала танцевать, тихо отбивая ритм ладонями, подходя все ближе. Протянула к нему руку, а он покачал головой, улыбаясь, и отодвинулся к стене. У нее нет опыта. Она не позволила бы себе танцевать, будучи дома одна, подумал он, или с кем-то, или для кого-то другого, а вот теперь позволила. Она отступила к дальней стене, отдавшись

музыке, словно в забытьи, прикрыв глаза. Теперь танцевала медленно — перестала хлопать в ладоши, руки подняла кверху, широко развела, почти в трансе, закружилась на месте, все медленнее, и вот повернулась к нему лицом, приоткрыв рот, широко раскрывая глаза.

Сидя на полу, глядя на нее, он начал выползать из своей одежды.

С Розэллен С. стряслась беда — вернулся первобытный, из самого раннего детства страх. Она не могла вспомнить, где живет. Стояла одна на перекрестке у путей надземки, и ею овладело отчаяние, чувство, что она отрезана от всего. Искала какую-нибудь вывеску, табличку с названием улицы — хоть какую-то подсказку. Мир пятился от нее, знакомое стало неузнаваемым. Она начала терять ясность рассудка, умение различать вещи. Не заблудилась — скорее сломалась, погасла. Вокруг — только безмолвие и даль. Она побрела назад той дорогой, откуда пришла или думала, что пришла, и вошла в здание, и встала столбом в вестибюле, прислушиваясь. Пошла на голоса и попала в комнату, где сидели человек десять и читали книги, одну книгу — Библию. Увидев ее, они перестали читать вслух и выжидающе уставились. Она попыталась объяснить им, что стряслось, и один из них полез в ее сумочку и нашел записку с телефонами, и в конце концов дозвонился, как оказалось, ее сестре из Бруклина: на бумажке значилось "Билли". Договорились, что сестра приедет в Восточный Гарлем и отвезет Розэллен домой.

Лианна узнала об этом на следующий день от доктора Эптера. За медленным угасанием Розэллен она наблюдала в течение нескольких месяцев. Розэллен до сих пор иногда смеялась, иронизировала — чувство юмора не нарушено, — маленькая женщина с тонкими чертами лица и коричневой, цвета каштана кожей. Они приближались к тому, что их всех ожидало, каждый приближался, по пути, который становился все уже, но пока еще оставался просвет, позволяющий наблюдать за собой со стороны.

Бенни Т. сказал, что иногда по утрам ему трудно надевать штаны. Кармен заметила: "Лишь бы снимать не было трудно. — Добавила: — Пока ты можешь их снимать, милый, ты все тот же Бенни, гигант большого секса". Он засмеялся и слегка затопал ногами, театрально колотя себя по голове, и сказал, что беда в другом. Он не может себя убедить, что штаны надеты правильно. Надевает и снова снимает. Проверяет, не надел ли задом наперед. Проверяет длину в зеркале, чтобы отвороты более-менее прикрывали верх туфель, — а отво-

ротов-то и нету. Он помнил: отвороты были. Вчера у этих штанов были отвороты, а сегодня что — сплыли?

Сам знаю, на что это похоже, сказал он. Ему самому кажется: чудно́. Так и сказал "чудно́", избегая более эмоциональных выражений. Но когда это случается, сказал он, ему не удается взглянуть на происходящее со стороны. Тело какое-то не свое, сознание тоже не свое, а он проверяет, впору ли они ему. Померещится, что штаны сидят на нем плохо: снимает, надевает снова. Встряхивает. Проверяет, что́ там внутри штанов. Закрадывается мысль: у него дома чужие штаны, свисают с его стула.

Они ждали, что Кармен что-нибудь скажет. Лианна ожидала услышать от нее, что Бенни не женат. Хорошо, что ты не женат, Бенни, — на твоем стуле штаны чужого мужика. Твоей жене пришлось бы долго объясняться.

Но на сей раз Кармен промолчала.

Омар Х. рассказывал, как ездит в Верхний Манхэттен. Из всех кружковцев только он жил в другом районе, в Нижнем Ист-Сайде, и ехать надо было на метро, и вот он прикладывает магнитную карту к турникету, прикладывает шесть раз подряд, к разным турникетам, и каждый раз высвечивается надпись: ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ КАРТУ СНОВА, и до Верхнего Манхэттена он добирается очень долго, а однажды оказался на грязном перекрестке в Бронксе, не понимая, куда подевались остальные станции.

Кертис Б. куда-то задевал часы. А когда все-таки нашел в шкафчике с лекарствами, никак не мог пристроить их на запястье. Вот они, часы. Эти слова он произнес торжественно. Вот они, часы, у меня в правой руке. Но правая рука словно не может подобраться к запястью левой. Точно в воздухе дырка или глаза видят мир не целиком, взгляд проваливается в трещину, и Кертис не сразу сообразил, что́ и как: руку поднести к запястью, острый конец ремешка вставить в пряжку. В глазах Кертиса это была подлость, измена себе. Как-то на занятии он зачитал рассказ о событиях пятидесятилетней давности — о том, как, подравшись в баре, убил человека осколком бутылки: тыкал им в лицо, в глаза, а потом проткнул сонную артерию. Произнося эти слова, он поднял голову от страницы: "проткнул сонную артерию".

С той же основательностью, мрачно и обреченно, он поведал историю о потерянных часах.

Спускаясь по лестнице, она что-то сказала, и только через несколько секунд после того, как Кейт сделал то, что сделал, до нее дошло, какая связь между ее словами и его поступком. А

Кейт пнул дверь, мимо которой они шли. Остановился, попятился и изо всей силы пнул, ударил всей подошвой.

Уловив причинно-следственную связь, она сразу же поняла: его раздражает не музыка и не женщина, которая эту музыку ставит. Его раздражает она сама — ее реплики, ее жалобы, постоянные жалобы, изнурительный повтор.

И тут же вдруг поняла — никакого раздражения нет. Он абсолютно спокоен. Он изображает некую эмоцию, как на сцене, — ее переживания, для нее, ей в укор. Практически дзен-буддизм, подумала она, поступок должен вызвать шок и подстегнуть твою медитацию или направить на другой предмет.

Из квартиры так никто и не вышел. Музыка — медлительное вращение соцветий из варганов и барабанов — не смолкла. Они переглянулись и рассмеялись, громко и от души, муж и жена, спускаясь по лестнице и выходя из подъезда на улицу.

В покер играли у Кейта дома — там, где стоял ломберный стол. Игроков было шестеро, завсегдатаи, собирались вечером по средам: копирайтер, агент по рекламе, ипотечный брокер и т. п.; мужчины, настроенные по-боевому, расправляли плечи и поджимали ягодицы, готовясь к игре. Бросали вызов силам, которые управляют всем происходящим на свете.

Первое время они играли в покер в разных вариантах, но потом начали ограничивать возможности дилера. В шутку ввели запрет на некоторые формы игры: ради прикола ратовали за традиции и дисциплину. Но со временем запрет стал непреложным: они подвели теоретическую базу под то, почему отклонения от классических правил покера — мерзкое извращение. И наконец старший из игроков, Докери — ему было под пятьдесят, — заявил, что играть надо только в чистый, классический, старых времен покер — пятикарточный с обменом, и, сузив выбор, они увеличили базовые ставки, и утренняя церемония выписывания чеков теми, кто после долгой ночи оставался в проигрыше, выглядела драматично.

Каждую партию они играли, словно в лихорадке, глаза стекленели. Все действие разворачивалось не за столом, а в головах игроков, в ореоле наивных надежд и расчетливого мошенничества. Каждый игрок пытался заманить других в ловушку, а свои беспочвенные надежды удержать под контролем. Бонд-трейдер, юрист, другой юрист: для них партии в покер были сгущенной до предела сутью, чистейшим, глубоко индивидуальным экстрактом их дневных занятий. Карты скользили по зеленой материи круглого стола. Игроки

пускали в ход то интуицию, то методику анализа рисков из арсенала холодной войны. Ловчили и полагались на слепую удачу. Ждали момента, когда прорежется провидческий дар, мига, когда надлежит поставить на ту карту, которая выпадет непременно. "Почуял даму — и вот она, как миленькая". Швыряли фишки и заглядывали в глаза своего визави. Возвращались к хитростям дописьменной эпохи — взывали о помощи к умершим предкам. В этом были и здоровый азарт, и открытая насмешка. И стремление порвать в клочья жалкое мужское достоинство партнеров.

Хованис — его больше нет — как-то решил, что семикарточный стад им ни к чему. Слишком много карт, шансов, вариантов. Другие, расхохотавшись, утвердили запрет, велели дилеру выбирать исключительно между пятикарточным стадом и пятикарточным с обменом.

Ставки, соответственно, повысились.

Потом кто-то поднял вопрос о еде. Просто в шутку. Еду сервировали без затей — на разномастных блюдцах на кухонной стойке. Непорядок, сказал Деметриус, мы попусту тратим время — встаем из-за стола и набиваем брюхо хлебом, мясом и сыром с вредными химическими добавками. Шутку восприняли всерьез: постановили, что выходить из-за стола позволительно лишь в чрезвычайных обстоятельствах типа разрыва мочевого пузыря, или в случае долгой полосы невезения — тогда игроку нужно отойти к окну и постоять, созерцая неизменные пучины ночи.

В общем, еду запретили. Никакой еды. Раздавали карты, уравнивали ставку или сбрасывали карты. Потом встал вопрос алкоголя. Отлично сознавали, что поступают глупо, но все же поинтересовались — двое или трое хором, — не разумнее ли ограничиться спиртным темных тонов. Шотландский виски, бурбон, бренди — мужская цветовая гамма, более интенсивная и тщательная перегонка. Никакого джина, водки или тусклых ликеров.

Они были довольны — точнее, большинство из них. Приятно созидать систему из произвольно выбранных мелочей. Но Терри Чен был против — а Терри играл в покер, как бог, иногда просиживал в Интернете по двадцать часов кряду. Терри Чен сказал: вы люди легкомысленные, порхаете по жизни как бабочки.

Потом кто-то выдвинул аргумент, что пятикарточный с обменом еще либеральнее, чем семикарточный стад, и они подивились, отчего раньше до этого не додумались: игрок ведь может скидывать и заменять целых три карты, или не заменять ни одной, или сбрасывать карты, если находит нуж-

ным, — и они сговорились ограничиться одним-единственным вариантом, пятикарточным стадом, и пошла жесткая игра: высокие ставки, пестрые столбики фишек, замысловатые ругательства и испепеляющие взгляды, сумеречный алкоголь в коренастых стаканах, сигарный дым, образующий настоящие слоистые облака, ядовитые немые упреки самим себе — все их спонтанные порывы и жесты встречали противодействие, фактор самодисциплины, непоколебимой уже потому, что правила они диктовали себе сами.

Никакой еды. Еда исключена. Никакого джина или водки. Никакого пива, кроме темного. Они законодательно запретили любое пиво, кроме темного, и любое темное пиво, кроме "Бекз Дарк". А все потому, что Кейт услышал от кого-то байку: на одном кладбище в Германии, в Кёльне, четверо закадычных друзей-картежников, которые играли вместе лет сорок или пятьдесят кряду, похоронены так, как сидели за карточным столом, два надгробия напротив двух других, надписями друг к дружке, каждый игрок на своем, освященном традицией месте.

История им очень понравилась. Красивая история о дружбе и трансцедентальном эффекте тривиальных привычек. Благоговейно выслушав эту историю, они додумались, в частности, до того, что нужно разрешить единственный сорт темного пива — "Бекз Дарк": он же немецкий, как и те кёльнские игроки.

Кто-то вздумал запретить разговоры о спорте. И запретили: разговоры о спорте, разговоры о телепередачах, упоминания фильмов. Кейт заметил: ну, это уже глупость. Правила — дело хорошее, ответили ему, и чем глупее, тем лучше. Ромси, старый пердун — его больше нет, — захотел аннулировать все запреты. Сигареты не запрещались. Сигареты курил только один, и ему позволялось курить, сколько захочется, если он не боится выглядеть хлюпиком и дебилом. Остальные курили сигары и ощущали себя вальяжными жуирами: прихлебывали по глоточку шотландский или американский виски, подбирали замену запрещенным терминам типа "триплет" и "каре"[1].

— Вы люди несерьезные, — говорил Терри Чен. — Не станете серьезными, вам конец, — говорил он.

Дилер метал карты на зеленый фетр, обязательно объявляя во что играют — пятикарточный стад, — хотя теперь ни во что другое и не играли. Ироничность этих объявлений со

1. Названия комбинаций карт в покере.

временем стерлась, и слова сделались торжественным обрядом, официальным и необходимым, каждый дилер по очереди: "пятикарточный стад", — и как же им нравилось это выговаривать, с чопорным видом, где еще найдешь столь безобидную традицию, олицетворенную в бесцельном произнесении нескольких архаичных слов.

Они перестраховывались и потом жалели об этом, рисковали и проигрывали, мучались черной меланхолией. Но всегда можно было еще что-нибудь запретить, еще какие-то правила выдумать.

А потом система в одночасье рухнула. Кто-то проголодался и потребовал еды. Другой стукнул по столу и закричал: "Хочу есть". Эти слова начали громко скандировать. Запрет на еду сняли, потребовали польской водки — не все потребовали, некоторые. Им хотелось светлых спиртных напитков, которые держат в холодильнике и подают неразбавленными в запотевших стопках. Рухнули другие запреты, были восстановлены в правах запретные слова. Они снова делали и повышали ставки, ели и пили, снова стали играть в хай-лоу, эйси-дейси, чикагский, Омаху, техасский холдем, анаконду и еще парочку других диковинных ответвлений генеалогического древа покера. Но каждый по очереди, когда выпадало сдавать, испытывал ностальгию — вспоминал, как торжественно объявляли пятикарточный стад (единственный разрешенный вариант, прочие вне закона), — и пытался не думать, что бы сказали о них, об их притоне дикарского покера четверо игроков из Кёльна — четыре надгробия по два друг против друга.

За ужином обсуждали идею съездить на каникулах в Юту: в мир высокогорных долин и чистых ветров, воздуха, которым можно дышать, склонов, на которых можно кататься, а мальчик сидел, зажав в руке печенье, созерцая свою полную тарелку.

— А ты что думаешь? Юта. Ну-ка скажи: Юта. Огромный шаг вперед — после саночек в парке.

Он уставился на ужин, приготовленный его отцом: настоящий, не с рыбофермы, лосось, клейкий коричневый рис.

— Ему нечего сказать. Даже односложные слова он перерос, — сказал Кейт. — Помнишь, он только односложными и двусложными разговаривал? Долгий был период.

— Дольше, чем я ожидала, — сказала она.

— Он продвинулся еще дальше. Перешел на следующий этап развития.

— Духовного развития, — сказала она.

— Полное безмолвие.

— Безмолвие абсолютное и нерушимое.

— Юта — самое оно для молчаливых мужчин. Он будет жить в горах.

— В пещере среди жуков и летучих мышей.

Мальчик неспешно поднял голову, отрывая взгляд от тарелки, глядя на своего отца или в глубь ключицы отца — делая ренгтеновский снимок тонких костей под отцовской рубашкой.

— С чего вы взяли, что односложные слова — это для школы? А может, и не для школы, — сказал он. — Может быть, для Билла Адена. Может, это Билл Аден разговаривает односложными.

Лианна откинулась на спинку стула, ее передернуло: как страшно слышать это имя от Джастина.

— Я думал, Билл Аден — это секрет, — сказал Кейт. — Твой и Брата-с-Сестрой. И наш с тобой.

— Ты ей, наверно, уже рассказал. Она, наверно, от тебя знает.

Кейт покосился на нее, и она попыталась мысленно передать ему: все отрицай, о Билле Адене мы с тобой никогда не говорили. Глядя на него, крепко сжала губы, сощурилась, пытаясь пробурить его череп, вложить в его голову мысль: "все отрицай".

— Никто никому ничего не рассказал, — сказал Кейт. — Ешь рыбу.

Мальчик снова уставился на тарелку.

— Потому что он правда разговаривает односложными.

— Ну хорошо. И что он говорит?

Ответа не последовало. Она попыталась догадаться, о чем сын сейчас думает. Теперь его отец снова дома, живет здесь, ночует здесь, все в принципе по-прежнему, а он думает: разве можно доверять этому человеку? Для него этот мужчина — зловещая фигура, тот, кто уже один раз ушел, а потом вернулся и рассказал женщине, которая спит с ним в одной постели, все подробности о Билле Адене, и как после этого ему доверять — разве можно надеяться, что завтра он снова не пропадет?

Если твой ребенок считает тебя в чем-то виновным, то ты виновен, даже если ребенок ошибается. А в данном случае ребенок прав.

— Он говорит вещи, которых никто не знает, кроме Брата-с-Сестрой и меня.

— Скажи нам что-нибудь для примера. Короткими словами, — раздраженно потребовал Кейт.

– Лучше не надо.

– Это кто так говорит – он или ты?

– Главное, – мальчик произносил слова отчетливо, с вызовом, – что он говорит всякое о самолетах. Мы знаем, они прилетят, потому что он так говорит, прилетят. Но остальное мне рассказывать нельзя. Он говорит: на этот раз башни рухнут.

– Башни рухнули. Ты знаешь сам, – произнесла она тихо.

– На этот раз, он говорит, они рухнут вправду.

Они поговорили с мальчиком. Попытались объяснить в деликатной форме. Лианна гадала, отчего при беседе с мальчиком ее преследует чувство опасности. То, как он перетолковал события, вселяло в нее необъяснимый ужас. В его версии кое-что обстояло лучше, чем в реальности: башни еще стоят. Но воскрешение прошлого, неотвратимость последнего удара, проблеск надежды, который оборачивается еще худшим финалом, чем ожидалось, – все это словно из плохой сказки, нелепой, но страшной. Такие сказки дети рассказывают сами, а слушают совсем другие, старательно сочиненные взрослыми, – и Лианна сменила тему, заговорила о Юте. Лыжные трассы и небо, похожее на небо.

Он смотрел в тарелку. Велика ли разница между рыбой и птицей? Одна плавает, другая летает. Может, он об этом размышляет? Птиц он есть не согласится, – это уж точно, – ни чижа, ни голубую сойку. А рыбу – разве он станет есть рыбу, которая плавала в океане на воле и, как показывают по двадцать седьмому каналу, попалась вместе с десятью тысячами других рыб в гигантскую сеть?

Одни плавают, другие летают.

Лианна чувствовала: вот о чем он упрямо думает, зажав в кулаке печенье.

Кейт пересек парк, вышел на Западную Девяностую и – странно! – увидел, что мимо сквера, навстречу ему, движется по самой середине мостовой женщина – едет верхом, в желтой жокейке, с хлыстом, покачиваясь над волнами автомобилей, Кейт замер в задумчивости, пока не уразумел: лошадь и всадница вышли из конюшни где-нибудь неподалеку и направляются в парк, на дорожку, куда воспрещен въезд автомобилям.

Всаднице было не место в этом пейзаже: казалось, ее выдернули из параллельного мира, наколдовали; на секунду она напомнила ему что-то, замеченное лишь краем глаза, отторгнутое сознанием. Вспомнилось недоумение оттого, что все вокруг утратило привычный смысл: и деревья, и мостовая, и

камни, и ветер — не потому ли, что даже слова запорошило пеплом?

Бывало, он возвращался домой поздно, весь какой-то сияющий и слегка не в себе. Так случалось в последние месяцы их совместной жизни, когда в самом невинном вопросе ему мерещился допрос. Казалось, переступая порог, он уже ждет, что она сейчас начнет допытываться, готов, не опуская глаз, стерпеть любые расспросы, но спрашивать ей было неохота. Она считала, что теперь знает все сама. К тому времени она поняла, что он не пьянствует — а если и пьянствует, дело к этому не сводится, — и вряд ли крутит шашни. Иначе он бы лучше шифровался, говорила она себе. Просто он таким уродился и сейчас открыл свое истинное лицо, без камуфлирующего глянца, взбунтовался против общепринятых условностей.

В те ночи иногда казалось, что он вот-вот что-то ей скажет, даже не договорит фразу до конца, но после этого между ними все будет кончено, все контакты, все заключенные договоренности, развеются последние клочки любви, если оставались. Его остекленевший взгляд, влажная, прилипшая к губам улыбка, — он сам себя подзуживает, как мальчишка, гадко: слабó? Но он не облекал в слова то, что носил в себе, нечто неведомое для нее, безрассудно жестокое: даже от невысказанного Лианну пробирал страх. Ее пугал его взгляд, крен его тела. Он расхаживал по квартире, слегка клонясь набок, улыбаясь с какой-то нехорошей виноватостью, — вот-вот разнесет в щепки стол и подожжет его, чтобы, вытащив член, помочиться на пламя.

Они сидели в такси — ехали в Нижний Манхэттен — и вдруг прильнули друг к другу: начали целоваться, обниматься. Она произнесла, шепотом, скороговоркой: "Это же как в кино, в кино". Когда такси останавливалось на "красный", внутрь заглядывали пешеходы — не все, двое или трое, как бы подплывая к стеклам на секунду-другую. Иногда заглядывал только один. Другие переходили себе улицу — им неинтересно.

В индийском ресторане человек у входа сказал:

— Неполные столики не усаживаем.

Как-то вечером она спросила его о друзьях, которых он потерял. Он рассказал о них, о Ромси и Хованисе, и о том, который сильно обгорел — его фамилию она позабыла. Одного из них — кажется, Ромси — она где-то видела мельком. Кейт говорил только о каких-то характерных черточках, о семейном положении: был ли друг женат или холост, были ли дети.

Только об этом, и ей было достаточно. Не хотелось выспрашивать детали.

В подъезде — все то же самое: музыка звучит почти каждый день.

Ему предложили работу, и он, наверно, согласится: составлять договоры купли-продажи для бразильских инвесторов, работающих с нью-йоркской недвижимостью. Его послушать, не работа, а полет на дельтаплане: ветер тебя держит и несет в нужном направлении.

Поначалу она стирала его одежду отдельно, не клала вместе со своей в машину. Сама не понимала почему. Точно он мертвец.

Когда он заговаривал с ней, она слушала, вся обращалась в слух, и душой, и телом: на сей раз это их спасет, оградит от непонимания и озлобленности.

Простые имена у нее в памяти не задерживались. Но это — не из простых, вроде лихого прозвания какого-нибудь футболиста из Алабамы. По этой ассоциации она и вспомнила. Деметриус, сильно обгоревший в другой башне, в южной.

Когда она спросила о портфеле во встроенном шкафу — стоял-стоял, а потом вдруг исчез, — он сказал, что вообще-то вернул портфель владельцу, ведь это была чужая вещь, он сам не знает, зачем вынес портфель из здания.

Казалось бы, все обычно. Банально.

Слово "вообще-то" заставило ее призадуматься над тем, что он сказал о портфеле, хотя задумываться, по большому счету, глупо; в первые годы брака он частенько начинал фразу с "вообще-то", не опасаясь себя выдать, когда лгал ей, или насмехался, или даже ловчил по мелочам.

Прежде этот человек сопротивлялся ее настойчивой потребности допытываться, анализировать, докапываться, вызывать на откровенность, обмениваться секретами, рассказывать все начистоту. Она верила, будто из разговоров или сонного шепота может сложиться живое тело: с руками, ступнями и гениталиями, со всеми неприятными запахами и присохшей грязью. Ей хотелось все в себя вобрать, как водится у детей: вдохнуть из пор чужой кожи все, что удастся, пылинки чувств, выскользнувших наружу. Когда-то она наблюдала за другими людьми, воображала себя ими. Другие живут подлинной жизнью, которая ей недоступна.

"Это как в кино", — твердила она (его рука в ее трусах), твердила, срываясь на стон, и пешеходы глядели на них — не все, некоторые, — и таксист глядел, когда останавливался и на ходу, косясь в зеркало заднего вида.

Или она не права насчет банальности? Может быть, нет на свете ничего банального. Все связано одной нитью, все вещи преломляются сознанием, и маятник времени качается в сознании, потому что вне сознания понятие "время" бессмысленно.

Он слушал диски, на которых значилось "Португальский язык, южноамериканский вариант", потом практиковался, болтая с мальчиком. Говорил: "Я слегка знать португальски" — говорил по-английски, но с латиноамериканским акцентом, и Джастин пытался сдержать улыбку.

Она читала в газетах очерки о погибших, все, что публиковалось. Не прочесть их, все до одного, было бы непростительно: ей это поручено, доверено. Но она читала еще и потому, что это было нужно ей лично, а отчего нужно — не вдумывалась.

Наутро после ночи, когда они впервые занялись любовью, он отправился в ванную, а она встала, чтобы одеться и выйти на утреннюю пробежку, но вместо этого прижалась нагишом к зеркалу, повернув голову в профиль, подняв руки выше плеч. Прижалась всем телом, зажмурившись, и долго стояла, едва ли не сползая по холодной поверхности, отдаваясь ощущению. Потом надела шорты и майку, начала зашнуровывать кроссовки — тут он, свежевыбритый, вышел из ванной и увидел размытый оттиск ее лица, ладоней, грудей и бедер, отпечатавшийся на зеркале.

Он сидел боком к столу, предплечье левой руки на столе, кисть свешивается с края. Отрабатывал движения: руку в запястье согнуть, опуская, руку в запястье согнуть, поднимая. Свободной рукой прижимал рабочую. С запястьем все отлично, все нормально. Лангетку он выбросил на помойку, прикладывать лед перестал. Но садился боком к столу, теперь два-три раза на дню, сжимал левую руку в мягкий кулак, прижимал предплечье к столешнице, оттопыривал большой палец — все точно по инструкции. В листок больше не заглядывал. На автомате: сгибание запястья, ульнарное отведение кисти, кисть приподнять, предплечье не отрывать от стола. Считал секунды, считал, сколько раз повторил упражнение.

В их словах и взглядах было что-то необъяснимо-загадочное, и каждый раз при встрече они поначалу ощущали легкую неловкость, неуловимую робость.

— Я их иногда вижу на улице.

— Я прямо остолбенел. Лошадь, — сказал он.

— Мужчина на лошади. Женщина на лошади. Мне бы такое и в голову не пришло, — сказала Флоренс. — Хоть все свои деньги мне отдайте — ни за что. Я на лошадь не полезу.

Робость сохранялась еще некоторое время, а потом что-то растопляло лед: шутка, взгляд или ее манера мурлыкать под нос какой-нибудь мотив, отводя взгляд, пародируя неизлечимую застенчивость. Но легкая неловкость первых минут, ощущение, что они друг другу не пара, развеивались не до конца.

— Иногда шесть-семь лошадей вереницей, скачут по улице. Всадники смотрят прямо перед собой, — говорила она, — словно боятся обидеть туземцев.

— Я тебе скажу, чему удивляюсь.

— Моим глазам? Рту?

— Твоей кошке, — сказал он.

— У меня нет кошки.

— Это меня и удивляет.

— Ты думаешь, я кошатница.

— Я так и вижу тебя с кошкой, явственно. Тут должна быть кошка — пусть крадется вдоль стен.

На сей раз он уселся в кресло, а она поставила рядом кухонный табурет и, устроившись прямо перед Кейтом, положила руку ему на предплечье.

— Скажи мне, что не выйдешь на работу.

— Не работать нельзя.

— А как же мы будем встречаться?

— Что-нибудь придумаем.

— Мне хотелось, чтобы ты один был во всем виноват. Но теперь и мне придется признаться. Похоже, вся наша фирма переезжает за реку. Насовсем. У нас будет прекрасный вид на Нижний Манхэттен. На то, что от него осталось.

— И ты найдешь себе жилье где-то неподалеку.

Она уставилась на него.

— Ты что, серьезно? Как у тебя язык повернулся? Думаешь, я от тебя в такую даль уеду?

— Ездить туда на работу — просто кошмар. Все равно как ездить — по мосту или по тоннелю.

— Мне все равно. По-твоему, для меня это важно? Поезда снова пустят. А нет — стану ездить на машине.

— Хорошо.

— Подумаешь, Нью-Джерси.

— Хорошо.

Казалось, она сейчас зарыдает. Он подумал: такие разговоры — для других, но только не для них с Флоренс. Другие люди постоянно ведут такие разговоры, подумал он, сидят в комнатах наподобие этой и смотрят друг на друга.

Потом она сказала:

– Ты спас мне жизнь. Разве не понимаешь?

Он откинулся в кресле, не отводя от нее глаз:

– Я спас твой портфель.

И стал ждать, пока она рассмеется.

– Я не могу выразить это словами, но нет – ты жизнь мне спас. После всего, что случилось, – стольких людей не стало, друзей, сослуживцев, еще немного, и меня бы тоже... – я в каком-то смысле умерла. Не могла никого видеть, не могла ни с кем разговаривать, куда-то ходить – просто приросла к этому вот креслу, не могла себя заставить... И тут появляешься ты. Я все время звонила подруге, она пропала без вести, это она везде на фотографиях, на стенах и в витринах, Дейвия, в официальном списке пропавших без вести. Мне трудно выговорить ее имя. Посреди ночи набирала номер, слушала длинные гудки. Днем звонить боялась – там будут другие, поднимут трубку, им известно то, чего я не хочу услышать. И тут пришел ты. Ты гадаешь, зачем вынес портфель из здания. А вот зачем. Чтобы ты мог его сюда принести. Чтобы мы смогли узнать друг друга. Вот зачем ты его взял, вот зачем сюда принес – чтобы я осталась жива.

В это объяснение ему не верилось – но ей он верил. Она говорила то, что чувствовала, без лукавства.

– Ты все гадаешь, зачем схватил портфель. Ради меня – вот зачем, – сказала она.

7

Два неопознанных темных предмета, белая бутылка, шеренга коробок. Лианна отвернулась от картины, и вся комната на миг показалась ей натюрмортом. Но вот проступают силуэты людей: Мать и Любовник, Нина по-прежнему в кресле, отрешенно размышляет, а Мартин теперь на диване, ссутулившись, сидит лицом к Лианне.

Наконец ее мать произнесла:

– Архитектура – да, возможно, но совершенно другой эпохи, не нашего столетия. Офисные небоскребы? Нет. Эти формы не конвертируются в современные небоскребы, в башни-близнецы. Картина отторгает все попытки такой экстраполяции, все подобные толкования. Она втягивает тебя в свое пространство, увлекает вниз и вовнутрь. Это я и вижу: нечто почти сокрытое, то, что глубже вещей, их внешних форм.

Лианну вдруг осенило — точно тонкий, как булавка, луч света упал: она поняла, что́ сейчас скажет мать.

Мать сказала:

— Жизнь конечна — вот в чем ее идея, верно?

— Человек есть человек, — сказала Лианна.

— Человек есть человек, человек смертен. Наверно, на эти картины я буду смотреть, когда перестану смотреть на все остальное. Буду смотреть на бутылки и коробки. Сидеть тут и смотреть.

— Придется пододвинуть кресло поближе.

— Я его подтащу к самой стене. Нет, позову консьержа и заставлю двигать кресло. Я-то сама не смогу — слишком одряхлею. Буду смотреть и размышлять. Или просто смотреть. А потом мне расхочется смотреть на картины. Они мне будут без надобности. Стану смотреть на стену.

Лианна подошла к дивану и слегка шлепнула Мартина по руке:

— Ну, а твои стены? Что на стенах у тебя?

— У меня стены голые. И дома, и в офисе. Держу их в наготе, — сказал он.

— Но не в полной наготе, — заметила Нина.

— Ну хорошо, не в полной.

Она смотрела на него:

— Ты говоришь нам: забудьте о Боге.

Спор вовсе не завершился — так и витал среди них, в воздухе, прилипал к коже, но интонации резко изменились.

— Ты говоришь, ими движет история, — Нина смотрела на Мартина, испепеляюще. Ее голос обвинял: — Но о Боге забывать нельзя. Они взывают к Богу постоянно. Это их древнейший источник силы, их древнейшее слово. Да, кроме Бога, есть еще кое-что, но не история, не экономика. Мужские эмоции — вот что. С мужчинами такое бывает: подхватят какую-то идею, и кровь уже в жилах взыграла, и им неважно, чем идея порождена — любой слепой силой, тупой, алчной. Ловко устроились — нашли себе систему верований, которая обеляет эти эмоции и эту бойню.

— Но система не обеляет. Ислам отвергает идею этих людей, — сказал он.

— Что ты назовешь Богом, то и есть Бог. Бог — все, что угодно, если оно дозволено Богом.

— Разве ты не понимаешь, что говоришь вздор? Разве не сознаешь, что́ именно отрицаешь? Ты отрицаешь факт взаимных обид, отрицаешь все исторические факторы, которые провоцируют конфликты между людьми.

— Мы о конкретных людях говорим — о тех, кто здесь и сейчас. Да, обида налицо — но высосанная из пальца. Вирусная инфекция. Вирусы плодятся вне исторического процесса.

— Сначала они тебя убьют, а потом ты попытаешься их понять. Может быть, в конце концов ты даже узнаешь их имена. Но сначала они тебя убьют.

Так продолжалось довольно долго, а Лианна слушала, встревоженная накалом беседы. Мартин сидел, подпирая голову рукой, и спорил пламенно: говорил об утраченных территориях, государствах на грани распада, иностранной интервенции, деньгах, империях, нефти, самодовольном духе Запада; Лианна изумилась: как же он может заниматься своим бизнесом, зарабатывать тем, чем зарабатывает, — импортировать антиквариат, наживаться. И еще — голые стены. Тоже озадачивает.

Нина сказала:

— Выкурю-ка я сейчас сигаретку.

Это разрядило обстановку — сказано было серьезно, даже торжественно, словно сигарета не менее важна, чем предмет спора. Мартин захохотал, расправил плечи и отправился на кухню — налить себе еще пива.

— Где мой внук? Он пишет мой портрет фломастерами.

— Ты уже одну выкурила, двадцать минут назад.

— Я позирую художнику. Мне нужно расслабиться.

— У него уроки кончатся только через два часа. Кейт его приведет.

— Нам с Джастином надо поговорить о цвете кожи, о телесных оттенках.

— Он любит белое.

— У него на уме только сверхбелое. Сверхбелая бумага.

— Глаза, волосы и, наверно, рот он рисует яркими цветами. А там, где мы видим плоть, он видит белое.

— Таков его замысел: бумага вместо плоти. Произведение — не отражение реальности, оно само — реальность. Он нарисовал портрет бумаги.

Вошел Мартин, слизывая пену с края кружки.

— А белый фломастер у него есть?

— Не нужен ему белый фломастер, когда есть белая бумага, — сказала Лианна.

Мартин остановился у южной стены перед старыми фотографиями на паспорт, неравномерно выцветшими. Нина взглянула в его сторону.

— Какая красота, сколько достоинства, — сказала она, — в этих людях и их фотографиях. Я только что поменяла пас-

порт. Десять лет прошли и исчезли — легко, словно глоток чаю. Меня никогда особо не заботило, как я получаюсь на фотографиях. Не заботило — не то, что некоторых. Но фото в паспорте меня пугает.

— Куда ты едешь? — спросила Лианна.

— Я не обязана куда-то ехать только потому, что получила паспорт.

Мартин подошел к ее креслу и встал позади, наклонившись к ее уху, чтобы говорить вполголоса:

— Надо бы тебе куда-нибудь съездить. Вот вернемся из Коннектикута — и в долгое путешествие. Сейчас ведь никто не путешествует. Подумай об этом.

— Плохая идея.

— В дальние края, — сказал он.

— В дальние края.

— В Камбоджу. Пока джунгли не поглотили последние руины. Если хочешь, я поеду с тобой.

Мать курила на манер женщин сороковых годов, героинь гангстерских боевиков, — нервно и жадно, в монохромном изображении.

— Смотрю на лицо в паспорте. Это еще что за женщина?

— А я как приподниму голову от умывальника... — вставил Мартин.

— Это еще что за мужик? Думаешь, что в зеркале видишь себя. Ничего подобного. Ни малейшего сходства. Это не твое лицо в буквальном смысле — если так можно сказать. Отражение — коллаж. Коллаж в незавершенном состоянии.

— Не пугай меня.

— Ты видишь одно, мы — другое. То, что ты видишь в зеркале, преломляется через призму памяти, твоего житья-бытья все эти годы.

— Не хочу слушать, — сказал он.

— Мы видим всю правду о тебе. А ты, в зеркале, — смягченный вариант. Зеркало погружает реальное лицо в свои глубины. Твое лицо — это твоя жизнь. Но пока ты живешь, оно тоже погружено в глубину — глубину жизни. Значит, ты его не видишь. Видят только другие. И фотоаппарат, конечно.

Он улыбнулся в кружку. Нина потушила едва раскуренную сигарету, взмахнула рукой, отстраняя столб мутного тумана.

— А еще есть борода, — сказала Лианна.

— Борода помогает скрыть лицо.

— Борода неважнецкая.

— Но в том-то и искусство, — подхватила Нина.

— Искусство выглядеть неряхой.

— Неряхой с чувствительной душой.

— Надо мной подтрунивают в американском стиле. Я правильно понимаю? — спросил он.

— Борода — прекрасный аксессуар.

— Он с ней разговаривает, — сказала Нина. — Каждое утро, в зеркале.

— И что он говорит?

— Он говорит по-немецки. Его борода — немка.

— Я весьма польщен, — сказал он. — Не над всяким так будут подтрунивать.

— А нос — австро-венгр.

Стоя за спиной у Нины, он наклонился к ней, приложил ладонь тыльной стороной к ее щеке. Потом понес пустую кружку на кухню; женщины некоторое время сидели молча. Лианне хотелось пойти домой и лечь спать. Ее мать клонит в сон, и ее саму — тоже. Пойти домой и немного поболтать с Кейтом, а потом рухнуть на кровать и заснуть. Поболтать с Кейтом или обойтись без разговоров. И все же ей хотелось, чтобы Кейт был дома, когда она придет.

Мартин, неожиданно для них, подал голос из дальнего угла комнаты:

— Они хотят занять в мире свое место, создать свой собственный — не наш — глобальный альянс. Ты говоришь: это старая отжившая война. Но она повсюду, и у нее есть свои резоны.

— Ты меня обманул.

— А ты не обманывайся. Думаешь, люди жертвуют собой только во имя Бога? — сказал он.

Зазвонил его мобильник, и Мартин отвернулся к стене, заговорил словно бы с собственной грудной клеткой. Он много раз вел разговоры по телефону при Лианне; отходил в сторону, издали доносились английские, немецкие или французские фразы — смотря кто звонил, — а иногда вкраплялся чарующий слог: "Брак" или "Джонс".

Мартин быстро закончил разговор и убрал телефон.

— Путешествие... да, тебе об этом стоит подумать, — сказал он. — Приведи колено в норму, и поедем — я совершенно серьезно.

— В дальние края.

— В дальние края.

— К руинам, — сказала она.

— К руинам.

— У нас свои руины есть. Но на них мне как-то смотреть не хочется.

Он пошел вдоль стены к двери:

— Но вы для того и построили свои башни, разве не так? Разве башни не возводились как символ богатства и власти,

который так и подмывает уничтожить? Махину сооружаешь, чтобы посмотреть, как она рушится. Очевидная провокация. Зачем еще забираться в такую высь, а потом дублировать свой рекорд? Если символ, почему бы не в двух экземплярах? Вы говорите: "Вот они, придите и разрушьте их".

С этими словами он потянул на себя дверь. И ушел.

Он смотрел покер по телевизору: страдальческие гримасы, казино посреди пустыни. Смотрел без интереса. Разве в телевизоре покер? Зашел Джастин, стал смотреть вместе с ним, и он в общих чертах растолковал мальчику правила — урывками, когда игроки делали перерывы и поднимали ставки, когда становилась ясна стратегия каждого. Потом пришла Лианна, устроилась на полу и стала наблюдать за сыном. Он сидел на краешке стула, тянулся всем телом к телевизору, растерянно уставившись в сияющий прямоугольник: ни дать ни взять загипнотизирован пришельцами.

Она смотрела на экран, на игроков, когда их показывали крупным планом. Ход партии не вызывал у нее никаких чувств, она воспринимала все происходящее смутно, как под легкой анестезией: скучно, когда одна карта решает, проиграешь сто тысяч долларов или выиграешь. Покер ничего ей не говорил — он ей неинтересен, ни уму ни сердцу. Но игроки были занятные. На игроков она смотрела, их лица — невозмутимые, сонные или хмурые — завораживали. "Бедняги", подумала она, почему-то вспомнив Кьеркегора и долгие ночи с книгой в руках. Она смотрела на экран и воображала безотрадный север: вот где место этим лицам, а они — в пустыне, в Лас-Вегасе. Разве окончится внутренняя борьба, разве исчезнут противоречия, когда победитель с облегчением переведет дух?

С Кейтом она своими мыслями не делилась — он полуобернулся бы к ней, с притворной задумчивостью уставившись в пространство, отвесил бы челюсть, медленно опуская веки, пока не уронил бы, наконец, голову на грудь.

Он думал о том, что его окружало, — или скорее не думал, просто вбирал в себя окружающий мир. Видел в углу экрана отраженное лицо Лианны. Наблюдал за игроками, подмечал детали ходов и контрходов, но не переставал наблюдать за ней и остро ощущал: он здесь, рядом с ней и Джастином. В руке сжимал стакан: односолодовый виски со льдом. Услышал, как на улице сработала автомобильная сигнализация. Перегнулся и постучал по макушке Джастина — "тук-тук", — привлекая его внимание к грядущему откровению: камера поймала в объектив карты игрока, не ведающего, что ему конец.

— Ему конец, — сказал сыну, а мальчик, не говоря ни слова, сидел, неестественно вытянувшись, чуть ли не оседая со стула на пол, чуть ли не в трансе.

Кьеркегора она любила за принадлежность к былым временам, за яркую драматичность, за старинный том из ее домашней библиотеки (ломкие страницы, некоторые фразы подчеркнуты по линейке красными чернилами; книга досталась по наследству от кого-то по материнской линии). Кьеркегора она читала и перечитывала ночами в комнате общежития, среди растущего нагромождения бумаг, одежды, книг и теннисной экипировки, которое, как ей нравилось думать, было объективным коррелятом активного разума. Что, собственно, такое — объективный коррелят? А когнитивный диссонанс? Тогда она знала ответы на все вопросы, казалось ей теперь, и любила Кьеркегора уже за то, как пишется его имя. Кьеркегор — твердые скандинавские "к" и головокружительное "гор". Мать все время присылала ей книги: гениальные, трудные, немилосердные к читателю романы — герметичные, непостижимые миры, — но в художественной литературе она безуспешно искала что-то свое, близкое ее уму и сердцу. Она читала своего любимого Кьеркегора с лихорадочной надеждой, безоглядно углубляясь в протестантские топи его "Болезни к смерти". А вот ее соседка по комнате сочиняла тексты для воображаемой панк-группы "Насри мне в рот", и Лианна ей завидовала: надо же, как оригинально проявляется ее мировая скорбь. Кьеркегор дарил ей чувство опасности, ощущение, что ее духовные поиски подошли к опасной грани. "Все сущее вселяет в меня страх", — писал он. В этой фразе она узнавала себя. Кьеркегор заставлял поверить, что ее земное существование — вовсе не одномерная мелодрама, какой иногда кажется.

Она смотрела на лица игроков, а потом заглянула в глаз своего мужа на экране — отраженный, наблюдающий за ней — и улыбнулась. Вот стакан с янтарной жидкостью в его руке. Вот автомобильная сигнализация верещит где-то за окном, успокаивающая примета привычной жизни, мирная вечерняя колыбельная. Она перегнулась и сдернула мальчика с насеста. Когда Джастин уже отправлялся спать, Кейт спросил, не подарить ли ему набор фишек для покера и колоду карт.

В ответ прозвучало: "Может быть", что означало "да".

В конце концов стало невмоготу, и она это сделала — постучала в дверь, громко, и стала ждать, пока Елена откроет, терпеливо ждала, хотя в ушах вибрировали голоса: нежные, женские, распевали хором на арабском.

У Елены есть собака по имени Грегор. О собаке Лианна вспомнила, как только постучалась. Грегор, подумала она, Грегор, а не "Грегори", и это почему-то важно.

Лианна снова стукнула по двери, на сей раз ладонью, и тут соседка возникла на пороге: подогнанные по фигуре джинсы, футболка с блестками.

— Музыка. Постоянно, и днем и ночью. И очень громко.

Елена смотрела ей в глаза, и становилось ясно: у этой женщины врожденное чутье на скрытые оскорбления.

— Как вы не понимаете? Мы ее слышим на лестнице, слышим у себя в квартирах. Постоянно, что днем, что ночью, черт подери.

— Ну и что? Это просто музыка. Мне нравится. Красивая музыка. Она меня успокаивает. Мне нравится, вот я ее и ставлю.

— Даже теперь? В такие времена?

— Теперь, раньше — какая разница? Это же музыка.

— Но почему вы ее теперь стали ставить и почему так громко?

— Никто никогда не жаловался. Что громко, я в первый раз слышу. Не так уж и громко.

— Громко.

— Это просто музыка. Что я могу поделать, если вам в ней мерещится личное оскорбление?

В прихожую вышел Грегор: сто тридцать фунтов, черный, шерсть густая, на лапах между когтей перепонки.

— Естественно, она меня оскорбляет. Кого угодно оскорбит. В нынешних обстоятельствах. Есть ведь определенные обстоятельства. Хоть это вы признаете?

— Нет никаких обстоятельств. Это просто музыка, — сказала она. — Меня она успокаивает.

— Но зачем ее теперь ставить?

— Теперь, прежде — какая разница? Музыка ни при чем. И никто никогда не говорил, что громко.

— Охренеть можно, как громко.

— Наверно, вы слишком обостренно все чувствуете, хотя послушать, как вы выражаетесь, — нипочем не догадаешься.

— Сейчас весь город все обостренно чувствует. Вы что, с луны свалились?

Всякий раз, когда Лианна видела пса на улице в полуквартале от себя и Елену, несущую целлофановый пакет для сбора какашек, она думала: "Грегор, кончается на 'гор'".

— Это музыка. Мне она нравится, и я ее ставлю. Вам кажется, что громко, — так побыстрее ходите по лестнице.

Лианна схватила Елену за подбородок:

— Вас она, значит, успокаивает.

Передвинула пальцы, метя под левый глаз, втолкнула Елену обратно в прихожую:

— *Вас* успокаивает.

Грегор с лаем отступил в квартиру. Лианна надавила на глаз, а Елена попыталась ее ударить — замахнулась, не глядя, правой рукой, задела притолоку. Лианна поняла, что обезумела, как только отошла от двери, как только прихлопнула дверь Елениной квартиры и начала спускаться вниз под собачий лай, сопровождаемый соло на лютне из Турции, Египта или Курдистана.

Фирма, где работал Ромси, занимала офис в зоне северного фасада. В углу выгородки, которая служила Ромси кабинетом, стояла хоккейная клюшка. В обеденный перерыв они с Кейтом играли в хоккей с кем придется в Челси-пирсе[1]. А когда было тепло, шатались по торговым комплексам и улицам в трепещущей, как рябь на воде, тени башен: глазели на женщин, разговаривали о женщинах, рассказывали истории, отводили душу.

Кейт ушел от жены, поселился под боком у башен — где удобнее, питался, где удобнее, а когда брал фильм в видеопрокате, примечал, сколько минут он длится. Ромси был холост, состоял в связи с замужней женщиной, недавней иммигранткой из Малайзии, — она торговала на Кэнэл-стрит футболками и открытками.

Ромси был склонен к навязчивым действиям. Сам признался. Он обо всем рассказывал другу, ничего не скрывал. Ромси вел счет машинам, припаркованным на улице, окнам здания в соседнем квартале. Считал шаги — сколько сделал от начальной до конечной точки. Запоминал все, что попадалось на глаза, накапливал информацию, почти непроизвольно.

Мог отбарабанить на память личные данные двух дюжин друзей и знакомых: адрес, телефон, день рождения. Мог сообщить девичью фамилию матери любого клиента, в чье личное дело несколько месяцев назад заглядывал.

Такая вот странность, малоприятная. В ней был какой-то неприкрытый надрыв. За игрой в покер или в хоккей Ромси и Кейт чувствовали друг друга, каждый интуитивно предугадывал стратегию другого, играли ли они за одну команду или были противниками. В Ромси было много заурядного: широ-

1. Челси-пирс — спортивный комплекс на Манхэттене.

кокостный, приземистый, нрав ровный. При его странностях эта заурядность обескураживала. Мужчина сорока одного года в костюме и галстуке — идет по набережным сквозь волны неистового зноя, высматривая женщин в босоножках с открытыми мысами.

Говоря без обиняков, его неодолимо тянуло пересчитывать все и вся, даже пальцы на нижних конечностях женщин. Ромси признался в этом сам. Кейт не стал подсмеиваться. Попытался внушить себе, что в привычке Ромси нет ничего особенного: чего только люди не выделывают, с ума сойти, что́ мы все выделываем в передышках, случающихся в нашей нормальной жизни — той жизни, которую окружающие считают для нас нормальной. Кейт все-таки засмеялся, но не сразу. Он понял: у навязчивой потребности Ромси нет сексуального подтекста. Важна именно процедура подсчета, даже если результат известен заранее. Пальцы на одной ноге, пальцы на другой. В сумме всегда десять.

Кейт был высокий, на пять или шесть дюймов выше друга. Он наблюдал, как у Ромси развивается облысение: с макушки, — казалось, оно прогрессировало от недели к неделе; наблюдал во время дневных прогулок, или когда Ромси, сгорбившись, сидел в своем кабинете, или держал сэндвич обеими руками и жевал, горбясь. Он всегда имел при себе бутылку воды. Запоминал цифры на номерных знаках, даже когда сам вел машину.

Встречается с женщиной с двумя детьми — вот ведь незадача. Живет она в долбаном Фар-Рокуэе.

Женщины на скамейках, на ступеньках, читающие или разгадывающие кроссворды, загорающие, запрокинув головы, или поедающие йогурт, орудуя голубыми ложечками, женщины в босоножках — не все, некоторые, — с выставленными на всеобщее обозрение пальцами.

Ромси, глядя себе под ноги, скользит по льду вслед за шайбой, налетает с размаху на дощатый борт: на пару часов, пока длится эта радостная схватка, его тело свободно от извращенных потребностей.

Кейт бежит на месте, на беговой дорожке в спортзале, в голове у него звучат голоса — в основном его собственный, даже когда он в наушниках слушает аудиокниги: научно-популярные или исторические.

В сумме всегда получалось десять. Сумма не обескураживала, не сбивала с толку. Десять — вот и прекрасно. Наверно, потому я этим и занимаюсь — чтобы вновь и вновь получать одинаковый результат, говорил Ромси. Должно же быть хоть что-то непреходящее, вечное.

Подруга Ромси добивалась, чтобы он вложил деньги в ее магазин, совладельцами которого были ее муж и еще два родича. Они задумали расширить ассортимент — торговать электроникой и кроссовками.

Пальцы ничего не значили, если не были обрамлены босоножками. Босоногие женщины на пляже были прекрасны не своими ступнями.

Он накапливал бонусные мили на кредитных картах и летал в города, которые выбирал по таблице расстояний, по их отдаленности от Нью-Йорка, — просто чтобы использовать мили. Это отвечало какому-то его внутреннему принципу — идее кредитного лимита на чувства.

Иногда попадались мужчины в сандалиях с открытыми мысами — на улицах, в парках, — но их пальцы Ромси не пересчитывал. Пожалуй, была важна не только процедура подсчета — женщины тоже кое-что значили. В этом Ромси признавался. Вообще признавался во всем.

В постоянстве его потребностей был какой-то мерзкий шарм. Кейту открывались темные стороны, странные ракурсы, неискоренимые изъяны, но одновременно пробуждалась симпатия, редкостный трепет встречи с родной душой.

Прогрессирующее облысение придавало Ромси кроткий и меланхоличный вид: этакий печальный мальчишка, который нехотя повзрослел.

Однажды они подрались — на льду, игроки одной команды, обознались в массовой схватке, — и Кейта это позабавило, но Ромси негодовал, обвинял Кейта, срываясь на визг, уверял: "Ты меня еще пару раз двинул, когда уже сообразил, кого колотишь". — "Ничего подобного", — сказал Кейт, но сам подумал, что все возможно: раз уж драка завязалась, что с собой поделаешь?

Они возвращались к башням, а вокруг роились люди, толпы двигались волнами, пересекались под прямым углом.

Ну хорошо. А если пальцы в сумме не всегда дают десять? Представь: едешь в метро, сидишь, глядя в пол, сказал Кейт, и рассеянно скользишь взглядом по вагону, и замечаешь босоножки, и считаешь, и пересчитываешь еще раз, а пальцев девять, или одиннадцать.

Ромси унес этот вопрос с собой в свой кабинет в поднебесье и переключился на менее увлекательные темы — деньги и недвижимость, контракты и свидетельства о праве собственности.

На следующий день он сказал:

— Я предложу ей выйти за меня замуж.

А погодя добавил:

— Потому что пойму, что исцелился, словно в Лурде, и могу больше не считать.

Кейт уставился на нее, сидя за столом напротив.

— Когда это случилось?

— С час назад.

— Эта ее собака... — сказал он.

— Знаю. Я точно ума лишилась.

— А что теперь? Увидишь ее в подъезде, и что?

— Извиняться не стану. И всё тут.

Он сидел и, глядя на нее, качал головой:

— Ты не расстраивайся, но, когда я только что поднимался по лестнице...

— Можешь не говорить.

— Музыка играла, — сказал он.

— Наверно, это значит, что победа за ней.

— Не громче и не тише.

— Победа за ней.

Он сказал:

— А может, она умерла. Валяется там у себя мертвая.

— Жива она или мертва, победа за ней.

— Эта ее собака...

— Знаю. Я совсем спятила. Слышала свой голос со стороны. Как чужой.

— Я эту зверюгу видел. Наш мальчик ее боится. Ни за что не признается, но боится.

— Что за порода?

— Ньюфаундленд.

— Не собака, а целый остров, — сказала она.

— Ты везучая.

— Везучая и чокнутая. Грегор.

Он сказал:

— Выкинь эту музыку из головы.

— Грегор, имя кончается на "гор".

— А моя фамилия — на "кер". Выкинь музыку из головы, — сказал он. — Она ни к чему не подстрекает, ничего не проповедует.

— Но звучит в подъезде, как звучала.

— Звучит, потому что эта баба мертва. Лежит мертвая. И огромный пес ее обнюхивает.

— Мне надо больше спать. Вот что мне надо, — сказала она.

— Огромный пес нюхает промежность покойницы.

— По ночам я обязательно просыпаюсь, когда раньше, когда позже. Голова работает бесперебойно. Не могу выключить.

— Выкинь из головы музыку.

— Мысли какого-то чужого человека — не могу признать их своими.

Он не спускал с нее глаз.

— Выпей какую-нибудь таблетку. Твоя мать в них разбирается. Так люди и засыпают, с таблетками.

— С таблетками, которые пьют люди, у меня сложные отношения. Я только хуже дурею. Тупею, начинаю все забывать.

— Поговори с матерью. Она в них разбирается.

— Не могу отключиться, не могу заснуть снова. Целую вечность не могу. А там и утро, — сказала она.

Истина открывалась в процессе медленного и неотвратимого угасания. В кружке каждый жил с сознанием этого. Труднее всего Лианне было смириться с неизбежным в случае Кармен Г. Кармен постоянно как бы раздваивалась: одна Кармен сидела на стуле, с каждым занятием все больше теряя задор и индивидуальность, что-то растерянно мямля, а другая — гораздо моложе, изящнее, чертовски обворожительная (такой ее воображала Лианна), страстная женщина в пору безрассудного расцвета, остроумная и прямодушная, кружилась в танце.

Лианна, тоже помеченная клеймом своего отца, возможно, обреченная на склеротические бляшки и сенильность, вынуждена была, глядя на эту женщину, сознавать, как это страшно: потеря памяти, личности, себя, накопление аномальных белков, неотвратимо отравляющих мозг. Вот, например, страница, которую Кармен написала и зачитала вслух: предполагалось, что это будет рассказ о том, как она провела вчерашний день. Но к теме, на которую они единогласно договорились написать, это не имело никакого отношения. Кармен сделала все по-своему.

"Я просыпаюсь, думая, где все? Я одна, потому что я такая. Я думаю, где остальные, сна ни в одном глазу, вставать не хочется. Мерещится: без документов встать с постели нельзя. Prueba de ingreso. Prueba de direccion. Tarjeta de seguro social[1]. Удостоверение личности с фотографией. Мой отец рассказывал анекдоты — не разбирая, похабные или безобидные: дети должны знать жизнь. У меня было два мужа, все всем разные, только руки одинаковые. Я до сих пор обращаю внимание, какие у мужчины руки. Потому что кто-то сказал

1. Справка о поступлении на работу. Справка с места жительства. Свидетельство социального страхования (*исп.*).

главное, какой мозг сегодня работает, ведь у каждого человека два мозга. Почему самое трудное на свете — встать с постели? У меня есть цветок, ему все время нужна вода. Никогда не думала, что цветок — это работа".

Бенни спросил:

— Но где же твой день? Ты сказала, это твой день.

— Это, наверно, первые десять секунд. Еще в постели. Когда мы в следующий раз соберемся, я, может быть, все-таки встану. Через раз — помою руки. Это день третий. День четвертый — умоюсь.

Бенни спросил:

— Мы так долго будем жить? Пока ты доберешься до сортира, мы все перемрем.

Затем они переключились на Лианну. Каждый из них что-нибудь да написал о самолетах, что-нибудь сказал, — а она? На сей раз эту тему затронул Омар Х. — как всегда серьезный, поднял правую руку:

— А где были вы, когда это случилось?

Уже два года без малого, с тех пор, как начались занятия в кружке "Дни нашей жизни", а ее брак слился с полночным небом, она слушает, как эти мужчины и женщины рассказывают свою жизнь: с юмором, бередя душу, без обиняков, трогательно, ткут сети доверия, связующие их воедино.

С нее тоже хоть одна история причитается, не правда ли?

Кейт в дверях. Обязательно сказать об этом, нельзя умолчать, сущий кошмар: он жив, ее муж пришел живой. Она пыталась описывать события последовательно, рассказывала — а он так и стоял перед глазами, фигура, парящая в отраженном свете, Кейт в фрагментах, штрих за штрихом. Слова слетали с языка сами собой. Детали, запечатленные памятью без ее ведома: как на его веке сверкнул осколок стекла, точно бусинка пришита, и как они шли пешком в больницу, за девять или десять кварталов, по почти безлюдным улицам, ковыляли в полном безмолвии, и как им помог молодой парень, разносчик, совсем мальчишка, одной рукой поддерживал Кейта, а в другой нес коробку с пиццей, и Лианна чуть не спросила у него, как же клиенты умудрились заказать пиццу, если телефоны не работают, высокий латиноамериканец, а может, и не латиноамериканец, коробку нес горизонтально, на ладони, на вытянутой руке.

Ей хотелось не отвлекаться на мелочи, обстоятельно изложить все по порядку. Но иногда она не столько рассказывала, столько растворялась во времени, ныряла в какой-нибудь обрывок недавнего прошлого, привлекший ее внимание. Они сидели, как истуканы, глядя на нее. В последнее время

на ней многие задерживают взгляд. Видимо, за ней нужен глаз да глаз. Здесь на нее полагаются: ее дело — внести ясность. Ждут слов с ее стороны баррикады, из мира, где прочное не распадается.

Она рассказала им о своем сыне. Когда он рядом, когда его можно видеть или потрогать, когда он погружен в себя или чем-то занят, страх отступает. Все остальное время она не может думать о нем без страха. Существует бестелесный Джастин, ребенок, которого она навоображала.

Забытые вещи, сказала она, или зловещий вид бумажного пакета с завтраком, или ощущения в метро в час пик: закрытые наглухо коробки под землей.

Она не могла смотреть на него спящего. Он оборачивался мальчиком из будущего, из времени, которое мысом уходит вдаль. Много ли знают дети? Дети знают самих себя, сказала она, и нам их знание недоступно, а они объяснить не умеют. В торопливом потоке обыденных часов и дней попадаются застывшие моменты-льдинки. Видя спящего сына, она не может никуда деться от мысли: "Что́ еще стрясется?" Все дело в его неподвижности — как у фигур в онемевшей дали, застывших в окнах.

Пожалуйста, сообщайте о подозрительном поведении или забытых вещах. Такая формулировка, верно?

Она чуть не рассказала им о портфеле, о факте его появления и исчезновения, не спросила, что это могло значить, если вообще что-то значило.

Хотела рассказать, но не рассказала. Все рассказать им, все поведать. Лианна нуждалась в том, чтобы они ее слушали.

Когда-то Кейту хотелось взять от жизни больше, чем можно успеть физически, больше, чем на то хватит сил в земном мире. Теперь расхотелось — вообще пропали желания, которые имеют реальное выражение, материальную форму. Ведь по-настоящему он никогда не знал, чего хочет.

Теперь он подозревал, что рожден для старости, что ему предначертано быть одиноким стариком, довольным своей одинокой старостью, а остальное: все сердитые взгляды и отповеди, свидетелями которых были эти стены, — призвано просто привести его к этой цели.

Так в нем проклюнулся его отец — сидящий в собственном доме на западе Пенсильвании, читающий утреннюю газету, совершающий послеобеденную прогулку — человек, вросший в сладостную рутину, вдовец, смакующий вечернюю трапезу, мыслящий ясно, живущий своей жизнью, никем не притворяясь.

У партий в хай-лоу был особый подтекст. Фишки всегда раздавал Терри Чен — поровну обоим победителям, за лучшую и худшую комбинацию карт. Несколько секунд — и готово, Чен уложил фишки разных цветов и достоинства двумя столбиками. Если фишек в банке много — несколькими столбиками, в два ряда. Высоких столбиков Чен не любил — могут рассыпаться. И одинаковых с виду — тоже. Свою задачу понимал так — составить два набора фишек, равных в денежном эквиваленте, но только, боже упаси, без симметричных цветовых сочетаний. Клал шесть синих фишек на четыре золотые, три красные и пять белых, а потом мгновенно, как защелкивается капкан — пальцы летали, руки невероятно изгибались, — подбирал шестнадцать белых, четыре синих, две золотых и тринадцать красных, дающие в сумме столько же; и, воздвигнув столбики, скрещивал руки на груди и вперял взгляд в неведомую даль, а два победителя забирали свои фишки с безмолвной почтительностью на грани благоговения.

Никто не сомневался в его мастерстве, координирующем руки, глаз и разум. Никто не пытался подсчитывать вместе с Терри Ченом, даже в угрюмой пучине ночи никого не посещало подозрение, что при подсчете выигрышей в хай-лоу Терри Чен хотя бы раз в жизни может ошибиться.

После самолетов Кейт разговаривал с ним по телефону, два раза, перекинулись несколькими словами, и только. Потом они вообще перестали созваниваться. О других игроках — пропавших без вести или пострадавших — сказать было вроде нечего, а отвлеченные темы, которые они могли бы обсуждать, не испытывая неловкости, как-то не шли на ум. Их общим языком был лишь покер, а с покером теперь покончено.

В классе ее одно время звали Разиней. Позже — Цаплей. Не в насмешку — не факт, что в насмешку; чаще всего к ней так обращались друзья, порой с ее же подачи. Она любила кривляться, пародируя модель на подиуме: острые локти, костлявые коленки да брекеты на зубах. Когда ее тело начало округляться, в город иногда наезжал отец, дочерна загорелый Джек, широко раскидывал руки, увидев ее — существо в очаровательную пору расцвета, обожаемое Джеком до последней клеточки, до последней капли крови. Потом он снова уезжал, но она помнила эти встречи, его осанку и улыбку, как он стоял, чуть согнув ноги в коленях, как выставлял челюсть. Он раскидывал руки, и она робко падала в его тесные объятия. Джек всегда был такой — обхватывал ее и тряс, в глаза заглядывал так глубоко, что иногда казалось: пытается понять, кто она и что их связывает.

Она была скорее брюнетка, не похожая на него, большеглазая и широкоротая, смотревшая на жизнь так серьезно, что люди порой пугались. Она была готова вдумываться в любое учение, любую идею. Это у нее от матери.

Отец Лианны часто говорил о ее матери: "Женщина сексапильная, только зад подкачал".

Лианна обожала эту запанибратскую вульгарность, приглашение разделить сугубо мужской взгляд на вещи, бесцензурность аллюзий, лукавство рискованных прибауток.

Нину в Джеке привлек его взгляд на архитектуру. Они познакомились на маленьком острове в северо-восточной части Эгейского моря, где Джек спроектировал комплекс белых оштукатуренных особняков для поселка художников. "Кучка домов на обрыве кажется с моря композицией из геометрических тел, почти неуловимо искаженных: словно аксиомы Евклида приспособили к миру элементарных частиц", — написала в статье Нина.

Здесь, на жестком топчане, во второй приезд и была зачата Лианна. Джек рассказал ей об этом, когда Лианне было двенадцать, и больше не затрагивал эту тему, пока не позвонил из Нью-Гемпшира, спустя десять лет, и сообщил ту же информацию теми же самыми словами: ветер с моря, жесткий топчан, долетавшая снизу, с набережной, музыка — какая-то восточная, в греческом стиле. Он позвонил за несколько минут или за несколько часов до того, как заглянуть в огнедышащее дуло ружья.

Они смотрели телевизор без звука.

— Мой отец застрелился, чтобы в моей жизни никогда не наступил день, когда он не смог бы меня вспомнить.

— Ты в это веришь.

— Да.

— Тогда и я верю, — сказал он.

— Ведь когда-нибудь он перестал бы меня узнавать, это факт.

— Верю, — сказал он.

— Вот почему он так поступил, только ради этого.

После лишней рюмки вина ее слегка развезло. Они смотрели ночной выпуск новостей; когда реклама закончилась, Кейт хотел было включить звук, но раздумал, и они молча смотрели, как на фоне унылого пейзажа, в Афганистане или Пакистане, корреспондент, оборачиваясь, указывает на далекие горы.

— Надо раздобыть ему книгу о птицах.

— Джастину, — сказал он.

— Они проходят птиц. Каждый ребенок должен выбрать себе птицу, и именно ее будет изучать. Это будет его или ее пернатое позвоночное. Его позвоночное — у мальчика. Ее позвоночное — у девочки.

На экране мелькали стандартные кадры — истребители, взлетающие с палубы авианосца. Он дожидался, пока она попросит его включить звук.

— Он говорил о пустельгах. Это что за зверь? — спросила она.

— Мелкий сокол. Мы их видели на проводах, когда ехали, где-то на Дальнем Западе... тогда, в другой жизни.

— В другой жизни, — повторила она, и рассмеялась, и, с силой оттолкнувшись от кресла, пошла в ванную.

— Не выходи оттуда безо всего, — сказал он, — дай мне посмотреть, как ты будешь раздеваться.

Флоренс Дживенс стояла и смотрела на матрасы, штук сорок-пятьдесят, разложенные рядами в угловом зале на девятом этаже. Люди испытывали их, кто на мягкость, кто на жесткость, — в основном женщины: присаживались и слегка подпрыгивали на месте, или ложились ничком. Флоренс не сразу заметила, что Кейт стоит рядом с ней, вместе с ней смотрит.

— Ты вовремя, — сказала она.

— Это ты вовремя. А я здесь уже не первый час, — сказал он, — на эскалаторах катаюсь.

Они пошли между рядами. Иногда она останавливалась взглянуть на этикетки и ценники, надавить ладонью на пружины.

Он сказал:

— Валяй, ложись.

— Как-то не хочется.

— А как иначе ты узнаешь, что тебе именно этот матрас нужен? Погляди по сторонам. Все так делают.

— Если ты ляжешь, то и я лягу.

— Мне матрас не нужен, — сказал он. — Матрас нужен тебе.

Она пошла дальше. Он стоял и смотрел. В зале было десять или одиннадцать женщин, которые лежали на кроватях, подпрыгивали на кроватях. Кроме них, подпрыгивала и перекатывалась по матрасам одна пара, мужчина и женщина: пожилые, деловитые, пытались определить, разбудят ли друг дружку беспокойными метаниями во сне.

Робкие женщины присаживались на матрас и, спустив ноги, подпрыгивали один-два раза. Но некоторые, скинув плащи и туфли, валились, как подкошенные, на какой-нибудь

"Ортопед-плюс" или "Золотой сон" и скакали вволю, то на одной стороне двуспального матраса, то на другой, и Кейт подумал, что тут занятно, удивительные вещи творятся в отделе матрасов в универмаге "Мейсиз", и посмотрел в другую сторону — а там тоже подпрыгивали еще восемь или девять женщин, один мужчина, один ребенок, проверяли удобство и добротность конструкции, не проваливается ли под спиной, не раздражает ли поролон на ощупь.

Флоренс уже там — сидит на краю кровати. Улыбнувшись ему, откинулась назад. Подпрыгнула, повалилась, изображая стеснительность в зале, где интимное вынесено на публику. Недалеко от Кейта стояли двое мужчин. Один из них что-то сказал другому. Сказал по поводу Флоренс. Что именно, Кейт не услышал, но это было неважно. Их позы, их пренебрежительные взгляды — ему стало ясно, что речь о Флоренс.

Кейт находился в десяти шагах от них.

Он произнес:

— Эй, мудак.

Они с Флоренс договорились встретиться здесь, наскоро перекусить где-нибудь неподалеку и разойтись по своим делам. Ей надо к врачу, ему — забрать Джастина из школы. То было свидание без шепота, без прикосновений, среди катающихся по кроватям незнакомцев и незнакомок.

Кейт снова произнес ту же фразу, погромче, и подождал, пока до мужчин дойдет. Занятно, как изменилось разделяющее их пространство. Ага, теперь они на него уставились. Тот, который что-то сказал про Флоренс, был толстый, в блестящем дутом пуховике: словно из пакетов для хрупкой посуды сшит. По проходу мелькали люди — размытые цветные пятна.

Оба мужчины смотрели на него. Воздух раскалился, наэлектризовался, толстяк в дутике хмуро насупился. Женщины подпрыгивали на матрасах, но Флоренс все видела и слышала: присела на край, не сводя с них глаз. Второй что-то говорил грузному, тот слушал, но не шевелился. Кейту было достаточно просто стоять и смотреть. А потом оказалось нет, недостаточно. Он подошел и врезал толстяку. Подошел, остановился, приготовился и, слегка размахнувшись, ударил правой. Ударил в скулу, всего разок, потом попятился, выждал. К горлу подступила злость. Соприкосновение распалило, захотелось продолжить. Он приподнял руки, выставляя ладони: мол, вот он я, валяй. Потому что, если кто угодно хоть словом заденет Флоренс, или поднимет на нее руку, или оскорбит ее, Кейт его убьет.

Мужчина в дутике, отшатнувшись, столкнулся со своим спутником. Потом развернулся и пошел в атаку, пригнув голову, расставив руки, точно мотоциклист, и прыжки на кроватях во всех рядах, от края до края, прекратились.

Кейт остановил его, опять ударив правой, на сей раз в глаз, а мужчина обхватил его и приподнял, на дюйм-два, и Кейт начал молотить его по почкам — удары в основном амортизировались дутиком. Со всех сторон их обступили: по проходам бежали продавцы, и охранники, и грузчик, бросивший свою тележку. Странное дело: в общем хаосе, после того как их разняли, Кейт почувствовал легкое прикосновение к своей руке, чуть выше локтя, — и сразу понял, что это Флоренс.

Каждый раз, когда по телевизору показывали те самолеты, она тянулась пальцем к кнопке "выкл." на пульте. Но все равно смотрела. Второй самолет, возникающий из ледяной голубизны неба, — вот кадры, которые вонзаются в тело, словно бы скользят под кожей; стремительный рывок, уносящий с собой жизни и биографии, их жизни и биографии, ее жизнь и биографию, жизни и биографии всех в какую-то иную даль — туда, за башни.

Ее память хранила драматичные картины неба: тучи, бури на море, гальваническое свечение перед раскатом грома в городе летом. Все это капризы своенравной стихии или что там повелевает погодой — воздушных потоков, водяного пара, пассатов. Тут было другое: безоблачное небо, нашпигованное людским ужасом — ужасом внутри самолетов, запятнавших голубизну, точно мазки краски: сначала первый, за ним второй; могущество человеческой целеустремленности. Он смотрел вместе с ней. Всеобщее бессильное отчаяние на фоне небосвода, голоса, взывающие к Богу, и до чего страшно помыслить: имя Бога на устах убийц и жертв одновременно, сначала один лайнер, за ним второй, с виду — прямо человечек из мультика, горящие глаза, горящая пасть... второй самолет, южная башня.

Вместе с ней он посмотрел эти кадры только один раз. Она почувствовала, что он близок ей, как еще никто и никогда, — именно сейчас, в этот миг, глядя, как бороздят небо самолеты. Стоя у стены, он дотянулся рукой до кресла и сжал ее пальцы. Она закусила губу, уставилась на экран. Все они умрут, пассажиры и экипажи, и тысячи в башнях умрут; знать это было необязательно, тело почувствовало: в Лианне все замерло. И она подумала: невероятно, это же он в одной из

башен, а теперь его рука сжимает ее руку, в тусклом свете экрана, сжимает, точно утешая после его смерти.

Он сказал:

— До сих пор кажется, что это случайность — когда появляется первый. Даже задним числом, полностью отстранившись, спустя столько дней, я стою здесь и думаю: случайность.

— Потому что иначе быть не может.

— Иначе быть не может, — сказал он.

— Телекамера смотрит как-то удивленно.

— Но только на первый.

— Только на первый, — сказала она.

— Второй самолет... Когда появляется второй, — сказал он, — мы все уже чуть умудреннее и старше.

8

Переход через парк вовсе не был для него ритуалом, праздником предвкушения. Аллея поворачивала на запад, и он огибал корты, почти не думая ни о комнате, где уже ждет она, ни о спальне чуть дальше по коридору. Они доставляли друг другу плотское наслаждение, но не это влекло его к ней снова и снова. Влекло другое, — то, что́ они вместе узнали вне времени, спускаясь по виткам спирали, — и он опять отправлялся к ней, хотя и сознавал, что нарушает новые правила, которые для себя выбрал. А правила такие: поступать вдумчиво, ответственно, не хапать все, что попадется.

Потом она говорила, как говорят всегда:

— Никак нельзя сделать, чтобы ты не уходил?

Он стоял у кровати голый.

— Мне всегда придется уходить.

— А мне всегда придется перетолковывать твой уход, придавать ему другое значение. Переделывать во что-то романтичное или эротичное. Чтоб никакой пустоты и одиночества. Думаешь, я умею перетолковывать?

Но так ли уж Флоренс несовместима с правилами жизни? Он ничего не хапает. Встречается с ней вовсе не для того, чтобы забыть о чем-то неприятном, осознанном в эти долгие странные дни и тихие ночи, в эти дни *после*. Мы живем во Время После. Отныне *до* и *после* — мерило всему.

— Я умею превращать одно в другое, не притворяясь? Я могу оставаться собой, или мне придется стать всеми ими — другими, теми, что провожают взглядом уходящих? Ведь мы с тобой — не чета другим, согласен?

А сама смотрела такими глазами, что он думал: наверно, я из тех, из других, стою тут у кровати, вот-вот скажу то, что говорят всегда.

Они сидели за угловым столиком, сердито уставившись друг на дружку. Кэрол Шоуп была в полосатой шелковой блузке-размахайке, лиловой с белым, — что-то персидское или мавританское.

Кэрол воскликнула:

— При нынешних обстоятельствах? Ты этого от меня ожидала?

— Я ожидала, что ты позвонишь и спросишь.

— Даже при нынешних обстоятельствах? Разве я могла даже затронуть эту тему?

— Но все-таки затронула, — заметила Лианна. — Только постфактум.

— Разве я могла попросить, чтобы ты взяла на редактуру такую книгу? После того, что случилось с Кейтом, и, вообще, после всего. Просто не представляю себе, откуда у тебя желание работать с такой книгой. Она заставляет окунуться во все это с головой: постепенно подводит к теме, разжевывает каждую мысль. А текст требует кропотливой работы — редкое занудство.

— Вы эту книгу издадите.

— Скрепя сердце.

— Сколько лет она колесила по издательствам?

— Скрепя сердце включили в план. Года четыре, если не пять, — сказала Кэрол. — Понимаешь, она как бы предсказывает то, что случилось.

— Как бы предсказывает.

— Статистические таблицы, отчеты компаний, чертежи архитекторов, схемы терактов. Чего в ней только нет.

— Вы эту книгу издадите.

— Написано плохо, выстроено плохо и, если честно, на редкость, чудовищно скучно. Кто ее только не футболил. В литагентствах и редакциях она стала легендой.

— Вы эту книгу издадите.

— Этот кирпич. Его ведь придется переписать. Строчку за строчкой.

— А кто автор?

— Авиационный инженер на пенсии. Мы его прозвали Унабомбер-2[1]. Конечно, он не живет один-одинешенек в гор-

1. Унабомбер — прозвище американского террориста-одиночки Теодора Джона Качинского, рассылавшего бомбы по почте.

ной хижине, и с химикатами не возится, и ежегодников своего колледжа не коллекционирует, но над книгой работал как проклятый лет пятнадцать-шестнадцать.

Деньги, по стандартам внештатников, наверняка платят хорошие: проект масштабный. А книга — из тех, которые надо издать без промедления: актуальная, автоматически попадающая в новости, даже пророческая (по крайней мере, так напишут в издательской аннотации), книга, подробно описывающая череду взаимодействующих глобальных факторов, столкновение которых в один момент и в одном месте вызвало взрыв; причем момент и место легко отождествить с неким утром в начале двадцать первого века, на рубеже лета и осени, в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

— Работа над этим кирпичом из тебя все соки выпьет на десять лет вперед. Только сухая информация. Факты, карты и графики.

— Но она как бы предсказывает.

Для такой книги нужен редактор-внештатник с ненормированным рабочим днем, вдали от всей этой расписанной по часам лихорадки телефонных звонков, писем, деловых ланчей и совещаний, в которой существуют штатные редакторы; лихорадки, входящей в их профессиональные обязанности.

— В нее включен длинный текст об угонах самолетов — типа трактата. И масса документов об уязвимости некоторых аэропортов. Даллес и Логан[1] выделены особо. Упоминается много событий, которые действительно произошли, когда книга была уже написана, или назревают сейчас. Уолл-стрит, Афганистан, то-се, пятое-десятое. Насчет Афганистана — не то, что было, а то, что сейчас назревает.

Лианне было наплевать, насколько неудобоваримым, запутанным и пугающим окажется текст, насколько неосновательными окажутся пророчества. Главное, что сбудется мечта. Она сама не подозревала, чего жаждет, пока Кэрол — мимоходом, сквозь зубы — не упомянула об этой книге. Лианна думала, что Кэрол пригласила ее в кафе, чтобы предложить работу. А оказалось, вопрос глубоко личный. Кэрол хотелось поговорить о Кейте. Единственная книга, о которой она обмолвилась, вовсе не предназначалась Лианне. Лианна, напротив, ни за какую другую книгу не взялась бы.

— Закажешь десерт?

— Нет.

1. Подразумеваются аэропорты в Вашингтоне и Бостоне.

Отстранись. Взгляни на все бесстрастно, как врач. Так посоветовал ей Мартин. Взвесь составные части. Собери их воедино. Извлеки из случившегося урок. Рассмотри во всех ракурсах, стань равновеликой тому, что случилось.

Кэрол хотелось поговорить о Кейте, послушать про Кейта. Кэрол хотелось заполучить его историю, их историю: как они воссоединились, поминутную хронику. Блуза на ней — не для ее фигуры, не для ее цвета кожи: подражание персидскому или мавританскому кафтану. Лианна это подметила. Ей нечего было рассказать этой женщине о Кейте — ничего интересного, ведь ничего интересного не произошло, а то, что произошло — слишком интимно, не расскажешь.

— Хочешь кофе?

— На днях я ударила по лицу женщину.

— За что?

— А за что людей бьют?

— Погоди. Ты ударила женщину?

— Если люди тебя бесят. Вот за что.

Кэрол посмотрела пристально.

— Выпьешь кофе?

— Нет.

— К тебе вернулся муж. У твоего сына есть отец, и он всегда рядом.

— Ничего-то ты не понимаешь.

— Прояви хоть чуточку радости. Покажи, что испытываешь облегчение, хоть что-то. Хоть какую-то эмоцию.

— Все только начинается. Неужели не понимаешь?

— Он к тебе вернулся.

— Ничего ты не понимаешь, — повторила она.

Официант стоял поодаль, дожидаясь, пока одна из них попросит счет.

— Ну хорошо, послушай. Если что-то изменится... — сказала Кэрол. — Например, если текст будет ей — редактору — не по силам. Или она не уложится в срок. Или ей покажется, что эта книга ломает всю ее жизнь, все, в чем она находила смысл двадцать семь лет. Я тебе позвоню.

— Позвони мне, — сказала Лианна. — А иначе — не звони.

С того дня — со дня, когда она не смогла вспомнить, где живет, — Розэллен С. больше не появлялась на занятиях. Кружковцы захотели написать о ней, и Лианна смотрела, как они работают, склонившись над блокнотами. Время от времени кто-нибудь поднимал голову, вглядывался в какое-то воспоминание или слово. Комната словно кишела словами, обозначающими неизбежное, и Лианна невольно задумалась о ста-

Отстранись. Взгляни на все бесстрастно, как врач. Так посоветовал ей Мартин. Взвесь составные части. Собери их воедино. Извлеки из случившегося урок. Рассмотри во всех ракурсах, стань равновеликой тому, что случилось.

Кэрол хотелось поговорить о Кейте, послушать про Кейта. Кэрол хотелось заполучить его историю, их историю: как они воссоединились, поминутную хронику. Блуза на ней — не для ее фигуры, не для ее цвета кожи: подражание персидскому или мавританскому кафтану. Лианна это подметила. Ей нечего было рассказать этой женщине о Кейте — ничего интересного, ведь ничего интересного не произошло, а то, что произошло — слишком интимно, не расскажешь.

— Хочешь кофе?

— На днях я ударила по лицу женщину.

— За что?

— А за что людей бьют?

— Погоди. Ты ударила женщину?

— Если люди тебя бесят. Вот за что.

Кэрол посмотрела пристально.

— Выпьешь кофе?

— Нет.

— К тебе вернулся муж. У твоего сына есть отец, и он всегда рядом.

— Ничего-то ты не понимаешь.

— Прояви хоть чуточку радости. Покажи, что испытываешь облегчение, хоть что-то. Хоть какую-то эмоцию.

— Все только начинается. Неужели не понимаешь?

— Он к тебе вернулся.

— Ничего ты не понимаешь, — повторила она.

Официант стоял поодаль, дожидаясь, пока одна из них попросит счет.

— Ну хорошо, послушай. Если что-то изменится... — сказала Кэрол. — Например, если текст будет ей — редактору — не по силам. Или она не уложится в срок. Или ей покажется, что эта книга ломает всю ее жизнь, все, в чем она находила смысл двадцать семь лет. Я тебе позвоню.

— Позвони мне, — сказала Лианна. — А иначе — не звони.

С того дня — со дня, когда она не смогла вспомнить, где живет, — Розэллен С. больше не появлялась на занятиях. Кружковцы захотели написать о ней, и Лианна смотрела, как они работают, склонившись над блокнотами. Время от времени кто-нибудь поднимал голову, вглядывался в какое-то воспоминание или слово. Комната словно кишела словами, обозначающими неизбежное, и Лианна невольно задумалась о ста-

рых фотографиях на паспорт, висящих на стене в квартире матери, — коллекция Мартина, лица, выглядывающие из пожелтевших далей, затерянные во времени.

Круглый штемпель консульства в уголке фото.

Гражданское состояние владельца, пункт отправления.

Royaume de Bulgarie.

Embassy of the Hashemite Kingdom.

Turkiye Cumhuriyeti[1].

Люди, сидящие перед ней — Омар, Кармен, остальные, — представились ей словно бы на фото. Изолированы от мира, внизу — подпись, или подпись прямо на фотокарточке, поперек груди; женщина в шляпке-"колокол"[2], молодая еще женщина еврейской наружности, Staatsangehorigkeit[3], в лице и глазах — больше чем сосредоточенность перед трансатлантическим путешествием, лицо женщины почти скрыто тенью от шляпки, а по бордюру круглого штемпеля изгибаются буквы "Napoli".

Работы безымянных фотографов, образы, отщелканные машиной.

Унифицированность этих фотографий, их бюрократическое предназначение, стандартные позы — все это, как ни парадоксально, позволяло заглянуть в жизнь изображенных. Она впервые поняла, как страдает человек в тисках государства. Увидела, как люди бегут — оттуда сюда, — и черные беды распирали рамки кадра. Отпечатки пальцев, косые кресты на гербах, мужчина с закрученными усами, девушка с двумя косами. Наверно, контекст я домысливаю, подумала она. О людях с фотографий она ничего не знала. Знала только фотографии. В том, как выглядели паспорта старых времен, в материальной фактуре прошлого, ей виделись целомудренность и уязвимость: люди перед дальней дорогой, люди, которых больше нет.

Как красива эта выцветшая жизнь, подумала она, жизнь, что дышит в фотокарточках, словах, языках, подписях, отпечатанных типографским способом правилах.

Кириллица, греческий алфавит, китайские иероглифы.

Dati e connotati del Titolare[4].

Les Pays Etrangers[5].

1. Болгарское царство (*франц.*). Посольство Хашемитского королевства (*англ.*). Республика Турция (*турецк.*).
2. Шляпка без полей по моде 20–30-х годов XX века.
3. Подданство (*нем.*).
4. Личные данные и особые приметы владельца (*итал.*).
5. Зарубежные страны (*франц.*).

Она смотрит, как кружковцы пишут о Розэллен С. Чья-то голова вскидывается и вновь склоняется; сидят и пишут. Она знает: в отличие от владельцев паспортов, эти люди не выглядывают из пожелтевшей мглы, а теряются во мгле. Вскидывается другая голова, и третья, и Лианна пытается ни с кем не встречаться взглядом. Скоро все они поднимут глаза. Впервые с тех пор, как она начала вести занятия в кружке, ее вдруг охватил страх: что-то они скажут, что зачитают вслух по своим разлинованным листкам?

Он стоял в этом большом зале, почти у дверей, и смотрел, как накачивают мышцы. Люди в возрасте от двадцати до сорока расположились вразброд в разных рядах, на степперах и эллиптических тренажерах[1]. Он прошелся между первым и вторым рядами, ощущая какое-то странное родство с этими мужчинами и женщинами. Они, поднатужившись, отпихивали от себя железные санки с грузами, крутили педали стационарных велосипедов. Здесь были и гребные тренажеры, и похожие на пауков изотонические. Задержавшись в дверях силового зала, он увидел крепышей, застывших на корточках между безопасными штангами: они мало-помалу приподнимались, брали вес, казалось, не силой мышц, а лишь потому, что громко кряхтели. Неподалеку — женщины у скоростных боксерских груш, били то левой, то правой; другие разрабатывали мышцы ног — скрестив руки, прыгали на одной ножке через скакалку.

С ним был сопровождающий, молодой человек в белом, сотрудник фитнес-центра. Кейт остановился на краю широкого открытого пространства: куда ни глянь, люди делают упражнения, кровь циркулирует. Семенят по беговым дорожкам или бегут на месте, и нет в них ни тени единообразия, никакой задавленности регламентом. Атмосфера полной целеустремленности и какой-то первозданной, патриархальной чувственности: женщины выгнуты или согнуты в три погибели, только локти и колени видны и шеи с набухшими жилами. Но не только это объединяет его с ними. Здесь собрались люди, которых он понимает, насколько вообще способен кого-то понимать. Те, с кем он может стоять локоть к локтю во Время После. Наверно, это он и чувствует: духовную общность, родство, основанное на доверии.

Он прошелся между задними рядами; сопровождающий плелся следом, ждал вопросов. Кейт осматривался. Когда он

1. Степпер — тренажер, имитирующий подъем по лестнице. Эллиптический тренажер — устройство для тренировки всех групп мышц.

выйдет на работу — в ближайшие дни, — ему придется всерьез заниматься в спортзале. После восьми или десяти часов в офисе негоже сразу бежать домой. Потребуется сжигать лишнее, экзаменовать свое тело, обратить свой взор внутрь, укреплять силу мышц, выносливость, гибкость, психическое здоровье. Ему понадобится узда дисциплины, некий комплекс ритуальных действий, добровольная повинность, помогающая перед возвращением домой освободиться от злости на все и вся.

Мать опять задремала. Лианне хотелось домой, но она сознавала: пока не время. Всего пять минут назад Мартин вскочил и, не сказав ни слова, удалился; нехорошо, если Нина проснется одна в пустой квартире. Лианна пошла на кухню, нашла фрукты, сыр. Когда она мыла под краном грушу, из гостиной послышался какой-то звук. Лианна завернула воду, прислушалась, вернулась в гостиную. Мать разговаривала с ней.

— Иногда я вижу сны, когда сплю лишь вполглаза, неглубоко, — а сны снятся.

— Пора нам с тобой перекусить — и мне, и тебе.

— Прямо кажется: сейчас раскрою глаза и увижу наяву то, что снится. Ерунда какая-то, правда? Сновидение — не у меня в голове, а вокруг.

— Это все от обезболивающих. Ты их слишком много пьешь, неоправданно много.

— Физиотерапия — это больно.

— Ты же упражнений не делаешь.

— А значит, я и лекарств не принимаю.

— Не смешно. Один из препаратов, которые ты пьешь, вызывает привыкание. Как минимум, один.

— Где мой внук?

— Там же, где был, когда ты в прошлый раз о нем спрашивала. Вопрос не в нем. Вопрос в Мартине.

— Трудно представить, что однажды, рано или поздно, мы перестанем препираться на эту тему.

— Он прямо рвет и мечет.

— Как он рвет и мечет, ты еще не видала. У него это застарелая черта характера, еще до нашего знакомства появилась.

— А вы знакомы двадцать лет, верно?

— Верно.

— Но что было до вашего знакомства?

— Он участник событий своей эпохи. Всех смут, о которых ты знаешь. Он действовал.

— Стены голые. Инвестирует в искусство и живет с голыми стенами.

— Почти голые. Да, в этом весь Мартин.

— Мартин Риднур.

— Да.

— Ты ведь мне однажды сказала, что это ненастоящее имя?

— Не знаю. Может быть, — пробормотала Нина.

— Раз я слышала, значит от тебя. Это его настоящее имя?

— Нет.

— Кажется, ты мне его настоящего имени не называла.

— А, может, я настоящего и не знаю.

— Двадцать лет.

— Не беспрерывно. Собственно, с долгими интервалами. Он где-то там, я где-то сям.

— У него есть жена.

— И она не там и не сям, в каком-то третьем месте.

— Двадцать лет. Ты с ним путешествуешь. С ним спишь.

— К чему мне его имя? Он — Мартин. Что нового я о нем теперь узнаю, узнав имя?

— Вот имя и узнаешь.

— Он — Мартин.

— Узнаешь, как его зовут. Это же приятно.

Мать указала подбородком на две картины на стене.

— Когда мы только познакомились, я заговорила с ним о Джорджо Моранди. Показала ему альбом. Прекрасные натюрморты. Форма, цвет, чувство пространства. Он совсем недавно занялся своим бизнесом и о Моранди почти не слыхал. Поехал в Болонью — посмотреть работы своими глазами. Вернулся и сказал: нет, нет, ни за что. Второстепенный художник. Буржуйский, пустопорожний, зацикленный на себе. Мартин его разгромил с марксистских позиций.

— Прошло двадцать лет.

— И он видит форму, цвет, пространство, красоту.

— Это более прогрессивная эстетика?

— Он видит свет.

— Или художника, который умеет себя продавать или себя обманывать. Комментирует в духе собственника.

— Мартин видит свет, — сказала Нина.

— И деньги тоже видит. Работы-то очень недешевые.

— Да, очень. И сперва я гадала, как они к нему попали, совершенно серьезно. Подозреваю, в начале пути он иногда приторговывал краденым.

— Занятный тип.

— Однажды он мне сказал: "Я был кое в чем замешан. — И добавил: — Это не значит, что моя жизнь интереснее твоей. Ее можно приукрасить. Но в памяти, в глубине души, — ска-

зал он, — ярких красок или увлекательных поворотов немного. Только серый цвет, только ожидание. Сидишь, дожидаешься. — Он сказал: — Все, знаешь ли, такое... нейтральное".

Она ловко — пожалуй, чуть-чуть озлобленно — передразнила его акцент.

— Чего же он дожидался?

— Наверно, исторического момента. Толчка к действию. Прихода полицейских.

— Полицейских? Из какого отдела?

— Не тех, кто расследует кражи произведений искусства. Одно я знаю. В конце 60-х он был членом коммуны. "Коммуны 1"[1]. Ходил на демонстрации против ФРГ — против фашистского государства. Фашистского в их понимании. Сначала они швырялись яйцами. Потом перешли на бомбы. Потом... точно не знаю, чем он занимался. Кажется, одно время жил в Италии — в смутные времена, когда действовали "Красные бригады". Но точно не знаю.

— Не знаешь.

— Да.

— Двадцать лет. Вместе едите и спите. И не знаешь. Ты его спрашивала? Допытывалась?

— Однажды он показал мне объявление. Несколько лет назад, когда мы встретились с ним в Берлине. У него там квартира. Объявление о розыске преступников. Немецких террористов начала 70-х. Девятнадцать имен, девятнадцать лиц.

— Девятнадцать.

— Подозреваются в убийствах, взрывах, ограблениях банков. Он его хранит — зачем хранит, не знаю. Но зачем мне показал — понимаю. Его лица там нет.

— Девятнадцать.

— И мужчины, и женщины. Я их сосчитала. Может быть, он входил во вспомогательную группу или в резервную ячейку. Не знаю.

— Не знаешь.

— Он думает, что эти... джихадисты... он думает, у них есть что-то общее с радикалами 60—70-х. Думает, все они — дети одной традиции. У них тоже есть теоретики. Тоже есть концепции мирового братства.

— Они что, будят в нем ностальгию?

— Не сомневайся, я с ним об этом поговорю.

1. Коммуна левых радикалов, существовавшая в Западном Берлине с 1967 по 1969 гг. Члены коммуны устраивали эпатажные акции протеста — например, призывали поджигать универмаги, чтобы "идти в ногу с модой — приобщиться к атмосфере пылающего Вьетнама".

— Голые стены. Почти голые, ты сказала. Это от тоски по старому? Дни и ночи в подполье, где-то прячешься, отказываешься от мало-мальского комфорта в быту. Может быть, он кого-то убил. Ты не спрашивала? Не допытывалась, не было ли такого?

— Послушай, если бы он натворил что-то серьезное: убил, тяжело ранил, — гулял бы он сейчас на свободе, сама посуди? Он больше не скрывается, если вообще скрывался. Ездит сюда, катается по всему свету.

— Действует под чужим именем, — сказала Лианна.

Она сидела на диване, лицом к матери, наблюдая за ней. Никаких слабостей она за Ниной никогда не замечала — насколько помнила, ни одной, ни тени малодушия, никаких отступлений от трезвых, бескомпромиссных оценок. А теперь поймала себя на том, что готова воспользоваться брешью в обороне — и подивилась. Готова выжать из шанса все, не давать Нине спуску, терзать, вгрызаться.

— Столько лет. Даже не допытывалась. Ты только посмотри, в кого он превратился — каким мы его знаем. Именно таких людей они считали врагами, верно? Эти, объявленные немцами в розыск. Похитить гада. Сжечь его картины.

— Ну, по-моему, это он осознает. Думаешь, нет?

— Но что ты все-таки знаешь? Неужели не расплачиваешься за неведение?

— Расплата — мое дело. Заткнись, — сказала мать.

Нина вытащила из пачки сигарету, зажала в руке. Казалось, она размышляет о чем-то далеком, скорее взвешивает, чем вспоминает, оценивает масштабы, значимость.

— Единственная стена, на которой что-то висит, — в Берлине.

— Объявление о розыске.

— Объявление не висит. Объявление он держит в кладовке, в тубусе. Нет, это маленькая фотография в неказистой рамке, висит над его кроватью. Мы с ним вдвоем, любительский снимок. Стоим у церкви в каком-то городке в горах Умбрии. На следующий день после знакомства. Он попросил женщину, которая шла мимо, нас сфотографировать.

— Отчего эта история меня бесит?

— Его зовут Эрнст Хехингер. А история тебя бесит, потому что ты думаешь, что она меня позорит. Означает, что у меня на совести сентиментальный жест, бабская глупость. Дурацкий туристский снимок. Единственное произведение искусства, которое он держит на виду.

— Ты не пыталась выяснить: этого Эрнста Хехингера полиция не разыскивает? Полиция какой-нибудь европейской

страны? Просто чтобы знать. Чтобы больше не говорить: не знаю.

Ей хотелось проучить мать — но не за Мартина или не только за Мартина. Причина была ближе и глубже и, в сущности, касалась одного-единственного момента. Главное, как они вдвоем живут, как крепко сцеплены, точно руки, сложенные в молитве — ныне и во веки веков.

Нина закурила, выдохнула дым. При взгляде на нее казалось: выпускать изо рта дым — тяжелая работа. Снова клюет носом. Ей прописали лекарство, в котором содержится фосфорокислый кодеин, и до самого последнего времени Нина принимала этот препарат осторожно. Собственно, она всего несколько дней — наверно, с неделю — перестала делать предписанные упражнения, но дозы болеутоляющих не уменьшила. Лианна считала это слабоволие капитуляцией, а главной причиной капитуляции — Мартина. Эти его девятнадцать товарищей — те угонщики, те джихадисты, — пусть даже только в воображении ее матери.

— Над чем ты сейчас работаешь?

— Книга о древних алфавитах. Все виды письменности, всё, чем люди писали и на чем писали.

— Наверно, интересно.

— Тебе стоит прочесть.

— Наверно, интересно.

— Интересно, сложно, иногда очень занятно. И рисунки тоже. Рисуночное письмо. Когда выйдет, я тебе принесу.

— Пиктограммы, иероглифы, клинопись, — сказала мать. Казалось, она грезит вслух. — Шумеры, ассирийцы и так далее.

— Я тебе принесу книгу, обязательно.

— Спасибо.

— Да не за что, — сказала Лианна.

Тарелка с сыром и фруктами осталась на кухне. Она еще немного посидела с матерью и пошла за едой.

Троих игроков называли только по фамилии: Докери, Ромси, Хованис, а двоих — по имени: Деметриус и Кейт. Терри Чен звался Терри Чен. Как-то один из них сказал Ромси (это был Докери, остряк-копирайтер), что вся его жизнь — жизнь Ромси — сложилась бы иначе, если изменить в его фамилии всего одну букву. Поменять "о" на "и". Сделать из него Римси. Это "о", "ром", предопределило его жизнь и натуру. Как он говорит, как ходит, его вялость и сутуловатость, даже его рост и фигуру, его медлительность и тугодумие, заметные даже слепому, и как он засовывает руку за пазуху — почесаться. Все бы-

ло бы иначе, родись он Римси. Они сидели и ждали, что скажет Р., смотрели, как он сник, придавленный диагнозом.

Она спустилась в полуподвал с полной корзиной грязного белья. Тесная серая комната, сырость, духота, стиральная машина, сушилка, стужа с металлическим — прямо челюсти сводит — привкусом.

Она услышала шум сушилки и, переступив порог, увидела Елену: та прислонилась к стене, руки сложены на груди, в пальцах сигарета. Елена не подняла глаз.

Некоторое время они слушали, как белье скачет в барабане. Потом Лианна поставила свою корзину и открыла дверцу стиральной машины. На фильтре осели катышки с чужого белья — белья этой женщины.

Окинув фильтр взглядом, она вытащила его из машины и протянула Елене. Та замешкалась, потом взяла фильтр, осмотрела. Не меняя позы, не глядя, дважды стукнула фильтром по стене, на которую опиралась. Снова глянула на него, затянулась сигаретой и передала фильтр Лианне: та взяла его, осмотрела, положила на сушилку. Кинула свои вещи в машину — отбирала темные, хватала и швыряла — и снова надела фильтр на мешалку, или на трясучку, или как там она называется. Засыпала порошок, выбрала на пульте опции, установила таймер, тоже расположенный на пульте, закрыла крышку. И повернула ручку, включая машину.

Но из комнаты не ушла. Предположила, что белье в сушилке почти высохло — иначе зачем эта стоит тут и ждет? Предположила: эта спустилась сюда всего несколько минут назад, увидела, что белье еще не досохло, и решила подождать, а не ходить вверх-вниз по лестнице. Со своего места Лианне плохо был виден таймер, а демонстративно подходить и смотреть не хотелось. Но и уходить она не собиралась. Встала у стены, перпендикулярной той, к которой, полусползая на пол, прислонилась эта женщина. Их ограниченные поля зрения, вероятно, пересекались где-то в середине комнаты. Лианна стояла прямо, чувствуя, как отпечатывается на лопатках рельеф щербатой стены.

Стиральная машина ревела, сушилка тряслась и щелкала: пуговицы блузок бьются о стенки барабана. Вопрос не в том, победит ли она в этой игре "Кто кого переждет?" Вопрос в том, что эта женщина сделает с сигаретой, если докурит раньше, чем высохнет белье. Вопрос в том, обменяются ли они взглядами прежде, чем эта уйдет. Комната была точно монашеская келья, где два гигантских молитвенных колеса выстукивали литанию. Вопрос в том, последуют ли за взглядами слова, и что тогда.

На планете был дождливый понедельник, а она шла пешком в жилой комплекс "Годзилла", где мальчик после уроков проводил время у Брата-с-Сестрой, играл на компьютере.

В школе она в такие дни обычно сочиняла стихи. Дождь и стихи – между ними было что-то общее. Позднее что-то общее появилось у дождя и секса. Обычно стихи были про дождь: каково сидеть в четырех стенах и глядеть, как скатываются по стеклу одинокие капли.

На ветру зонтик был бесполезен. Ветер, швыряясь струями, прогоняет людей с улиц, стирает отличительные признаки эпохи и местоположения. Такая погода возможна где угодно, и такое настроение – тоже, царит усредненный понедельник, и она жалась к стенам домов, через улицы перебегала, а добравшись до долговязой краснокирпичной "Годзиллы", почувствовала: вертикальный воздушный поток вколачивает ее в тротуар. Наскоро выпила кофе с Изабель, матерью Брата-с-Сестрой, оторвала сына от компьютера и напялила на него куртку. Он хотел остаться подольше, и дети хотели, чтобы он остался. Она заявила им: "Я злодейка, настоящая, компьютерным не чета".

Кэти проводила их до двери. Она была в закатанных до колена красных джинсах и высоких замшевых сапожках; при движении вдоль ранта мерцали неоновые огоньки. Брат Роберт держался поодаль – темноглазый мальчик, казавшийся слишком застенчивым для того, чтобы разговаривать, есть, гулять с собакой.

Зазвонил телефон.

Лианна сказала девочке:

– Вы тут, часом, за небом не следите, а? Прочесываете глазами небо круглые сутки? Не следите. Или следите?

Девочка покосилась на Джастина и улыбнулась лукаво, заговорщически, безмолвно.

– Мне он не говорит, – сказала Лианна. – Я все время спрашиваю.

– Нет, не спрашиваешь, – вмешался Джастин.

– Но если бы спросила, ты бы мне не сказал.

Глаза у Кэти загорелись. Она упивалась происходящим, предвкушала шанс поупражняться в изворотливости. Ее мать была занята – говорила по телефону, висящему на стене в кухне.

Лианна сказала девочке:

– А вы всё ждете знака? Всё ждете самолетов? Круглые сутки у окна? Нет. Не думаю.

Наклонилась к девочке, произнесла театральным шепотом:

— Всё разговариваете с этим человеком? С человеком, чьего имени некоторым из нас знать не положено.

Брат побледнел. Замер истуканом у Кэти за спиной, пристально созерцая паркет между сапог сестры.

— Он где-то там болтается, невесть где, заставляет вас пялиться на небеса? Человек, имя которого, пожалуй, знаем мы все, даже кому не полагается.

Джастин подергал ее за рукав: мол, пойдем скорей домой.

— Может быть, может быть... Я вот что думаю. Может быть, ему пора исчезнуть. Человеку, имя которого мы все знаем.

Кэтино лицо у нее в руках, она стискивает виски девочки, вцепляется в щеки, в уши: капкан защелкнулся

На кухне мать разговаривала повышенным тоном — какая-то проблема с кредитной картой.

— Может быть, давно пора. Как ты думаешь, он исчезнет? Может быть, тебе надоело. Надоело или как? Может быть... может быть, хватит всматриваться в небо, хватит разговоров о человеке, которого я имею в виду. А ты как думаешь? Хватит или не хватит?

Кэти поникла. Попыталась взглянуть влево, на Джастина, — мол, что происходит? — но Лианна надавила сильнее, а Джастина заслонила другой рукой, насмешливо улыбаясь девочке.

Брат, кажется, готов был провалиться сквозь землю. Дети растерялись и слегка перепугались, но не это заставило Лианну отпустить Кэти. Просто настало время уходить, и всю дорогу в лифте, с двадцать седьмого этажа до холла, она думала о человеке-мифе, обещавшем, что самолеты прилетят снова, о человеке, чье имя все они знают. Правда, она это имя запамятовала.

Дождь уже ослаб, ветер поутих. Они шли, не говоря ни слова. Она пыталась вспомнить имя. Безуспешно. Мальчик не желал идти под зонтом — держался в четырех шагах позади. Имя какое-то простое — это-то она помнила, но именно простые имена у нее не держатся в памяти.

9

В тот день, распрощавшись с кружковцами, она помедлила — уходить что-то не хотелось. Вышла из общественного центра и зашагала в западном направлении, думая не о дне самолетов, а о другом дне, до которого недолго осталось ждать, — дне, когда занятия вынужденно прекратятся. Кружковцы

приближались к этой грани, и Лианна понимала, что вряд ли у нее хватит духу набрать новую группу; все повторится, шесть-семь человек, шариковые ручки и разлинованные блокноты, и, конечно, чудесное превращение их автобиографий даже не в рассказ, а в поэму; но повторится и безрассудство: они всё знают наперед, однако им плевать... Поразительное и отважное неведение... И ее собственные попытки докопаться, каково было отцу. Все по новой.

Ей хотелось домой — дойти до дома пешком и обнаружить на автоответчике сообщение от Кэрол Шоуп. Пожалуйста, позвони мне как можно скорее. Только предчувствие, но она ему доверилась и знала, что́ будет означать это сообщение — что редакторша отказалась от книги. Она войдет в дверь, услышит короткое сообщение и поймет, что книга доконала редакторшу: в патологически-дотошных деталях сам черт ногу сломит. Ей хотелось войти в квартиру и увидеть, что на телефоне светится номер. Это Кэрол, позвони мне как только. Шесть слов — но каков подтекст! Кэрол любит так выражаться, оставляя сообщения на автоответчике. Позвони мне как только. В этой фразе, в финальной настойчивости есть некое обещание, благой знак.

Она шла, не выбирая дороги, к западу по Сто шестнадцатой, мимо парикмахерской и музыкального магазина, фруктовых лавок и пекарни. Повернула на юг, прошла пять кварталов и тут, покосившись направо, увидела высокую стену из изъеденного ветрами гранита — опору рельсов надземки, по которым поезда возят людей на работу и домой, в город и за город. Лианна тут же подумала о Розэллен С., отчего — сама не знала. Двинулась к стене и набрела на здание с вывеской "Церковь Великого тракта избавления"[1]. Лианна замешкалась, постепенно осмысляя название, заметила над входом нарядную лепнину, на коньке крыши — каменный крест. На фасаде — доска объявлений с расписанием. Воскресенье: воскресная школа, Утреннее прославление Господа, пятница — Прославление избавления и изучение Библии. Лианна стояла и думала. Вспомнился разговор с доктором Эптером — его рассказ о том, как Розэллен забыла, где живет. Лианна не могла думать об этом спокойно — о миге, когда к горлу подступит комок и все куда-то провалится: улицы, имена, все запечатленные в памяти схемы. Теперь она поняла, отчего на этой улице ощущается присутствие Розэллен. Здесь, в этом храме,

1. Церковь Великого тракта избавления — христианская евангелическая церковь, возникла в начале XX века, имеет отделения в нескольких штатах США.

имя которого — как возглас "Аллилуйя!", та нашла убежище и руку помощи.

Лианна опять остановилась и задумалась. Она думала о языке, на котором Розэллен изъяснялась на последних в своей жизни занятиях, пока еще могла их посещать, о том, как Розэллен изобретала разветвленные варианты каждого слова во всех грамматических формах и синтаксических сочетаниях — наверно, они служили своеобразной защитой, оттягивали финальное превращение сознания в чистый лист, когда даже самый горький стон — только стон, а не проявление горя.

"Скажем ли прощай, да, ухожу, я уходя, уходящая, прийти уйти, уйду".

Вот все, что она смогла вспомнить из неровных строчек на последних листках Розэллен.

Он пересек парк в обратном направлении. Бегуны казались вечными — кружили вокруг пруда, и он попытался не думать о последних тридцати минутах у Флоренс: о том, как говорил, роняя слова в ее молчание. Тоже вечность — но другого сорта, неподвижность ее лица и тела, вне времени.

Встретил мальчика у школы, пошли на север, против ветра, несущего смутный намек на дождь. Какое облегчение — есть о чем поговорить: о том, что Джастин проходит в школе, о его друзьях и учителях.

— Куда мы идем?

— Мама сказала, что из Верхнего Манхэттена, с занятий кружка, вернется пешком. Давай ее перехватим.

— Зачем?

— Устроим сюрприз. Подкрадемся незаметно. Поднимем ей настроение.

— А как мы узнаем, какой дорогой она идет?

— В этом и весь интерес. Прямой дорогой, окольной дорогой, медленно она идет или быстро.

Он говорил против ветра, не совсем с Джастином. А сам оставался там, с Флоренс, раздвоившись, шагал одновременно туда и обратно, пересекал парк навстречу самому себе, два Кейта, одна сущность, вниз сквозь дым, — и снова сюда, где безопасно, где семья, где последствия твоих поступков.

Через сто дней, плюс-минус несколько, ему исполнится сорок. Возраст его отца. Отца и дядьев. Вечно сорокалетние, поглядывающие на него исподлобья. Неужели он вот-вот сделается человеком, подпадающим под четкое и ясное определение, мужем и отцом — наконец-то сможет, подобно своим родителям, находиться дома и телом, и душой?

В те последние минуты он стоял спиной к окну, глядя на стену напротив, где висела фотография: маленькая Флоренс, в белом платье, с отцом и матерью.

Мальчик сказал:

— Куда пойдем? По этой улице или по той?

Прежде он едва замечал снимок, а теперь, увидев ее с родителями, не затронутую последствиями того, что он сейчас скажет, почувствовал: горло перехватывает. Она нуждалась не в нем, а в его внешнем спокойствии — даже если сама не сознавала. Он знал: она благодарна ему за спокойствие, за умение почувствовать накал ее боли. Он — неподвижный силуэт, взгляд, неослабевающее внимание, почти никаких реплик. То, к чему ей хочется прижаться. Но теперь ее черед молчать, смотреть на него, стоящего у окна, слышать мягкий голос, сообщающий ей, что их история окончена.

Пойми, сказал он.

"Пойми" — что тут еще скажешь? Он смотрел, как ложится свет на ее лицо. Вот оно: былой надлом, так и не отступивший в прошлое окончательно, возвращается в ее жизнь, и ничего не поделаешь. Оттого, что рана предрешена, болит ничуть не меньше.

Она еще немного постояла у храма. Со школьного двора по соседству — около линии надземки — слышались голоса. На перекрестке стоял регулировщик — стоял сложа руки: по узкому проезду с односторонним движением, между тротуаром и бастионом из щербатых каменных блоков, машины проезжали редко.

Мимо пронесся поезд.

Она пошла к перекрестку, зная: дома на автоответчике никаких сообщений нет. Все рассеялось — исчезло предчувствие, что сообщение ждет. Четыре слова. Позвони мне как только. Она сказала Кэрол: пусть не звонит, если не сможет дать ей пресловутую книгу. А книги нет — есть, да не про нашу честь.

Мимо проехал другой поезд — на сей раз в южном направлении, и она услышала крик — что-то по-испански.

С этой стороны колеи тянулись многоквартирные дома, муниципальные; дойдя до перекрестка, Лианна повернула голову направо и увидела за школьным двором крыло какого-то здания, в окнах — головы, наверно, с полдюжины, высоко — на девятом, десятом, одиннадцатом этажах, и тут снова голос, кто-то окликает, женщина, и Лианна увидела, что школьники, не все — некоторые, отвлеклись от игр, задрали головы, стали осматриваться.

К забору медленно приближался учитель — высокий мужчина, — размахивая свистком на ремешке.

Лианна задержалась на перекрестке. Из муниципальных домов доносились все новые голоса, и она снова взглянула на дома, прикидывая, куда смотрят люди. Смотрели они вниз на рельсы, на северный путь, в точку почти непосредственно над головой Лианны. Тут Лианна заметила школьников — некоторые, не все, пятились по двору к стене школы — и догадалась: пытаются лучше рассмотреть, что там такое, на рельсах.

Мимо проехала машина, оглушив звуками радио.

Еще через минуту в поле зрения появился он: мужчина, видны только голова и плечи. Человек за сеткой забора, ограждающего пути. Это не дорожный рабочий — во всяком случае, он без огненно-оранжевого жилета.

Вот все, что увидела Лианна. Увидела его голову и плечи и услышала, что школьники перекликаются, игры сразу прекратились.

Казалось, человек пришел из ниоткуда. Станции в этом месте нет — ни кассы, ни перрона; как только он умудрился забраться на рельсы? Белый мужчина, подумала она. В белой рубашке и темном пиджаке.

На улице стало очень тихо. Прохожие косились и шли своей дорогой; некоторые ненадолго останавливались, кто помоложе — медлил. По-настоящему увлеклись зрелищем дети на школьном дворе и жильцы муниципальных домов по правую руку от Лианны — все больше лиц маячило в окнах верхних этажей.

По-видимому, он белый, одет в деловой костюм, при галстуке; нашел в ограде калитку, вышел и спускается по лесенке-трапу.

И в этот момент Лианна, разумеется, все поняла. Смотрела, как он спрыгивает с лесенки на платформу, которой пользуются путейцы: она выступает над насыпью, нависает над улицей чуть южнее перекрестка. Лианну осенило — хотя предчувствие возникло раньше, когда она даже не видела, кто там, на рельсах. Стало понятно по лицам в окнах наверху — особое выражение лиц, предуведомляющее. Бывает, что предугадываешь даже не глядя. Он самый, кому же еще.

Он замер на платформе — прямо над Лианной, на высоте примерно трех этажей. Все тут было рыжевато-ржавого оттенка: верхние ярусы грубо отесанного гранита, калитка, из которой мужчина только что вышел, и сама платформа — сооружение из стальных прутьев наподобие гигантской пожарной лестницы, площадью шесть на двенадцать футов, в нор-

мальных обстоятельствах на платформу могут попасть только путейцы с рельсов или с улицы. С улицы, если приедут на специальной машине с подъемником.

Прошел еще один поезд — опять в южном направлении. Почему он именно здесь? — задумалась она.

Он думал, не слушал. Но постепенно, пока они шли, иногда переговариваясь, начал прислушиваться — и заметил, что мальчик снова изъясняется словами не длиннее двусложных.

— Брось дурить, — сказал он ему.

— Что?

— "Брось дурить". Как тебе эти два коротких слова?

— Что?

— Брось дурить, — сказал он.

— Тогда буду молчать.

— А мама тебе не велит отмалчиваться.

— Я не молчу, а ты мне: "Молчи".

Освоил метод. Мальчик натренировался, говорит почти без запинки. Развивающая игра переросла во что-то большее: в упрямую прихоть, чуть ли не в ритуал.

— Послушай, мне пофиг. Если хочешь, болтай хоть по-эскимосски. Выучи эскимосский. У них алфавит не из букв, а из слогов. Будешь разговаривать слогами. На одно слово уйдет полторы минуты. Я не тороплюсь. Трать время без счета. Между слогами — долгие паузы. Питаться будем китовым жиром, а ты будешь разговаривать по-эскимосски.

— Не хочу есть мясо кита.

— Не мясо, а китовый жир.

— Мясо, жир — одно и то же.

— Скажи "китовый жир".

— Жир есть жир. Это жир. Жир кита.

Ишь ты умник малолетний.

— Главное, что маме не нравится, когда ты так разговариваешь. Она из-за этого расстраивается. Давай-ка дадим ей пожить спокойно. Это ты можешь понять. А если и не поймешь — просто не разговаривай так.

Мешанина облаков потемнела. Пожалуй, зря он это затеял — зря пытается перехватить ее по дороге домой, подумал Кейт. Они прошли один квартал на восток и снова двинулись на север.

У него появилась еще одна мысль насчет Лианны. Он расскажет ей о Флоренс. Если по-честному — надо рассказать. Опасная правда приведет их к взаимопониманию, равноправному и прочному, снимет двусмысленность, оба почувствуют любовь и доверие. Кейт не сомневался: рассказать надо.

Это спасет от раздвоенности, выведет из нервозного сумрака недомолвок.

Он расскажет ей о Флоренс. Она скажет, что догадывалась: что-то происходит, но раз связь совершенно нестандартная, началась в огне и дыму, его проступок простителен.

Он расскажет ей о Флоренс. Она скажет, что понимает, как горяча их связь, потому что завязка совершенно нестандартная, в огне и дыму, — и потому ей нестерпимо больно.

Он расскажет ей о Флоренс. Она возьмет кухонный нож и его зарежет.

Он расскажет ей о Флоренс. Она перестанет с ним разговаривать. Будет страдать молча.

Он расскажет ей о Флоренс. Она скажет: но мы же только что вдохнули новую жизнь в наш брак. Она скажет: после того, как нас воссоединил страшный день самолетов. И теперь тот же страшный день?.. Скажет: и тот же страшный день теперь разрушит наши взаимные чувства и все, что воскресло во мне за эти несколько недель?

Он расскажет ей о Флоренс. Она скажет: "Хочу с ней познакомиться".

Он расскажет ей о Флоренс. Ее периодическая бессонница перерастет в постоянную, потребуется курс лечения: диета, таблетки, сеансы психотерапии.

Он расскажет ей о Флоренс. Она будет проводить больше времени у своей матери, и мальчик с ней, станет засиживаться там до позднего вечера, а Кейт, вернувшись из офиса, будет бродить по пустой квартире, словно в тоскливую пору своего изгнания.

Он расскажет ей о Флоренс. Она потребует доказать, что между ним и Флоренс действительно все кончено, а он докажет, потому что так и есть: кончено, насовсем и без обмана.

Он расскажет ей о Флоренс. Она испепелит его взглядом и наймет адвоката.

Она услышала какой-то звук, покосилась вправо. А, на школьном дворе мальчик бьет по баскетбольному мячу, это называется дрибблинг. Звук казался неуместным, но мальчик не играл в баскетбол — просто шел, вел мяч, рассеянно ударяя им об асфальт, шагал к забору, задрав голову, не отрывая глаз от фигуры наверху.

Следом потянулись другие. Теперь, когда человек на платформе был виден целиком, школьники двинулись от стены здания к забору. Человек прикрепил к перилам платформы альпинистский пояс. Школьники сбежались с разных концов двора, чтобы увидеть все вблизи.

Лианна попятилась. Отошла вбок, вплотную к угловому дому. Стала озираться — хоть бы просто переглянуться с кем-то. Поискала взглядом регулировщика — нету, пропал куда-то. Она жалела, что не может внушить себе: это только претенциозный уличный театр, абсурдистский спектакль, который должен подтолкнуть случайных зрителей к коллективному прозрению, сдобренному усмешкой — к постижению всей иррациональности то ли мироздания, то ли очередного шажка по тротуару.

Но нет — слишком серьезно, слишком знакомо. Слишком бередит душу. Лианне многого не требовалось — лишь бы переглянуться с кем-нибудь, перехватить взгляд, увидеть свои переживания на лице другого. Она и не подумала, что отсюда можно уйти. Он был прямо у нее над головой, а она не смотрела — и все равно не уходила. Уставилась на учителя на той стороне улицы: стиснув в кулаке свисток — ремешок болтается, — он схватился свободной рукой за сетку ограды. Услышала сверху чей-то голос — из многоквартирного дома на углу, женщина в окне.

— Что вы делать? — спросил женский голос.

Он звучал с высоты — откуда-то выше, чем платформа. Лианна не стала задирать голову. По левую руку улица была пустынна — только из арки под насыпью вышел какой-то оборванец с велосипедным колесом в руках. Налево — вот куда посмотрела Лианна. И тут снова — женский голос.

— Звоню девять один один, — сказала женщина.

Лианна попыталась понять, почему он здесь, именно здесь. Район, где бывают лишь местные: жильцы в окнах, дети на школьном дворе. Про Падающего было известно, что он появляется в местах скопления народа или там, где легко собрать толпу. А тут — бездомный старик катит по улице колесо. А тут женщина в окне, не ведающая, кто он такой.

Новые голоса — из муниципальных домов и со школьного двора, — и Лианна снова подняла глаза. Он балансировал на перилах платформы. Перила были широкие и плоские, и он на них стоял: темно-синий костюм, белая рубашка, темно-синий галстук, черные ботинки. Нависал над тротуаром, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях и раздвинуты, ассиметрично; человек, которому страшно, взгляд сосредоточенный — точно со дна омута, всматривается в пространство. пространство мертвое, погибшее.

Лианна юркнула за угол. Напрасный порыв — чисто символическое бегство, удлиняющее дистанцию между ними всего на пару ярдов. Впрочем, определенная логика есть: а если он взаправду упадет, если пояс не выдержит? Она стала

наблюдать за ним, уткнувшись плечом в кирпичную стену дома. Даже не догадывалась, что можно просто повернуться и уйти.

Все ждали. Но он не падал. Целую минуту простоял на перилах. И еще минуту. Держал позу. Женщина в доме повысила голос:

— Эй, вы, нельзя тут быть.

Дети окликали его — выкрикивали неизбежное "Прыгай", но не все, только двое или трое, потом вообще замолчали; а из муниципальных домов голоса все еще слышались — скорбный зов в сыром воздухе.

И тут Лианну осенило. Да, это перформанс, но не для прохожих или людей в окнах. Он стоит там, где стоит, вдали от персонала и охраны метро, потому что дожидается поезда — поезда в северном направлении; вот что ему нужно — публика в движении, публика, которая промчится в нескольких ярдах от него.

Лианна подумала о пассажирах. Поезд вырвется из тоннеля с южной стороны и начнет сбавлять ход перед станцией на Сто двадцать пятой улице — до нее три четверти мили. Поезд пройдет, и он прыгнет. Из одних вагонов увидят, как он стоит, из других — как прыгает, но все всполошатся, отвлекутся от дремы, от газет, от тупых разговоров шепотом по мобильному. Эти люди не видели, как он надел альпинистский пояс. Они увидят лишь, как он сорвался и пропал из виду. И тогда, подумала она, все, кто уже говорит по телефону, и другие, которые за телефоны схватятся, — все попытаются описать то, что увидели сами, или пересказать со слов соседей.

В сущности, все они смогут утверждать только одно. Кто-то упал. Человек свалился вниз. Что, если в этом и состоит его замысел: разнести весть по мобильной связи, из уст в уста, как было с башнями и захваченными самолетами.

Или она домысливает его намерения? Выдумывает их, потому что для ее собственных мыслей места не осталось: слишком крепко ее сознание сплавилось с происходящим.

— Сейчас объясню, что я пытаюсь сделать, — сказал он.

Они миновали витрину супермаркета, беспорядочно обклеенную рекламой.

Мальчик прятал руки в рукавах.

— Я пытаюсь прочесть ее мысли. Какой путь она выберет — по Первой авеню, по Второй, по Третьей, или станет петлять, заворачивать туда-сюда.

— Ты это уже говорил.

Привычка недавняя: натягивает рукава свитера на кисти рук. Оба кулака стиснуты: в каждом зажат край рукава, чтобы не задирался. Иногда наружу торчит кончик большого пальца, да костяшки угадываются под шерстью.

— Говорил. Верно. Но я не говорил, что прочту ее мысли. Прочти-ка ее мысли, — сказал он, — и поделись со мной выводами.

— Может, она передумала. Едет сейчас на такси.

Книги и школьные принадлежности он носит в рюкзаке, руки свободны — вот и прячет в рукавах. Кейт подумал, что обычно такое проделывают мальчишки постарше, которым хочется обратить на себя внимание. Джастину еще рано.

— Она сказала, что пойдет пешком.

— А может, на метро поехала.

— На метро она больше не ездит. Сказала, что пойдет пешком.

— А что плохого в метро?

У мальчика дурное настроение, всему перечит, идет, волоча ноги, подметил он. Сейчас они шли на запад — где-то между Девяносто восьмой и Сотой, на каждом перекрестке останавливались и всматривались вдаль, пытаясь угадать ее среди силуэтов и лиц. Джастин притворялся, что ему надоело, отходил к бровке тротуара, разглядывая грязь и мелкий мусор. Недоволен, что его лишили права изъясняться короткими словами.

— Ничего плохого в метро нет, — сказал Кейт. — Может быть, твоя правда: она на метро поехала.

Он расскажет ей о Флоренс. Она выжидающе на него уставится. Он ей скажет, что, говоря начистоту, это были не те отношения, которые люди подразумевают под словом "роман". Это был не роман. Да, был секс, но никаких амуров. Чувства — да, были, но их породили особые обстоятельства, над которыми он не властен. Она промолчит, выжидая. Он скажет, что свидания с Флоренс уже начинают казаться ему помрачением ума — да, вот самое подходящее слово. В таких случаях, скажет он, человек потом оглядывается на прошлое с ощущением, что стал персонажем какой-то невероятной истории, — это он уже осознал, уже почувствовал. Она будет сидеть и смотреть на него. Он подчеркнет, как недолго все это длилось, встречи можно счесть по пальцам.

Он не из тех юристов, которые выступают в суде, но все же формально юрист, хотя даже сам едва в это верит, и он честно взвесит свою вину и изложит факты, сопутствовавшие недолгой связи, и особо выделит ключевые обстоятельства, которые столь часто и столь уместно именуют смягчающими.

Она будет сидеть в кресле, в которое никто никогда не садится, в кресле красного дерева, придвинутом к стене между письменным столом и книжными полками, а он будет смотреть на нее, выжидая.

— Скорее всего, она уже дома, — сказал мальчик, шагая одной ногой по желобу для дождевой воды, другой — по поребрику.

Они миновали аптеку и турагентство. Кейт что-то заметил впереди. Обратил внимание на походку женщины, которая как-то неуверенно переходила улицу в неположенном месте. Посреди мостовой она замялась. На секунду ее заслонило такси, но Кейт понял: что-то стряслось. Он наклонился к мальчику, стукнул его ладонью по плечу, не отрывая глаз от фигурки впереди. Когда она дошла до угла на их стороне улицы, оба уже бежали к ней.

Она услышала: по северному пути приближается поезд. И увидела: человек на платформе напрягся. Готовится. Рокот поезда — низкий, басовитый с регулярными перепадами, словно бы заданная последовательность нот повторяется снова и снова; казалось, по приближению шума можно отсчитывать десятые доли секунды. Мужчина уставился на кирпичную кладку углового дома, уставился, точно незрячий. Лицо ничего не выражает, но сосредоточено: взгляд вглубь себя. Что он вообще делает, в конце-то концов? Хоть понимает, что делает, или как? Подумалось: своими пустыми глазами он созерцает, конечно же, собственный внутренний мир, а не какой-то страшный пейзаж с падающими из окон телами. Но она-то почему здесь: зачем встала и наблюдает? А затем, что увидела где-то рядом своего мужа. Увидела его приятеля — того, с которым он ее знакомил, или, нет, другого, или выдумала кого-то и увидела: высоко в окне в клубах дыма. Затем, что не вправе закрыть глаза, — или просто сил лишилась, стоит, стиснув ремень сумочки.

Поезд с грохотом подходит, и он поворачивается к нему лицом, вглядывается (вглядывается в свою смерть в огне) и, чуть погодя, снова отвернувшись, прыгает.

Прыгает. Нет, падает. Валится вперед, весь закаменевший, и падает по-настоящему, вниз головой; на школьном дворе восхищенно ахают, кто-то испуганно вскрикивает, и пролетающий мимо грохот поезда лишь частично заглушает эти нестройные звуки.

У нее екнуло сердце. Но падением дело не кончилось, дальше — хуже. Под конец он как бы подпрыгнул в воздухе и вниз головой повис на тросе, в двадцати футах от мостовой.

Скок: словно ударился о воздух и срикошетил, после отдачи — неподвижность, руки по швам, одна нога согнута в колене. Видеть эту стилизованную позу, положение торса и конечностей — судя по всему, таков его коронный прыжок — почему-то было нестерпимо больно. Но хуже всего — бездвижность и то, что он совсем рядом, она к нему стоит ближе всех. Заговорить с ним? Но он на другой плоскости бытия, вне зоны доступа. Он не шевелился, а в ее голове безостановочно мчался поезд, превратившись в размазанное пятно, звуковой потоп рассыпался на капли отголосков, бомбардировал его, и у него приливала к вискам кровь, а у нее — отливала.

Задрав голову, она не увидела женщины в окне — и след простыл. Все-таки стронулась с места, прижималась к стене, опустив голову, ориентируясь на ощупь — проводила рукой по шершавым кирпичам. У него глаза открыты, а она пробирается ощупью. Миновав фигуру, качающуюся на тросе, сразу метнулась на середину тротуара, ускорила шаг.

И чуть не столкнулась со стариком в рванье: тот стоял, уставившись на перевернутую фигуру в воздухе. Казалось, тоже держит позу, стискивая пергаментной рукой велосипедное колесо, так и стоит здесь полжизни. Судя по выражению лица, все его мысли, насколько это возможно, сосредоточились на одном предмете. Он видел перед собой нечто, разительно непохожее на то, что встречалось ему прежде, когда время текло в обычном русле. Он пока не научился видеть это правильно, не отыскал в мироздании нишу, которая это вместит.

Лианна осталась для старика невидимкой. А она зашагала быстрее, подгоняя себя, мимо других муниципальных домов все того же бесконечного микрорайона; улица, еще улица. Упрямо не поднимала голову, видела вокруг только мелькающие силуэты: то виток колючей проволоки поверх низкого забора, то полицейская машина, едущая на север, ей навстречу: сине-белая вспышка, лица людей внутри. Машина напомнила о нем: он остался там, висит в неизменной позе; дальше мысль не двигалась, упиралась в заслон.

Она осознала, что уже не идет, а бежит: сумка бьется о бедро. Она сохраняла их сочинения, сочинения членов группы, тех, что на ранней стадии: складывала листки в папку, которую носила с собой, чтобы дома пробить отверстия дыроколом и надеть страницы на колечки.

Улица почти пустынна, по левую руку — склад. Она думала о том, как полицейская машина остановится прямо под висящим. Бежала она довольно быстро, перед мысленным взором мелькали листки из папки и имена кружковцев, имя и первая

буква фамилии, под такими именами она их знала, под такими воспринимала, а сумка отбивала ритм, колотила по бедру, задавала ей темп, из которого нельзя выбиваться. Теперь она бежала вровень с поездами, а потом побежала над ними, поднималась в гору, прямо в ребристое небо с охапками высоких облаков, ронявших капли крови на нижние ярусы.

Она подумала: наложил на себя руки.

Резко прекратила бег и замерла, согнувшись, задыхаясь. Уставилась на асфальт. Почувствовала, что опустошена как никогда: такого с ней не бывало даже после самых продолжительных утренних пробежек. Она раздвоилась на двух Лианн: одна бежала, а другая не понимала зачем. Подождала, пока дыхание войдет в норму, выпрямилась. Две девочки, сидевшие на крыльце многоквартирного дома, разглядывали ее. Она медленно дошла до верха улицы, взобравшейся на холм, и снова остановилась, и немного постояла, а поезда выезжали из одной дыры в земле и ныряли в другую, где-то южнее Сотой улицы.

Она отнесет листки — написанное ими — домой и присоединит к более ранним, пробитым дыроколом и насаженным на колечки в папке, уже несколько сотен накопилось. Но первым делом проверит автоответчик.

Она перешла улицу на "красный" и, замешкавшись на людном перекрестке, увидела их: они бежали к ней. Яркие, они лавировали в серой обезличенной толпе. Небо было близко — казалось, рукой подать. В них ключом била жизнь, которую нельзя отложить на завтра, — потому они и спешили, и она вскинула руку: авось заметят ее в гуще лиц, на тридцать шестой день после самолетов.

В *Нокомисе*

У него была собственная карта "Виза", свой номер в системе накопительных скидок "Постоянный клиент авиакомпаний". В его распоряжении был автомобиль "мицубиси". Он похудел на двадцать два килограмма и перевел эту цифру в фунты, умножив на 2,2046. Солнце на побережье Мексиканского залива иногда сильно припекало. Хаммаду это нравилось. Они сняли небольшой оштукатуренный домик на Уэст-Лорел-роуд; от бесплатного кабельного телевидения Амир отказался. Дом был розовый. В первый день они уселись за стол и поклялись истово выполнять свою обязанность — для каждого из них, согласно клятве на крови, она состояла в том, чтобы убивать американцев.

Хаммад толкал тележку по залу супермаркета. Для этих людей он был невидимкой, и они становились невидимками для него. Правда, на женщин он иногда поглядывал: на девушку за кассой, то ли Мег, то ли Пег. Он знал то, чего ей и за десять жизней не вообразить. В ливне света он уголком глаза различал тонкий, мягкий, шелковистый пушок на ее предплечье, а однажды обронил какую-то фразу, и в ответ кассирша улыбнулась.

Учеба в летной школе у него не задалась. Он сидел в качающемся кресле тренажера и пытался угадать правильное решение, соответствующее условиям полета. Остальные, почти все, учились лучше. Амир — уж конечно. Амир уже водил небольшие самолеты и брал дополнительные часы на тренажерах "боинга-767". Иногда он расплачивался наличными, деньгами, которые переводили из Дубая. Они опасались, что власти прочтут их зашифрованные электронные письма. Что списки авиапассажиров отслеживают, и все банковские операции с суммами выше определенного лимита — тоже. А вот Амир не опасался. Получал любые суммы в одном банке во Флориде, просто по переводам на свое настоящее имя — указывал и имя, и фамилию: Мохамед Атта. Он ведь был, в сущности, никто невесть откуда.

Теперь они брили щеки. Ходили в футболках и хлопчатобумажных брюках. Хаммад толкал свою тележку по проходу к кассе, а когда что-то сказал, кассирша улыбнулась, но так его и не увидела. Их задача — оставаться незамеченными.

Он знал свой вес в фунтах, но не оповещал об этом других и даже про себя этим не гордился. Переводил метры в футы, умножая на 3,28. В доме постоянно жили двое или трое; другие приезжали и вскоре уезжали, но не так часто и не такие возбужденные, как когда-то на Марienштрассе. Они перешли на следующую ступень — всесторонней и целеустремленной подготовки. Теперь пылал только Амир. Амир был как электроток, из глаз капал огонь.

Похудел Хаммад в Афганистане, в учебном лагере, где начал понимать, что смерть сильнее жизни. Там его поглотил пейзаж: водопады, замерзшие на бегу, небо без конца и края. Там все было ислам: реки, ручьи. Подбери с земли камень, зажми в кулаке: это ислам. Пройди по деревням: у каждого на устах имя Аллаха. Впервые в жизни он испытал такие чувства. Надел пояс с взрывчаткой и понял: теперь он мужчина, наконец-то готов преодолеть расстояние, отделяющее его от Бога.

Он ездил на "мицубиси" по сонным улицам. Однажды — надо же! — видел машину, в которую втиснулось человек шесть-

семь; они курили и смеялись, молодые парни и девушки — студенты, наверно. А что, если вылезти из своей машины и сесть к ним, это же легко? Распахни дверцу на ходу, перейди шоссе и — к их машине, ступай по воздуху, и потяни на себя дверцу, и садись.

Амир переходил с английского на арабский, цитируя: "Аллах истребляет народ или селение лишь в назначенное Им время, которое известно только Ему".

Здешняя жизнь — каждая деталь, этот мир газонов, существующих для полива, и бесконечных рядов домашней утвари в магазинах — сплошная иллюзия, беспрерывная. В лагере на ветреном плато из них сделали мужчин. Они стреляли из автоматов и взрывали фугасы. Обучались высочайшей форме джихада, которая состоит в том, чтобы проливать кровь, свою кровь и чужую. Люди поливают газоны и едят гамбургеры. Хаммад иногда заказывал еду на дом — что уж отрицать. Молился пять раз на дню, иногда реже, иногда ни разу. Смотрел телевизор в баре недалеко от летной школы и с удовольствием воображал себя на экране: силуэт в рамке металлодетектора, заснят на видео по дороге на посадку.

Но их же и близко к самолетам не подпустят, правда же? У властей — списки подозрительных и тайные агенты. Власти умеют читать волны, которые летят из твоего мобильника к башне, а оттуда — в космос, к спутнику связи, а со спутника — на мобильник человека, который едет на машине по йеменской пустыне. Амир больше не говорил о евреях и крестоносцах. Теперь речь шла только о тактике, о расписаниях авиарейсов, запасах топлива и доставке людей из одного пункта в другой, в нужный момент в нужное место.

Эти люди, бегающие трусцой по парку, олицетворяют мировое господство. Старики в шезлонгах, белые тела, набухшие вены, бейсболки — они правят нашей планетой. А сами когда-нибудь об этом задумываются? — гадает Хаммад. Интересно, видят ли они его, стоящего рядом: чисто выбрит, в кроссовках.

Пришло время прервать все контакты с отцом и матерью. Он написал им письмо, сообщил, что уезжает на некоторое время по делам. Написал: устроился в конструкторское бюро, скоро меня повысят по службе. Я по вам соскучился, написал он, а потом порвал письмо и швырнул клочки в бурный поток воспоминаний.

В лагере ему дали кинжал, который раньше принадлежал одному саудовскому принцу. Какой-то старик, орудуя плетью, заставил верблюда встать на колени, потом, схватив уздечку, задрал его голову к небу, и Хаммад перерезал животному горло.

Оба они одновременно вскрикнули — и он, и верблюд, завопили истошно, и в душе глубоко-глубоко взыграла радость воина: он ее почувствовал, попятившись, увидев, как валится верблюд. Широко раскинул руки, а потом поцеловал окровавленный кинжал и вскинул к небу, выражая наблюдателям — мужчинам в халатах и чалмах — свою благодарность и почтительность.

Один, приехавший ненадолго, не знал, как называется город, где они размещались, в окрестностях другого города — Венайса. То ли забыл название, то ли вообще не интересовался. Хаммад подумал: правильно, что толку в названии. Город Нокомис. Да пусть все это рассыплется в прах. Пусть все останется в прошлом, хотя мы тут пока еще ночуем и утоляем голод. Всё — прах. Машины, дома, люди. Всё это — пылинка праха в огне и всполохах грядущих дней.

Они проводили в доме ночь и уезжали, поодиночке или по двое, появлялись время от времени, а иногда рассказывали ему о женщинах, которые спали с ними за деньги, ну ладно, спали и спали, он к рассказам не прислушивался. Ему хотелось что-то одно, хоть раз в жизни, сделать, как надо. Здесь они посреди неверия, в кровеносной системе кяфиров[1]. Он и его братья воспринимают все одинаково. Чувствуют, как подчиняют их себе опасность и изоляция. Чувствуют магнетическое притяжение заговора. Заговор сблизил их как никогда. Заговор сузил окружающий мир до крохотной щелки, где все сходится в одну точку. Так судьба предъявляет на них права — вот для чего вы рождены, знайте это. Иного не дано, вы — избранные, и избрали вас не здесь, а в дальних странах, на мусульманском ветру, в мусульманском небе. И смерть тоже предъявляла права, решительнее всего прочего: это высочайший джихад.

Но обязательно ли покончить с собой, чтобы что-то совершить в этом мире?

У них были программы-тренажеры. Они играли в компьютерные игры-симуляторы, воспроизводящие полет. Автопилот реагирует на отклонение от заданного курса. Стекло кабины выдерживает столкновение с птицей. У него был большой лист со схемой кабины экипажа в "боинге-767". Он изучал ее в своей комнате, запоминал, где какие тумблеры и приборы. Другие называли схему его женой. Он переводил литры в галлоны, граммы в унции. Сидя в кресле в парикмахерской, смотрелся в зеркало. Его здесь нет — это и не он вовсе.

Практически перестал менять одежду. Каждый день надевал одну и ту же рубашку, одни и те же брюки, так же обхо-

1. Кяфир — иноверец (*араб.*).

дился с бельем. Брился, но практически не раздевался, часто спал в одежде. Другие делали замечания, назойливо придирались. Как-то он сдал свою одежду в прачечную, а сам надел чужую. Неделю проходил в чужой одежде и предложил, чтобы ее владелец носил его выстиранные вещи — ему все равно: что стираное, что грязное.

Мужчины и женщины с нечистыми глазами смеются в телевизоре, их войска оскверняют Край двух святынь[1].

Амир уже совершил паломничество в Мекку. Он — хаджи, он выполнил свой долг: прочел заупокойную молитву салят альджаназа, объявил себя собратом тех, кто умер в дороге. Хаммад не жалел, что в его жизни этого не было. Вскоре они исполнят иной долг, неписаный: все они, все вместе, станут мучениками.

Но обязательно ли покончить с собой, чтобы найти верную дорогу, сохранить свое достоинство?

Об этом Хаммад размышлял. Вспоминал, что́ сказал Амир. Амир мыслил четко, прямолинейно и методично, не увязал в дебрях.

Амир говорил, бросал слова ему в лицо.

Конец нашей жизни предопределен. Нас ведут к этому дню с самого мига нашего рождения. Никакой священный закон не запрещает того, что мы собираемся сделать. Это не самоубийство в любом понимании или толковании слова. Все предначертано издавна. Мы находим дорогу, которая уже выбрана для нас.

Глядишь на Амира и видишь: эта жизнь слишком жарко пылает, чтобы продлиться лишнюю минуту, — наверно, потому, что он никогда не был с женщиной.

Но вот еще что, думал Хаммад. Пускай человек кончает с собой при таких обстоятельствах — ладно. Но как же жизнь других людей, которых он забирает с собой?

Ему совсем не хотелось говорить об этом с Амиром, но как-то раз он все-таки заговорил, когда они остались в доме вдвоем.

А как же другие, те, кто умрет?

Амир нетерпеливо замотал головой. Сказал: они ведь в принципе уже это обсуждали в Гамбурге, в мечети и на квартире.

А как же другие?

Амир ответил коротко: других нет. Другие существуют лишь постольку, поскольку играют роль, которую мы им поручили. Это их функция: они ведь другие. Те, кто умрет, не имеют прав на свою жизнь — зато их смерть принесет пользу.

1. Край двух святынь — неформальное название Саудовской Аравии, где находятся две величайшие святыни мусульман — Мекка и Медина.

На Хаммада это произвело сильное впечатление. Целая философия.

Две женщины, шелестя на ходу — их длинные юбки шелестят, — идут вечером по парку, одна из женщин босиком. Хаммад сидел на скамейке, наблюдал, потом встал и пошел за ними. Секундой раньше с ним что-то случилось: так бывает. тебя словно выдергивают из твоего тела, оно догоняет тебя не сразу. Он шел за женщинами только до улицы, до края парка, проводил их взглядом, и они затерялись вдали, промелькнули, как перевернутые страницы книги.

Стекло кабины выдерживает столкновение с птицей. Элерон — это подвижный щиток.

Молитва, сон, молитва, еда. Едят дурацкие гамбургеры. почти всегда молча. Заговор предопределяет каждый его вдох и выдох. Вот истина, которую он всегда искал, не зная. как ее назвать и где взять. Они вместе. К этому сводятся любые слова, что ни скажи, что ни скажут он и другие.

Один из них очищает апельсин и начинает разделять на дольки.

Ты, Хаммад, слишком много думаешь.

Все это готовилось тайно, годами.

Ага, понял.

Я видел, сам видел тех, кто нас готовил. Они ходили по лагерю, когда мы там были.

Ага. Но мыслям конец.

И разговорам.

Ага. Теперь мы делаем дело.

Он передает дольку Хаммаду — тот за рулем.

Мой отец, — говорит еще один, — мой отец согласился бы триста раз умереть, только бы узнать, что мы сейчас делаем.

Умираем только раз.

Только раз и насовсем.

Хаммад думает: как сладко, когда бомбы со вставленными детонаторами давят на грудь и поясницу.

Но не забудь: в любую минуту нас может остановить ЦРУ. говорит другой.

И срывается на хохот. Наверно, их уже не остановить. Наверно, про ЦРУ — это только байка, которую они так часто рассказывали себе сами, что перестали верить. Или, наоборот, тогда не верили и только теперь, когда час близок, поверили. В любом случае Хаммад не видит тут ничего смешного

Что сказать о людях, за которыми он наблюдал? Им бы постыдиться своей привязанности к жизни — вы только поглядите, как они собак выгуливают. Только задумайтесь: собак

месят лапами грязь, автоматические поливалки шипят на газонах. Когда он видел, что с залива приближается буря, ему хотелось раскинуть руки и пойти ей наперерез. Эти люди: то, чем они так дорожат, в наших глазах — пустое место. Он не думал о цели своей миссии. Видел только одно: шок и смерть. Никакой цели нет — в этом и цель.

Шагая по ярко освещенному залу между полок, он тысячу раз в секунду успевает подумать о том, что́ грядет. Чисто выбритый, на видеозаписи, проходящий через рамку детектора. Девушка на кассе перекатывает по сканеру банку с консервированным супом, и он думает, чего бы такого забавного сказать, сначала произносит про себя, чтобы не перепутать порядок слов.

Он смотрел поверх саманных хижин на горы. Черный капюшон и жилет с взрывчаткой. Мы готовы умереть, а они — нет. В этом наша сила: возлюбить смерть, почувствовать, как предъявляет на нас права мученическая смерть с оружием в руках. Он стоял вместе с другими на бывшем русском медном руднике, где теперь лагерь афганцев, их собственный лагерь, и они слушали голос, усиленный колонками, зовущий с той стороны равнины.

Жилет был из голубого нейлона, с лямками крест-накрест. В пояс вшиты контейнеры с мощной взрывчаткой. Высоко на груди — плитки пластита. Метод другой — не тот, который однажды применят он и его братья, но взгляд на небеса и ад, на месть и истребление — тот же. Они стояли и слушали записанное на пленку объявление — зов на молитву.

Теперь он сидит в кресле в парикмахерской, закутанный в полосатую накидку. Парикмахер щуплый, неразговорчивый. По радио — новости, погода, спорт, пробки. Хаммад не слушает. Снова размышляет, глядя мимо лица в зеркале — все равно это вовсе не он, — и ждет наступающего дня, безоблачного неба, слабых ветров, когда размышлять станет уже не о чем.

Часть третья
Дэвид Дженнэк

10

Они прошли пешком от старта до финиша: двадцать кварталов на север, затем на поперечную улицу, а потом свернули на юг и до самой Юнион-сквер, примерно две мили в потогонный зной, вместе с полицейскими в касках и бронежиле-

тах, малышей родители несли на закорках. Шли по мостовой — они и еще полмиллиона: пестрый человеческий рой от тротуара до тротуара, плакаты и транспаранты, футболки с надписями, гробы, задрапированные черной тканью; марш против войны, против президента и его курса.

Органы чувств перегружены впечатлениями — но тем острее она ощущает, как от всего этого далека. В небе простреко тали полицейские вертолеты, на перекрестке стояли шеренгой какие-то мужчины: скандировали лозунги, ругали демонстрантов.

Джастин взял буклет у женщины в черной шали. Руки у нее были разрисованы хной, взгляд, устремленный в пространство, ускользал от чужих взглядов. Люди останавливались поглазеть на платформу, где что-то горело: фигура из папье-маше; толпа уплотнялась, возник затор. Она попыталась взять мальчика за руку — но какое там, прошли те времена. Ему десять лет, он хочет пить: мальчик отстранился, пробрался сквозь толпу на другую сторону улицы, где торговали газировкой, прямо из ящиков. Неподалеку дежурили полицейские — человек двенадцать, заняли позицию у строительных лесов, затянутых красной сеткой. Здесь они придержат чересчур пылких и неуправляемых.

К ней подошел какой-то мужчина, вразвалочку вышел из толпы: чернокожий, прижимает руку к сердцу. И сказал:

— У Чарли Паркера сегодня день рождения.

Поглядел куда-то в ее сторону, но не на нее, мимо, потом отошел и сказал то же самое мужчине в футболке с "пацификом", и в его укоризненном тоне она уловила намек, что все эти люди, все полмиллиона в кроссовках, панамах и одежде с символическими изображениями — дураки набитые: в жару и духоту собрались ради какой-то непонятной цели, хотя могли бы высыпать на улицу такими же полчищами по серьезному поводу — помянуть Чарли Паркера в день его рождения.

Будь здесь ее отец — Джек, — он бы, скорее всего, согласился с этим мужчиной. Ничего не поделаешь: между ней и ними ощущается дистанция, прогал. Эта толпа не воскрешала в ней чувства сопричастности. Она здесь ради мальчика: пусть окунется в гущу инакомыслия, увидит, услышит, почувствует доводы против войны и произвола. Ей же самой хотелось только одного — отойти в сторону. За три истекших года, с того сентябрьского дня, частной жизни не стало — вся жизнь публична. Раненое общество взывает многоголосно, и его ропот нашептывает тебе полуночные мысли, когда остаешься наедине с собой. Ее вполне устраивал тихий, втиснутый в узкие рамки распорядок, которому она в последнее

время подчиняла свою жизнь: планировать день за днем, продумывать детали, ни во что не ввязываться, держаться поодаль. Стряхнуть с себя гнев и предчувствия. Стряхнуть ночи, которые кружат по нескончаемым бессонным циклам самоедства. Теперь, среди демонстрантов, она глядела, точно издалека, на картонные гробы и транспаранты на палках, на конную полицию, на анархистов, швыряющих бутылки. Это так, ритуальные пляски, через миг — как ветром сдует.

Мальчик обернулся, уставился на того мужчину, который протискивался сквозь толпу и время от времени останавливался повторить свое объявление.

— Джазовый музыкант, — пояснила она. — Чарли Паркер. Умер лет сорок-пятьдесят назад. Дома я тебе найду какие-нибудь старые долгоиграющие пластинки. Диски-гиганты. Чарли Паркер. По прозвищу "Птица". Почему, не спрашивай. Нет, не спрашивай "Почему не спрашивать?" — я просто не знаю. Найду пластинки, и послушаем. Но ты мне напомни. А то забуду.

Мальчик набрал еще буклетов. На периферии марша стояли люди, раздававшие материалы в защиту мира, справедливости, предварительной регистрации избирателей, каких-то параноидальных правдоискательских акций. Он изучал листовки на ходу, крутя головой, чтобы видеть и демонстрантов вокруг, и печатное слово в руках.

Оплачьте погибших. Вылечите раненых. Прекратите войну.

— Не перенапрягайся. Иди себе, почитать еще успеешь.

— Ага, конечно, — сказал он.

— Если ты пытаешься совместить прочитанное с увиденным — не факт, что они совместимы.

— Ага, конечно, — сказал он.

Новая привычка: на любую реплику отвечать снисходительно "ага, конечно". Она подтолкнула мальчика к тротуару, и он выпил содовую в тени, прислонившись к стене дома. Заметила, что он мало-помалу сползает по стене — демонстративно, дает ей понять, как устал от жары и долгого марша. Но не то чтобы протестует — скорее разыгрывает спектакль.

Наконец он опустился на корточки: крохотный сумоист. Занялся буклетами, один рассматривал несколько минут. Она увидела наверху страницы слово "Ислам" и телефон с кодом 800[1]. Наверно, этот буклет он взял у женщины в черном

1. Телефоны с кодом 800 — обычно федеральные номера, используемые фирмами и организациями в информационно-рекламных целях. Звонок на такие номера не тарифицируется как междугородний, где бы ни находился абонент.

платке. Она увидела слова, набранные полужирным шрифтом, с пояснениями.

Мимо промаршировали пожилые женщины, распевая старую песню протеста.

Он сказал:

— Хадж.

— Да.

Он сказал:

— Шахада[1].

— Да.

— Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его.

— Да.

Он снова произнес фразу, медленно, более сосредоточенно, словно приближая к себе, пытаясь раскусить. Рядом стояли или брели люди: демонстранты, свернувшие на тротуар.

Теперь он прочел фразу по-арабски. Прочел вслух, а она пояснила, что фраза на арабском, в английской транскрипции. Но даже это для нее было чересчур: несколько минут в тени наедине с сыном, — даже тут становилось не по себе. Он прочел пояснение к другому слову — мол, так называется ежегодный обязательный пост в месяц рамадан. Это напомнило ей что-то знакомое. Он продолжал читать, в основном про себя, иногда вслух, протягивая буклет и дожидаясь, пока она его возьмет, когда ему не удавалось произнести слово самостоятельно. Это повторилось два или три раза, а в промежутках ей почему-то вспоминался Каир: лет двадцать назад, память удержала только расплывчатые тени, и среди теней она сама, выходящая из туристического автобуса прямо в безбрежную толпу.

Поездку ей подарили, на окончание университета, они с однокурсницей ехали в автобусе, а потом сошли в гущу какого-то праздника. Толпа была достаточно велика, чтобы в любой точке казалось, будто ты в самой середине. Под косыми вечерними лучами плотный людской поток повлек их мимо ларьков и лотков с едой; не прошло и полминуты, как подруги разлучились. Кроме ощущения беспомощности, она испытала и другое чувство — острее ощутила свою самость в сравнении с другими, тысячами других, доброжелательными, но теснившими ее со всех сторон. Те, кто рядом, видели ее, улыбались — не все, некоторые, — заговаривали с ней — один или двое, и она была вынуждена смотреться в толпу, как в зеркало. Становилась такой, какой виделась этим людям. Ощутила свою внешность: лицо, черты лица, цвет кожи — я белая, бе-

1. Символ веры в исламе.

лая по сути, белая по состоянию души. На самом деле все не так, и тем не менее — да, я именно что белая, почему нет. Она — обласканный судьбой, рассеянный, зацикленный на себе белый человек. У нее все это на лице написано: интеллектуальном, неискушенном, испуганном. Она почувствовала, сколько горькой правды в стереотипах. У толпы был талант — талант быть толпой. В этом таланте — высшая истина этих людей. Они в своей стихии, подумала она, когда находятся в волне тел, в плотном скопище. Толпиться — уже религия, а праздник — лишь предлог для ее обрядов. Она подумала о том, как толпы поддаются панике, скапливаются у края обрыва. То были мысли белого человека, обработка данных о панике белых. Других такие мысли не посещали. А Дебру посещали — ее подругу, ее пропавшего двойника, Дебру, которая где-то здесь и тоже ощущает себя белой. Она попыталась поискать глазами Дебру, но куда там: трудно пошевелить плечами в давке, развернуться. Они обе в центре толпы, и они сами — центр, каждая для себя. С ней заговаривали. Один старик угостил сладостями и сказал, как называется праздник и по какому он случаю: последний день рамадана. На этом воспоминание обрывалось.

Мальчик произнес фразу по-арабски, по слогам, медленно, и она взяла буклет и прочитала то же самое, столь же неуверенно, только быстрее. Он давал ей прочесть и другие слова, и она их с трудом выговаривала, и ей становилось не по себе, хотя она всего-навсего произносила фразы, разъясняла ритуал. Элемент общественного дискурса, общество, взывающее многоголосно, ислам по телефону с кодом 800. Даже лицо того старика — лицо из воспоминаний, лицо в Каире — затягивало ее обратно. Она находилась одновременно в воспоминании и на тротуаре — призрак одного мегаполиса, грозовой фронт другого, — и от обеих толп ей надо спасаться.

Демонстрацию они нагнали в Нижнем Манхэттене и немного послушали чье-то выступление с импровизированного помоста на Юнион-сквер. Потом зашли в соседний книжный и побродили по длинным рядам между полками, в прохладе и спокойствии. Тысячи книг, глянцевые, на столах и полках; тихо: на дворе лето, воскресенье; мальчик играл в собаку-ищейку: смотрел на книги, нюхал их, но не трогал, оттягивал пальцами щеки книзу. Она не знала, что это значит, но смекнула: он не пытается ни рассмешить ее, ни взбесить. Эти забавы вне сферы ее влияния: у мальчика свои отношения с книгами.

Они поднялись на эскалаторе на второй этаж и некоторое время разглядывали научные книги, книги о природе, заграничных путешествиях, художественную литературу.

— Скажи, что самое лучшее ты узнал в школе? За все время, с первых дней учебы.

— Самое лучшее.

— Самое главное. А ну-ка колись, умник.

— Ты заговорила, как папа.

— Я за него. Совмещаю функции.

— Когда он вернется?

— Дней через восемь-девять. Ну так, самое лучшее?

— Солнце — это звезда.

— Самое лучшее из того, что ты узнал.

— Солнце — это звезда, — повторил он.

— Но разве не я тебе это объяснила?

— По-моему, не ты.

— Ты это не в школе узнал. Я тебе объяснила.

— По-моему, нет.

— У нас на стене карта звездного неба.

— Солнце — оно не у нас на стене. Оно там, далеко. Не "там, наверху". Нет ни низа, не верха. Оно просто там, далеко.

— А может, это мы там, далеко, — сказала она. — По большому счету, скорее так. Это мы далеко, где-то там.

Им это было в радость: поддразнивание, шуточные перебранки; они остановились у высокого окна, наблюдая за финалом демонстрации: транспаранты опускаются и сворачиваются, толпа дробится, разбредается, люди идут к парку или в метро, или сворачивают на поперечные улицы. В некотором роде поразительно — мальчик ответил поразительно, одно предложение, три слова: задумайтесь, в них же суть всего сущего. Солнце — это звезда. Когда она сама это осознала и почему не помнит когда? Солнце — это звезда. Показалось: это же откровение, новый способ доискаться, кто мы такие, самый честный способ, долгожданный, сродни мистическому трепету, просветление.

Или нет никакого просветления, а просто усталость берет свое? Пора домой, что-нибудь съесть, чего-нибудь попить. Восемь-девять дней, если не дольше. Купи мальчику какую-нибудь книгу — и домой.

В тот вечер она покопалась в отцовской коллекции джазовых пластинок и кое-что прокрутила Джастину, одну или две стороны. Когда он заснул, она еще кое о чем вспомнила, достала с пыльной верхней полки энциклопедию джаза — и верно, там петитом значился не только год, но также день и месяц. Сегодня родился Чарли Паркер.

Она считала от ста до единицы, пропуская по семь чисел Приятно было чувствовать, что получается. Иногда ошиба-

лась. Нечетные числа — с подвохом, точно кувырком летишь в пустоту, выскакиваешь из гладкой колеи делимого на два. Потому ее и просили выбрасывать по семь — чтобы осложнить задачу. Почти всегда она спускалась по ряду чисел до первого десятка, не спотыкаясь. Больше всего нервировал переход от двадцати трех к шестнадцати. Напрашивалось — семнадцать. Она всегда балансировала на грани перехода: тридцать семь, тридцать, двадцать три, семнадцать. Нечетное число самоутверждалось. На приеме врач улыбался ошибке, или не замечал, или просматривал результаты анализов. Она жаловалась на пробелы в памяти, у нее это в роду. И в то же время она была совершенно здорова. Для ее возраста мозг в норме. Ей был сорок один год, и, судя по результатам томографии — метода, возможности которого не безграничны, — практически никаких отклонений не наблюдалось. Желудочки мозга — нормальные, мозговой ствол и мозжечок — нормальные, основание черепа, пещеристые пазухи, гипофиз. Все в норме.

Она сдала анализы, прошла обследование, сделала томографию, заполнила психометрические таблицы, составляла из слов пары, запоминала, концентрировала внимание, ходила по прямой от стены до стены, считала от ста до единицы, пропуская по семь чисел. Считать в обратном порядке ей нравилось, иногда она считала, плывя по течению повседневности: пока шла по улице или ехала в такси.

Последовательность числительных сделалась для нее лирическими стихами: понятными только ей, нерифмованными, слегка напоминающими песню, но одновременно воплощающими непреложный порядок — неважно, прямой или обратный. Стихи проверяли, не начался ли для нее обратный отсчет, то, что врач учтиво назвал ретрогенезом.

В букмекерском зале — вывеска "Спорт и скачки" — старого казино в Нижнем Манхэттене на многоступенчатом помосте стояли в пять рядов длинные столы. Он сидел с краю за последним столом верхнего ряда, лицом к залу, а напротив, под самым потолком, на пяти экранах, бежали лошади — в разных часовых поясах, где-то в чужих странах. Мужчина, сидящий прямо под ним, читал книгу в бумажной обложке, в руке догорала сигарета. На другом конце зала, на нижнем уровне сидела перед разложенными газетами крупная женщина в фуфайке с капюшоном. Он понял, что это женщина, потому что капюшон был откинут; впрочем, и так бы догадался, по жестам или позе, по манере разворачивать газету и разглаживать обеими ладонями, а ненужные страницы отпихивать подаль-

ше от зоны чтения, в слабом освещении, в висящем над головами дыму.

Внизу раскинулось казино: неоновые огоньки игровых автоматов тянутся на много акров вширь, перед ним, за его спиной, полупустынные в этот час просторы, нет обычного мельтешения. И все равно он ощущал себя взаперти, в плену сумрака, низкого потолка и плотного, липнущего к коже дыма, дыма, который десятки лет аккумулирует сутолоку и азарт.

Было восемь утра, причем знал об этом только он. Он покосился на дальний конец соседнего стола, где старик с седыми, собранными в хвост волосами, навалившись на подлокотник, смотрел на лошадей в разгаре забега и беспокойно вытягивал шею, что обычно означает: ставка сделана. Старик сидел неподвижно — только шея вытягивалась, и тут голос комментатора, пулеметная скороговорка, сдержанный восторг: забег повела Дочь Мэна.

Больше за столами никого не было. Кончались одни забеги, начинались другие — или забеги все те же, повторялись на одном или нескольких экранах? Он не присматривался. Трепыхались тени — что-то происходило — на другом ряду экранов, в нише на одном из нижних ярусов, над зарешеченной кассой. Он смотрел, как догорела сигарета в руке мужчины с книгой прямо под ним. Снова взглянул на часы. Он знал, который сейчас час и какой день недели; интересно, подумал он, скоро ли это покажется ненужным хламом.

На последнем фарлонге очередного забега старик с седым хвостом встал и ушел, туго свернув газету, хлопнув ею по бедру. Все здесь провоняло запущенностью. Погодя Кейт встал и отправился в покерный зал, где купил фишки и уселся за стол, готовый к началу так называемого турнира.

Было занято лишь три стола. Примерно на семьдесят седьмой партии в холдем[1] он начал ощущать, что игра — не для него, для других — целая жизнь: кругозор игроков донельзя сужен, зато впереди озарение. Он наблюдал за женщиной напротив, которая все время моргала. Худая, сморщенная, седеющая, почти неразличимая — даже вблизи. Он не задумывался над тем, кто она такая и куда пойдет, когда игра закончится, как выглядит ее комната невесть где, какие мысли приходят ей в голову. Игра не кончается никогда. В том-то и смысл. За пределами игры — ничего, кроме бесцветного вакуума. Женщина моргала и уравнивала ставки, моргала и сбрасывала карты.

1. Вид покера.

В дальних закоулках казино — прокуренный голос комментатора, повтор. Забег повела Дочь Мэна.

Она скучала по вечерним посиделкам в компании, когда разговор идет обо всем на свете. Вообще-то она перестала поддерживать с кем-либо тесные отношения — просто в них не нуждалась и не упрекала себя за это. Многочасовая болтовня и смех, откупоривается бутылка за бутылкой. Она скучала по уморительным монологам неисправимых эгоистов, впавших в кризис среднего возраста. Еда кончалась, вино — нет, а как же звали того коротышку в красном шарфике, который изображал звуковые эффекты из старых фильмов о подводниках? Теперь она ходила в рестораны очень редко, ходила одна, долго не засиживалась. Она скучала по осенним уик-эндам в чьем-нибудь загородном доме: листопад и футбол, и дети скатываются по травянистым горкам, заводилы и подражатели, и за всем наблюдает пара поджарых длинноногих собак, сидящих в красивых позах, точно мифические существа.

Но ее больше не влекло ко всему этому, былая радость предвкушения иссякла. Да и о Кейте надо подумать. Ему не захочется. В таких компаниях он никогда не чувствовал себя естественно, а уж теперь... Даже в быту, по пустякам люди остерегаются к нему обращаться. Им кажется, что он их отбросит. Что они ударятся о стенку и отскочат рикошетом.

Мать — вот по кому она скучает. Теперь Нина была повсюду, но только в воздухе, в дымке воспоминаний, ее лицо, ее дыхание: сопутствующая тень где-то рядом.

После гражданской панихиды, четыре месяца назад, они отправились в ресторан — всего несколько человек. Мартин, как обычно, откуда-то прилетел, откуда-то из Европы; были также двое бывших коллег матери.

Полтора часа прошли мирно, вспоминали о Нине и не только, рассказывали, над чем сейчас работают, куда съездили. Женщина, писательница-биограф, была словоохотлива. Мужчина почти все время молчал. Он был директор архитектурно-художественной библиотеки.

День склонялся к вечеру, принесли кофе. И тут Мартин сказал:

— Нам всем обрыдла Америка и американцы. Аж тошнит.

В последние два с половиной года жизни Нины они виделись очень редко. Друг о дружке справлялись у общих знакомых или у Лианны: она связывалась с Мартином, изредка, по электронной почте и телефону.

— Но я вам кое-что скажу, — сказал он.

Она посмотрела на него. Все та же тринадцатидневная щетина, набрякшие веки: хронический эффект смены часовых поясов. Обычная униформа — вечно неглаженый костюм, мятая — точно он в ней спит — рубашка, галстука нет. То ли беженец, то ли человек не от мира сего, заплутавший во времени. Пока Лианна с ним не виделась, он погрузнел, лицо расплылось, бородка уже не скрывает одутловатости и обрюзглости. Взгляд замученный: глаза ввалились, стали какие-то маленькие.

— Несмотря на все беспечное могущество этой страны, позвольте заметить, несмотря на всю свою опасность для мира Америка станет нулем. Верите?

Она точно не знала, зачем — вопреки веским основаниям — продолжает поддерживать с ним связь. Разве мало ей о нем известно, пусть даже обрывочно? Еще показательнее то, как стала относиться к нему мать. Разрушение башен — на его совести: он одного поля ягода с разрушителями.

— В немецком языке есть такое слово: "Gedankenübertragung". Передача мыслей. Всех нас начинает посещать одна и та же мысль — что Америка уже почти ничего не значит. Настоящая телепатия. Очень скоро вообще не будет нужды вспоминать об Америке — разве что в связи с ее опасностью для других. Она теряет центральную роль. Становится центром лишь для дерьма, которое сама порождает. Вот и все ее главенство.

Она не совсем поняла, что́ вдохновило его на эту речь — наверно, чье-то мимолетное замечание несколькими минутами раньше. Либо Мартин затеял спор с умершими, с Ниной. Другие — коллеги Нины — явно пожалели, что не ушли домой пораньше, что заказали кофе с печеньем. Сейчас не время и не место, сказала женщина, для споров о международной политике. Нина провела бы дискуссию лучше, чем мы все, вместе взятые, добавила она, но Нины здесь нет, и эти разговоры оскверняют память о ней.

Мартин отмахнулся — резко взмахнул рукой, отметая чужие резоны. Он — звено, соединяющее ее с матерью, подумала Лианна. Вот почему она не прерывала контактов с ним. Он вызывал из небытия явственный образ Нины, даже пока та была жива — была жива, но угасала. Десять-пятнадцать минут поговоришь с ним по телефону — с человеком, излучающим грусть, любовь, память (пятнадцать минут или дольше, иногда битый час), — и станет тяжелее и легче одновременно, видишь Нину словно бы на стоп-кадре, проницательной и бодрой. Она рассказывала матери об этих звонках и наблюдала за ее лицом, пристально высматривала проблеск света.

Теперь она смотрела на него.

Коллеги Нины настояли, что за всех заплатят. Мартин не сопротивлялся. Он про них все понял. Они держались с опасливой тактичностью, уместной скорее на похоронах государственного деятеля при авторитарном режиме. Прежде чем распрощаться, директор библиотеки взял из вазы на их столике подсолнух и воткнул в нагрудный карман пиджака Мартина. Это было проделано с улыбкой — враждебной или нет, непонятно. Затем директор наконец высказался — возвышаясь над столом, натягивая плащ на свое долговязое тело:

— Если мы в центре, то лишь потому, что вы нас туда поместили. Вот в чем ваша истинная проблема, — сказал он. — Несмотря на все, Америка остается Америкой, а Европа — Европой. Вы ходите на наши фильмы, читаете наши книги, слушаете нашу музыку, говорите на нашем языке. Разве вы можете выкинуть нас из головы? Вы нас постоянно видите и слышите. Спросите себя. Что придет после Америки?

Мартин заговорил тихо, почти лениво, сам с собой:

— Нынешней Америки я больше не знаю. Смотрю и не узнаю, — сказал он. — Была Америка, стало чистое поле.

Они остались, Мартин и она, единственные посетители в длинном зале ниже уровня земли, уровня мостовой, и еще долго говорили. Она рассказала ему о последних тяжелых месяцах жизни матери: лопнувшие сосуды, непослушные мышцы, заплетавшийся язык, пустые глаза. Он низко наклонился к столу, шумно дыша. Ей хотелось послушать его рассказы о Нине, и он начал рассказывать. Казалось, долгое время она знала мать только сидящей в кресле, только лежащей на кровати. А он вознес ее в мансарды художников, в византийские руины, в аудитории, где Нина читала лекции, — от Барселоны до Токио.

— Когда-то, в детстве, я воображала себя ею. Иногда я выходила на середину комнаты и заговаривала со стулом или диваном. Говорила очень умные вещи о художниках. Я знала, как правильно произносятся все имена, даже трудные, и знала их картины по книгам и по музеям.

— Ты часто оставалась одна.

— Я не могла понять, почему мои родители разошлись. Мама никогда не готовила. Папа, казалось, никогда ничего не ел. Чего же ссориться?

— По-моему, ты навсегда останешься дочерью. В главном и навечно — такова твоя сущность.

— А ты навечно кто?

— Я навечно любовник твоей матери. Издавна, задолго до нашей встречи. Навечно. На роду написано.

— Убедительно говоришь — я почти верю.

А еще ей хотелось верить: он неважно выглядит не потому, что болен или удручен какими-то крупными убытками. Конец долгого романа — их с Ниной романа — вот что его подкосило. Только это, и ничего более. Так она решила, и в ней пробудилось сочувствие.

— Некоторым везет. Они становятся теми, кем им полагалось стать, — сказал он. — У меня так не получалось, пока я не познакомился с твоей матерью. Однажды мы разговорились — и этот разговор больше не обрывался.

— Даже на финальном этапе.

— Даже когда мы уже не могли ничего сказать, не сшибаясь лоб в лоб, даже когда нам стало нечего друг дружке сказать. Разговор так и не оборвался.

— Я тебе верю.

— С первого дня.

— В Италии, — сказала она.

— Да. Верно.

— И второй день. У церкви, — сказала она. — Вы вдвоем. Вас кто-то сфотографировал.

Он вскинул голову и внимательно уставился на нее — казалось, гадал, что ей еще известно. А она и не думала рассказывать, что именно выяснила, и признаваться, что не пыталась выяснить больше. Не обложилась в библиотеке книгами о подпольных организациях того периода, не искала в Интернете следы некого Эрнста Хехингера. Мать ничего такого предпринимать не стала, и она — тоже.

— Пора на рейс.

— Что бы ты делал без своих перелетов?

— Всегда на какой-нибудь рейс да пора.

— Где бы ты поселился? — спросила она. — Если выбирать один город, то где?

Он прилетел на день, даже без чемодана. Свою нью-йоркскую квартиру он продал, свои дела здесь свел к минимуму.

— Пожалуй, я не готов задумываться об этом, — сказал он. — Живи я в одном городе, он стал бы для меня капканом.

В ресторане его знали: официант принес бренди за счет заведения. Они посидели еще немного, до сумерек. Она поняла, что больше никогда его не увидит.

Она с уважением отнеслась к его секрету, сдалась перед его тайной. Что бы он ни натворил, оно не выше нашего разумения: понятно, как на это реагировать. Она могла вообразить его жизнь: и теперешнюю, и тогдашнюю, почувствовать замедленный пульс прежней души. Может, он и террорист, но из наших, подумала она, и тут же поморщилась, устыди-

лась своей мысли: из наших, то есть из безбожников, из белых людей с Запада.

Он встал, вытащил из нагрудного кармана цветок. Понюхал и швырнул на стол, улыбнувшись ей. Они на миг соприкоснулись пальцами и вышли на улицу, и она поглядела ему вслед: он направился к перекрестку, к волне проезжающих мимо такси, уже поднимая руку.

11

Дилер дотронулся до зеленой кнопки, и из-под стола выехала свежая колода.

Несколько месяцев он совершенствовался в игре, почти не вылезал со Стрипа[1]: сидел на кожаных кушетках в букмекерских, сутулился под навесами в покерных. Наконец-то начал зарабатывать: не бог весть сколько, но уже регулярно. А еще периодически ездил домой, дня на три-четыре: любовь, секс, отцовство, домашняя еда, — но иногда терялся, не зная, что сказать. Казалось, не существует языка, которым им можно объяснить, как проходят его дни и ночи.

Вскоре появлялась потребность вернуться — туда, назад. Когда его самолет снижался над пустыней, легко верилось, что этот город он знает с рождения. Все по привычному сценарию. Взять такси — и в казино, взять такси — и назад в отель. Ел он два раза в сутки, чаще попросту не требовалось. Зной давил на стекло и металл, создавал иллюзию, будто улицы мерцают. За столом он не пытался прочесть по лицам игроков мысли: какая разница, отчего они кашляют или делано зевают, или почесывают локти. Он изучал свои карты и улавливал тенденции. Только это — и женщина, которая моргает. Он помнил ее по нью-йоркскому казино: невидимка, вся — лишь беспокойный взгляд. Моргание не выдавало никаких тайн. Просто она такая: мать какого-нибудь взрослого мужчины, подкидывает фишки в банк, моргает оттого, что так устроила природа, наподобие светляка на лугу. Он пил крепкое спиртное понемногу, фактически почти не пил, разрешал себе пять часов сна, едва сознавая, что вводит ограничения и квоты. Ему и в голову не приходило закурить сигару, как водилось в прежние времена, за прежней игрой. Он скользил сквозь толпу в холлах отелей под расписанными вручную сводами — Сикстинскими капеллами — и оказы-

1. Стрип — бульвар в Лас-Вегасе, на котором сосредоточены крупнейшие отели и казино.

вался под беспощадными светильниками какого-нибудь казино, не глядя на людей, никого, в сущности, не видя, зато всякий раз на борту самолета всматривался в лица по обе стороны прохода, пытаясь распознать одного или нескольких, опасных для всех.

Когда это случилось, он удивился, отчего не ожидал этого с самого начала. А случилось это в одном из казино высшего разряда: безлимитный турнир по холдему с высоким вступительным взносом, пятьсот игроков. На другом конце зала, над головами сидящих за тесно расставленными столиками, замаячил какой-то мужчина: привстал, чтобы размять шею и плечи, подстегнуть кровообращение. Его движения смахивали на ритуальные, не объяснялись естественной необходимостью. Он неспешно попрактиковался в дыхании диафрагмой, затем опустил сложенную ковшиком руку и, словно бы не следя за партией, даже боковым зрением не следя, вбросил в банк несколько фишек. Человек странно знакомый. Странно в том смысле, что за несколько лет можно разительно измениться внешне, безусловно оставаясь собой. Терри Чен, определенно; вот он снова усаживается, исчезает из поля зрения Кейта; безусловно, он, как же иначе, как же без него: субкультура покера, ревущие потоки денег, бесплатное проживание и острое соперничество — и без Терри Чена?

Только на следующий день, пока женщина на подиуме объявляла, за какими столами есть свободные места, они немного постояли у ограждения.

Терри Чен слабо улыбнулся. Он был в темных очках и оливковом пиджаке с широкими лацканами и блестящими пуговицами. Пиджак был великоват: висел, как на вешалке. Широкие брюки, тапочки с эмблемой отеля, велюровые, заношенная, пахнущая затхлостью шелковая рубашка.

Кейт почти ожидал, что Терри заговорит с ним на мандаринском диалекте пятого века.

— Я прикидывал, скоро ли ты меня заметишь.

— Ты-то меня заметил, полагаю.

— С неделю назад, — сказал Терри.

— И ничего не сказал.

— Ты погрузился в игру с головой. Что я сказал бы? А когда я снова глянул, тебя уже не было.

— Я хожу в букмекерскую расслабиться. Съесть сэндвич, выпить пива. Мне нравится, когда вокруг азарт: повсюду экраны, спорт. Пью пиво, смотрю краешком глаза.

— А мне нравится у водопада. Беру себе что-нибудь легкое. Вокруг десять тысяч человек. В переходах, в аквариуме, в са-

ду, у игровых автоматов. Сижу, прихлебываю легкий коктейль.

Терри словно бы кренился на левый бок — точно вот-вот собирается рвануть к выходу. Похудел, постарел, голос у него стал какой-то незнакомый — немного скрипучий.

— Ты здесь останавливаешься.

— Только здесь, обязательно. Потолки высокие, номера просторные, — сказал Терри. — Окно во всю стену.

— Для тебя все даром.

— Мелочевка.

— Серьезный игрок.

— Я у них в компьютере. У них всё в компьютере. Всё фиксируется. Если что берешь из минибара и через шестьдесят секунд не ставишь на место, в счет вносят моментально.

Ему это нравилось — в смысле, Терри нравилось. Кейт не знал, как к этому относиться.

— Когда заселяешься, выдают карту отеля. Я без карты до сих пор не могу, сколько бы тут ни жил. Никогда не знаю, где нахожусь. Посыльные приносят в номер пакетики с чаем в форме пирамид. Все объемное. Я их прошу, чтобы газет не носили. Если не читать газет, от жизни никогда не отстанешь.

Они еще с минуту поговорили, а потом разошлись к отведенным им столам, не договариваясь увидеться позже. Понятие "позже" было здесь чересчур расплывчатым.

Мальчик стоял у дальнего конца стола, намазывал горчицу на хлеб. Больше ничего съестного она тут не обнаружила. И в помине нету.

Она сказала:

— Когда-то у меня была нормальная авторучка. Серебристая такая. Ты ее случайно не видел?

Он замялся и призадумался: глаза сощурились, лицо окаменело. Это значило, что ручку он видел, писал ею, потерял ее, подарил или променял на какую-то ерунду.

— Ни одной толковой письменной принадлежности во всем доме. — Она понимала, на кого похожа, когда произносит такие речи. — Это у тебя сто карандашей, а у нас — только дюжина дрянных шариковых ручек.

Это прозвучало как плач по каллиграфии, по отжившему искусству писать на бумаге. Она внимательно смотрела на мальчика: снова опускает нож в банку, вытаскивает, аккуратно мажет горчицей края ломтя.

— А что плохого в шариковых ручках? — сказал он.

— Они дрянные.

— А что плохого в карандашах?

— Ну, карандаши — еще туда-сюда. Дерево да свинец. Карандаш — стоящая вещь. Дерево и графит. Материалы, которые дает нам земля. За это мы карандаш и уважаем.

— Куда он на этот раз едет?

— В Париж. Большие соревнования. Пожалуй, я к нему на несколько дней съезжу.

Он застыл на месте, снова призадумался.

— А как же я?

— Живи своей обычной жизнью. Просто не забывай задвинуть засов, когда под утро вернешься с кутежа.

— Ага, конечно.

— Что такое кутеж, знаешь?

— Типа да.

— И я тоже. Типа да, — сказала она. — И никуда я не поеду.

— А то я не знаю.

Она стояла у окна, глядя, как он накрывает один ломоть хлеба другим — получается сэндвич, — откусывает. Хлеб из цельных зерен: девять злаков, десять злаков, без трансжирных кислот, высокое содержание клетчатки. Состав и качество горчицы ей неизвестны.

— Куда только ты ее задевал? Авторучка. Серебристая. Ты знаешь, какую ручку я имею в виду.

— По-моему, он взял.

— По-твоему. Нет, он не брал. Зачем ему ручка?

— Надо же ему что-то записывать. Всем надо.

— Он не брал.

— Я на него вину не сваливаю. Просто говорю.

— Только не эту ручку. Эту ручку он не брал. И где же она?

Он уставился на стол:

— По-моему, это он ее взял. Ну, может, нечаянно, не подумав. Я на него вину не сваливаю.

Он застыл. За стол не садился. Замер с хлебом в руке, отводя взгляд.

И сказал:

— Честно-честно, это он взял, я думаю.

Куда ни глянь — люди, многие с видеокамерами.

— Ты отшлифовал свой стиль, — говорит Терри.

— Вроде того.

— Ситуация переменится. Ажиотаж, телекамеры, полчища новичков — это ненадолго.

— Вот и хорошо.

— Вот и хорошо, — повторил Терри.

— Мы никуда не денемся.

— Мы покеристы, — сказал он.

Они присели в зале у водопада, взяли газировки и сухариков. Терри Чен был в тапочках на босу ногу — шлепанцы с эмблемой отеля, бесплатные, из номера. Игнорировал сигарету, тлеющую в его пепельнице.

— Есть подпольная тусовка: покер для своих, высокие ставки, лучшие города. Словно запрещенная религия, которая расцветает вновь. Пятикарточный стад-энд-дро[1].

— Наша старая игра.

— Тусовок две — в Финиксе и в Далласе. В этом, как его, районе Далласа. Респектабельном.

— Хайленд-парк.

— Люди в годах и со средствами, сливки общества. Игру понимают и уважают.

— Пятикарточный стад.

— Стад-энд-дро.

— У тебя дело идет. Выигрываешь по-крупному, — сказал Кейт.

— Обдираю их как липку, — сказал Терри.

По огромному залу, чем-то напоминающему карусель, струились толпы: постояльцы отеля, игроки, туристы, те, кто шел в рестораны, в шикарные бутики, в художественную галерею.

— А тогда ты курил — ну, когда мы играли?

— Не знаю. Ты мне скажи, — сказал Терри.

— По-моему, только ты один и не курил. Помню: несколько сигар, одна сигарета. Но сигареты, по-моему, курил не ты.

Иногда — проблесками, время от времени — Терри Чен, сидящий здесь, рядом, вновь казался человеком из квартиры Кейта: тем самым, который за ломберным столом после партий в хай-лоу проворно и красиво делил фишки. Такой же, как все в их компании, только в карты играл лучше и, по сути, был им совсем не чета.

— Видел этого за моим столом?

— В хирургической маске.

— Выигрывает солидно, — сказал Терри.

— Тенденция распространится, могу себе представить.

— Ага, маски.

— В один прекрасный день в масках придут трое или четверо.

— Никто не поймет почему.

— Потом их станет десять. И еще десять прибавятся. Как у велосипедистов в Китае.

1. Вид покера.

— Ну да, — сказал Терри. — Вот именно.

Оба угадывали, куда клонит собеседник, следуя за его мыс лями по кратчайшему пути. Их окружал бессловесный гам который так глубоко впитался в воздух, стены и мебель, в ко жу завсегдатаев, что стал почти неотличим от полного без молвия.

— По сравнению с турнирной тусовкой — кой-какое разно образие. Пьют они выдержанный бурбон, а где-то за перего родками, в соседних залах, сидят их жены.

— Даллас, значит.

— Он самый.

— Не знаю, что тебе ответить.

— В Лос-Анджелесе зарождается тусовка. Игра та же - стад-энд-дро, публика помоложе. Вроде первых христиан подполье. Подумай насчет моей идеи.

— Даже не знаю. Похоже, в таких сферах мне и двух вече ров не продержаться.

— Мне кажется, это был Ромси. Только он, — сказал Тер ри, — курил сигареты.

Кейт уставился в точку на расстоянии сорока футов — на водопад. И сообразил, что не знает, настоящий это водопад или иллюзия. По воде не бежит рябь, а журчание запросто может оказаться оцифрованной записью, как и сами струи.

Он сказал:

— Ромси курил сигары.

— Ромси курил сигары. Да, наверно, ты прав.

Несмотря на всю свою расхлябанность, на плохо сидящую одежду, на неспособность сориентироваться без карты в зако улках отеля и на окрестных променадах, Терри целиком при надлежал этому миру. Математическое правило соответствия здесь не действовало. Ни один элемент не рассматривался в контексте другого. Независимо от места проведения турнира от города, от призового фонда все было едино. Кейт пони мал, отчего так. И предпочитал этот мир играм в кругу сво их — светской болтовне и икебанам, которые приносят жены игроков. Игры для избранных тешат тщеславие Терри (ска зал себе Кейт), но не идут ни в какое сравнение с неделями проведенными в анонимности, среди людей без биографий.

— Ты на этот водопад когда-нибудь смотрел? Верилось что перед тобой вода, настоящая вода, а не спецэффекты?

— Я об этом не думаю. О таких вещах тут думать не полага ется, — сказал Терри.

Его сигарета выгорела до фильтра.

— Я работал в Среднем Манхэттене. Не испытал удара, ко торый испытали другие там, в Нижнем, где был ты, — сказа

он. – Мне говорили – сказал кто-то, – что мать Ромси... Как там оно было? Она отнесла ботинок. Отнесла один его ботинок. Бритвенное лезвие тоже отнесла. Поехала к нему на квартиру и взяла. Собрала то, на чем могли сохраниться образцы ДНК – волосы, чешуйки кожи. Повезла на какой-то склад, где опознавали по пробам.

Кейт не отрывал глаз от водопада.

– Через день-два снова туда поехала. От кого же я слышал? Еще что-то отвезла – не знаю что, зубную щетку. И еще раз съездила. Отвезла еще что-то. И снова поехала. Потом лабораторию куда-то перенесли. Тогда она ездить перестала.

Терри Чен, прежний Терри, никогда не был столь разговорчив. Не рассказывал историй, даже самых коротких, – это было бы недостойно его нечеловеческой, как считал сам Терри, выдержки.

– Я говорил людям. Когда обсуждали, кто где был в тот момент, где работал. Я сказал: "В Среднем Манхэттене". Это звучало сухо. Нейтрально, точно Средний Манхэттен – захолустье безвестное. Я слышал, он из окна выпрыгнул. Ромси.

Кейт всматривался в водопад. Лучше, чем жмуриться. Зажмуришься – что-нибудь встанет перед глазами.

– Ты ведь на время вернулся в юридическую фирму. Мы с тобой тогда разговаривали, я помню.

– Не в юридическую – другая фирма.

– Непринципиально, – сказал Терри.

– Верно сказано – непринципиально.

– Но теперь мы здесь, и, когда ажиотаж схлынет, мы останемся.

– Ты до сих пор в Интернете играешь.

– Да, играю – уже не могу без этого. Мы никуда не денемся.

– И малый в хирургической маске.

– Да, этот – точно.

– И женщина-моргунья.

– Моргунью я не видел, – сказал Терри.

– Когда-нибудь я с ней заговорю.

– Карлика ты видел.

– Всего раз. Он быстро свалил.

– Карлика зовут Карло. Проигрывает по-крупному. Единственный игрок, которого я знаю по имени, если не считать тебя. Знаю, как его зовут, потому что он карлик. Нет других резонов знать.

У них за спиной журчали ряды игровых автоматов.

Услышав новость по радио – школа номер один, много детей, – он понял, что должен ей позвонить. Террористы за-

хватили заложников, штурм, взрывы — это в России, где-то далеко, сотни погибших, много детей.

Она говорила тихим голосом:

— Они не могли не знать. Сами срежиссировали ситуацию, другой исход был невозможен... и дети. Просто не могли не знать. Пошли умирать. Специально срежиссировали ситуацию, там, где дети, и знали, чем кончится. Не могли не знать.

На обоих концах провода — безмолвие. Погодя она сказала, что на улице тепло — под тридцать градусов. Добавила, что у мальчика все в порядке, все как всегда. В ее голосе звучали нервные нотки, а затем повисла новая пауза. Он пытался вслушаться в ее фразы, найти между ними связь. Безмолвие наслаивалось, и он начал видеть себя со стороны: на том самом месте, где и стоял в реальности, в каком-то гостиничном номере, в каком-то отеле, в каком-то городе, с телефоном в руке.

Она сказала ему: как показали анализы, все в норме. Никаких признаков ухудшения. Она все время твердила "в норме". Хорошее выражение, говорила. Приносит колоссальное облегчение. Никаких повреждений, кровотечений, инфарктов. Она зачитывала ему результаты, а он стоял посреди номера и слушал. Столько разных мелочей, которые надлежит перечислить. Хорошее слово — "инфаркт". А потом она сказала, что как-то не совсем доверяет результатам. Пока вроде полный порядок, а дальше? Он сказал ей — как уже много раз говорил, — что она сама себе выдумывает страхи. Это не страх, сказала она, просто скептицизм. У нее все хорошо. Морфология нормальная, сказала она, цитируя результаты анализов. Чудесное выражение, но как-то не верится, что относится к ней. Тут дело в скептицизме, сказала она, "скептицизм" — это из греческого, от слова "скептик". И заговорила о своем отце. Она была слегка пьяна — не то чтобы в стельку, но в полстельки — определенно. Выше этого градуса никогда не напивалась. Она рассказывала о своем отце и справилась об его отце. А потом со смехом сказала: "Послушай", и начала считать вслух, нараспев, весело декламировала.

Сто, девяносто три, восемьдесят шесть, семьдесят девять.

Он скучал по мальчику. Ни мальчик, ни он не любили говорить по телефону. Как разговаривать по телефону с ребенком? С ней он разговаривал. Иногда они разговаривали за полночь — по ее времени, или за полночь — по его. Она описывала, в какой позе лежит: калачиком, рука между ног, или

широко раскинувшись на покрывале, с телефоном на подушке, и он слышал, как она бормочет в удвоенной дали, с рукой на груди, с рукой между ног, и видел ее так отчетливо, что голова прямо разрывалась.

12

В одной галерее в Челси открылась выставка Моранди: натюрморты маслом, шесть полотен и пара рисунков, тоже натюрморты, — и, естественно, она туда пошла. Со смешанными чувствами — может, лучше не надо? — но пошла. Потому что даже это: бутылки и банки, ваза, стакан, простые контуры, холст, масло, бумага, карандаш — возвращало ее в разгар тех дней: сшибались аргументы, взгляды, смертоносные политические курсы, ее мать и любовник матери.

Нина вернула обе картины из своей гостиной, настояла на том, чтобы вернуть. Сразу после разрыва они отправились к Мартину и старые фото на паспорт — тоже. Созданы полвека назад — в смысле, картины; фотографии, почти все фотографии — намного старше, и обе — Нина с Лианной — обожали все эти вещи. Но она выполнила волю матери, договорилась о пересылке, подумала о цене картин, прониклась уважением к принципиальности матери, подумала о самих картинах: как они летят в Берлин, где за них будут торговаться и продадут, заключив сделку по мобильному телефону. Без картин комната стала, как гробница.

Галерея находилась в бывшем фабричном здании с лифтом-клеткой, который не мог работать без содействия живого человека: лифтер с начала до конца смены должен был дергать рычаг, поднимая и опуская посетителей в шахте.

В конце длинного сумрачного коридора она отыскала галерею. В зале никого не было. Она остановилась перед первым холстом, всмотрелась. Небольшая выставка, картины небольшого формата. Отошла подальше, снова приблизилась. Ей здесь понравилось: одна в зале, стоишь и смотришь.

Третью картину она рассматривала долго. Вариация на тему одной из работ, которые раньше принадлежали Нине. Она подмечала, какие предметы изображены, какой формы, расположение каждого предмета, длинные темные прямоугольники, белая бутылка. Не могла глаз оторвать. На этой картине что-то спрятано. Перед ней гостиная Нины: память о гостиной, жесты в гостиной. Предметы на холсте растаяли, проявились фигуры: женщина в кресле, стоящий мужчина. Не торопясь перешла к следующей картине, а от той — к сле-

дующей, впечатывая каждую в память, а ведь есть еще и рисунки. До рисунков она пока не добралась.

В зал вошел какой-то мужчина. С интересом посмотрел на нее, прежде чем переключиться на полотна. Возможно, рассчитывал, что можно проявить некоторую фамильярность. раз оба пришли в это запущенное здание с одной целью – смотреть картины.

Рисунки висели в смежной комнате без двери, в офисе галереи. За столом, пригнувшись к ноутбуку, сидел юноша. Она всмотрелась в рисунки. Сама не знала, зачем изучает их так пристально. Наслаждение сменилось желанием слиться с тем, что нарисовано. Она пыталась все, что только можно. впитать в себя, унести домой, закутаться в это, заснуть, завернувшись с головой. Столько всего надо увидеть. Претворить в живую плоть, в то, что есть ты.

Она вернулась в основной зал, но при другом посетителе – пусть даже он на нее и не глядел – не могла рассматривать работы, как рассматривала прежде. Мужчина на нее не глядел, но все же присутствовал: пятидесятилетний, загорелый, в монохромной гамме, точно фотокарточка из полицейского досье; должно быть, художник. И она покинула зал, прошла по коридору, нажала кнопку лифта. Сообразила, что не взяла каталог, но возвращаться не стала. Зачем ей каталог? Со дна шахты дребезжа поднялся лифт. В работах все, до последней детали, имело для нее глубоко личный смысл. Все картины и рисунки назывались одинаково: Natura Morta. И даже это – термин, обозначающий натюрморт, – возвращало последние дни жизни матери.

Иногда, сидя в букмекерской, он не мог, скользнув взглядом по экрану, понять, что́ показывают – прямую трансляцию или замедленный повтор. По идее, ему следовало бы встревожиться: настоящий сбой, нарушение основных функций головного мозга, сшибка двух реальностей. А он говорил себе: какая разница? – быстрое и медленное, сейчас и прежде – все едино; продолжал потягивать пиво и вслушиваться в мешанину звуков.

В тотализаторе он никогда не делал ставок. Просто букмекерская особым образом действовала на органы чувств – тем ему и нравилась. Все здесь происходило на безопасном расстоянии – до ближайшего источника шума и то далеко. Зал с высоким потолком освещен неярко, люди сидят задрав головы, или стоят, или идут куда-то, не глядя по сторонам, а из тайного напряжения, висящего в воздухе, возникают возгласы, вырывается вперед лошадь, раннер приближается ко вто-

рой базе, и события перемещаются на передний план: оттуда — сюда, борьба не на жизнь, а на смерть. Ему нравилось слушать нутряной рев: мужчины вскакивают, вопят, нестройный хор голосов вбрасывает жар и неприкрытые эмоции в тусклую тишь зала. Вбрасывает на несколько секунд, и тут же умолкает: улеглось, миновало. И это ему тоже нравилось.

Бумажник он доставал в покерной. Карты падали по воле случая, без объяснимых причин, но Кейт чувствовал, что свобода выбора все равно за ним. Удача, везение — никто не знает, что это такое. Только предполагается, что они влияют на исход происходящего. Кейт наделен памятью, разумом, умением разобраться, где правда, где домыслы, знанием, когда атаковать, когда уходить в тень. Наделен, в некоторой мере, душевным спокойствием, расчетливой нелюдимостью, а вдобавок умеет опираться на логику. Терри Чен говорил, что в игре верна только одна логика — твоей индивидуальности. Но у игры есть и внутренняя структура, базовые принципы, сладостные привольные промежутки, когда действует логика мечты, когда игрок знает: нужная карта выпадет непременно. И тогда, всякий раз, в ключевой момент, повторяющийся от раунда к раунду, выбор стоит между "да" и "нет". Уравнять ставку или поднять? Уравнять ставку или сбросить карты? Бинарная система, маленький метроном, пульсирующий где-то в висках, право выбора, напоминающее тебе, кто ты такой. Право выбрать — сказать "да" или "нет" — принадлежало ему, а не какой-то лошади, что месит копытами грязь где-то в Нью-Джерси.

Она жила словно в тени того, что надвигается неуклонно.

Они обнялись, не обменявшись ни словом. Потом заговорили — негромко, осторожно. Почти четверо суток они проживут вместе, обмениваясь недомолвками, прежде чем завести речь о важном. Разбазаренное время, не предназначенное для запоминания. Но песню она не забудет. Ночи они проводили в постели, при открытых окнах; шум машин, далекое эхо голосов, в два часа ночи пять-шесть девушек шагали по улице, распевая старую рок-балладу, и она подпела: тихо, любовно, слово в слово, аккуратно воспроизводя все смысловые акценты, паузы и интервалы, досадуя, что голоса тают вдали. Слова — их собственные слова — оставались не больше, чем звуками, потоками аморфных выдохов в атмосфере, речью тел, а не душ. Когда погода к ним благоволила, дул легкий ветерок, но даже в сырой духоте верхнего этажа под гудронированной крышей она не включала кондиционер. Ему нужно почувствовать вкус настоящего воздуха, говорила она,

в настоящей комнате, и чтобы прямо над головой громыхал гром.

В те ночи ей казалось, что они выпадают из мира. И это не было эротической иллюзией. Она по-прежнему замыкалась в себе, но не паниковала из-за этого — спокойно контролировала процесс. Он, как и прежде, отправлял себя в ссылку, только теперь не фигурально, а в пространстве: далекие города, перелеты, накопленные на карточке мили; держался от людей на расстоянии в буквальном смысле.

Они сводили мальчика в пару музеев. Потом она наблюдала, как они перекидываются бейсбольным мячом в парке. Джастин с силой подавал мяч. Времени не терял. Хватал мяч на лету, брал голой рукой, отшвыривал обратно на перчатку, размахивался, подавал что есть мочи, а в следующий раз, пожалуй, даже еще яростнее. Точно машина "питчер-автомат": машина с волосами и зубами, в режиме максимальной скорости. Кейт смотрел с усмешкой, затем уважительно, затем озадаченно. Велел мальчику успокоиться, расслабиться. Велел доводить удар. Завестись, выплеснуть энергию, довести удар. "Ты в моей дряхлой руке дырку прожжешь", — сказал мальчику.

Переключая телеканалы, она наткнулась на покер. Кейт был в соседней комнате — изучал гору накопившейся почты. Она увидела три или четыре стола в панорамном ракурсе, вокруг сидели зрители, сгрудившись кучками, в зловещих лиловых лучах. Столы располагались на небольшом возвышении, игроки, окутанные флуоресцентным сиянием, сгорблены, как закостеневшие мертвецы. Она не знала, где и когда это происходило, не знала, почему турнир показывают не в обычном ракурсе — не дают крупным планом пальцы, костяшки пальцев, карты и лица. Но стала смотреть. Отключив звук, глядела на игроков за столами, пока камера медленно скользила над залом; сообразила, что ожидает увидеть Кейта. Зрители сидели под холодным лиловым светом, вряд ли что различали в сумраке. Ей хотелось увидеть мужа. Камера ловила в объектив лица игроков, выхватывала из сумрака, и она всматривалась в каждое, одно за другим. Вообразила себя на карикатуре — дура-дурой, бежит в комнату Джастина, аж волосы развеваются, и вытаскивает мальчика из постели, и ставит, поддерживая под мышки, перед экраном, чтобы увидел отца — "гляди-гляди" — в Рио, Лондоне или Лас-Вегасе. Его отец в двадцати футах отсюда — за столом в соседней комнате, просматривает банковские отчеты и выписывает чеки. Она еще немного поискала его взглядом на экране и выключила телевизор.

На четвертый день они поговорили, сидя в гостиной, поздно вечером. На потолке недвижно сидел слепень.

— Я кое-что поняла.

— Ну хорошо.

— Я поняла, что некоторые мужчины в нашем мире лишь одной ногой. Не будем говорить "мужчины". Будем говорить: "люди". Люди, которые иногда бывают более или менее непостижимы.

— Ты это понимаешь.

— Так они оберегают себя, себя и других. Это я понимаю. Но есть кое-что еще: есть семья. Вот к чему я клоню: нам нужно оставаться вместе, сохранить нашу семью. Мы и только мы, мы втроем, всерьез и надолго, под одним кровом, не все триста шестьдесят пять дней в году, не все двенадцать месяцев в году, но с мыслью, что мы вместе надолго. В такие времена семья необходима. Согласен? Быть вместе, оставаться вместе. Только так можно выдержать то, что страшит нас до полусмерти.

— Ну хорошо.

— Мы нужны друг другу. Просто как люди, которые дышат одним воздухом, и только.

— Ну хорошо, — сказал он.

— Но я вижу, к чему идет дело. Тебя унесет течением. Я к этому готова. Ты будешь отсутствовать все дольше, тебя занесет куда-то. Я знаю, чего ты хочешь. Не то чтобы мечтаешь исчезнуть, но испытываешь желание, которое исчезновением чревато. Исчезновение — это следствие. А может, наказание.

— Ты знаешь, чего я хочу. Я не знаю, а ты знаешь.

— Ты хочешь кого-нибудь убить, — сказала она.

Эту фразу она произнесла, не глядя на него.

— Ты давно уже этого хочешь, — сказала она. — Не знаю, каково этого хотеть. Но желание у тебя есть.

Высказав догадку вслух, она сразу сама засомневалась. Но знала доподлинно: он никогда не признавался себе в желании, о котором она догадывается. Желание запрятано в его крови — пожалуй, лишь пульсирует на виске, почти неуловимая каденция в тонкой голубой жилке. Она знала: ему нужно утолить некую потребность, расквитаться сполна. Полагала: эта потребность и гонит его с насиженного места.

— Жалко, в армию не могу пойти служить. Староват, — сказал он. — Тогда я мог бы убивать безнаказанно, а потом возвращаться домой и семействовать.

Он пил шотландский виски без льда — прихлебывал; слегка улыбался собственным словам.

— На прежнюю работу ты вернуться не можешь. Это я понимаю.

— Работа. Работа как работа, мало отличалась от прежней. Но то было "до", а теперь — "после".

— Я знаю, мало у кого жизнь складывается логично. Ну, понимаешь: что вообще логично в нашей стране? Не могу же я сидеть здесь и говорить: "А давай на месяц уедем". Не собираюсь опускаться до таких фраз. Они же из другого мира, из логичного. И все-таки выслушай. Ты был сильнее меня. Ты помог мне прийти к тому, что я сейчас имею. Иначе... не знаю, где бы я сейчас была.

— Мне ли говорить о силе. Какая еще сила?

— Я почувствовала твою силу, увидела. В башне был ты, а взбесилась из нас двоих я. Зато теперь... даже не знаю.

Помолчав, он сказал:

— А я тоже не знаю.

И оба засмеялись.

— Одно время я наблюдала за тобой, когда ты спал. Похоже на безумие, сама понимаю. Но никакого безумия в этом не было. Ты просто был такой, какой есть: ты был живой, ты вернулся сюда к нам. Я на тебя смотрела. У меня было ощущение, что я узнала тебя с новой стороны, каким не знала раньше. Мы были семьей. Вот что это было. Вот как мы выкарабкались.

— Послушай, доверься мне.

— Ну хорошо.

— Я не хочу находить себе постоянное занятие, — сказал он. — Уезжаю на время и возвращаюсь. Я не исчезну. Никаких крутых перемен не будет. Сейчас я здесь, и я вернусь. Ты хочешь, чтобы я возвращался. Верно?

— Да.

— Уезжаю и возвращаюсь. Все просто.

— Скоро появятся деньги, — сказала она. — К продаже почти все готово.

— Деньги появятся.

— Да, — сказала она.

Он помогал утрясти сделку с квартирой ее матери. Читал договоры, вносил исправления и присылал указания по электронной почте с турнира, из казино в какой-то индейской резервации.

— Деньги появятся, — сказал он. — Мальчику на учебу. С сегодняшнего дня до колледжа, на одиннадцать-двенадцать лет учебы, ужас сколько денег. Но ты подразумеваешь другое. Хочешь сказать, что нам по карману крупный проигрыш. Проигрышей не будет.

— Если ты уверен, то и я уверена.

— Не бывало и не будет, — сказал он.

— Ну а Париж? Париж-то будет?

— Париж будет через месяц. Только в Атлантик-Сити.

— Как смотрят тюремщики на свидания с женами?

— Тебе там не место.

— Я тоже так считаю, — сказала она. — Потому что думать об этом — одно, а видеть своими глазами — совсем другое. Я если увижу, вконец расстроюсь. Люди сидят за столом и шарк-шарк-шарк картами. Неделя за неделей. Летят самолетом, чтобы поиграть в карты. Я хочу сказать: это же не только абсурдно, не только верх безумия, психоз, но еще и очень грустно, правда?

— Ты сама говоришь: мало у кого жизнь логична.

— Но разве это не деморализует? Разве не высасывает из тебя все соки? Не может не подрывать дух. Понимаешь, я по телевизору вчера вечером смотрела. Прямо спиритический сеанс в аду. Тик-так, тик-так. Что случится после нескольких месяцев такой жизни? Или нескольких лет. В кого ты превратишься?

Он посмотрел на нее и кивнул, словно бы соглашаясь, и продолжал кивать, придавая этому совершенно другое значение, прикидываясь, что задремал: приступ нарколепсии, глаза раскрыты, мозг закрыт наглухо.

Одну вещь, самоочевидную, они вслух не обсуждали. Она хотела чувствовать себя в безопасности на этом свете. А он не хотел.

13

Когда несколько месяцев назад она получила повестку — ее выбрали присяжным заседателем — и явилась в окружной суд вместе с еще пятьюстами потенциальными присяжными, и узнала, что судят юриста по обвинению в пособничестве террористам, она заполнила сорок пять страниц анкеты правдой, полуправдой и откровенной ложью.

Еще раньше, до повестки, ей предлагали на редактуру книги о терроризме или на близкие темы. Любая тема казалась близкой терроризму. Она сама не понимала, почему ее так тянуло работать над подобными книгами в те недели и месяцы, когда по ночам было не заснуть, а по подъезду разносились песни мистиков из пустыни.

Судебный процесс уже начался, но она не следила за ним по газетам. Она была присяжным номер 121, не допущенным

к процессу на основании письменных ответов на анкету. Из-за каких ответов ее не допустили — правдивых или лживых, — она не знала.

Она знала лишь, что юрист — женщина, американка — была связана с мусульманским священнослужителем-радикалом, который отбывает пожизненное заключение за терроризм. Знала, что этот священнослужитель — слепой. Это все знают. Его так и прозвали: Слепой Шейх. Но подробностей обвинений, предъявленных юристу, она не знала: в статьи не заглядывала.

Сейчас она редактирует книгу о первых исследователях Арктики и еще одну, о художниках позднего Ренессанса, и считает от ста до единицы, пропуская по семь чисел.

Наложил на себя руки.

На протяжении девятнадцати лет, с тех пор, как он выпустил пулю, убившую его самого, она периодически повторяла эту фразу, в знак памяти, красивые слова с архаичным оттенком: среднеанглийского или старонорвежского. Воображала себе эти слова, высеченные на старинном покосившемся надгробье на запущенном кладбище где-то в Новой Англии.

Дедушки и бабушки выполняют сакральные функции. Их память дальше, чем у других, углубляется в прошлое. Но почти все дедушки и бабушки ушли в мир иной. У Джастина остался только дед — отец его отца, домосед, чьи воспоминания окостенели, прилипли к рутине его повседневной жизни, так что ребенку не очень доступны. Ребенок пока недостаточно подрос, чтобы его собственные воспоминания начали отбрасывать плотную тень. Она сама, мать и дочь в одном лице, — на каком-то среднем этапе эстафеты. Она знает, что, как минимум, одно воспоминание надежно, ибо неискоренимо — день, начиная с которого она осознала, что́ она за человек и что́ у нее за жизнь.

Ее отца похоронили не на продуваемом ветром погосте под голыми деревьями. Джек лежит в мраморной нише высоко в стене комплекса-мавзолея в предместьях Бостона, он и еще несколько сот человек, размещенные на ярусах, от пола до потолка.

Некролог попался ей на глаза однажды поздно вечером, в газете шестидневной давности.

Люди умирают что ни день, заметил как-то Кейт. Разве это новость?

Теперь он снова в Лас-Вегасе, а она лежит в постели, листает страницы, читает некрологи. Важность одного из них

осознала не сразу. Дэвид Джениэк, 39 лет. Рассказ о его жизни и смерти — короткий, отрывочный: написано наспех, прямо перед сдачей номера, подумала она. И еще подумала: в номере за следующий день должна быть подробная статья. Фотографий не было — ни портрета, ни репортажей о поступках, которые на какое-то время создали покойному скандальную славу. О поступках упоминалось лишь в одной фразе: сообщалось, что Джениэк — артист-перформансист, которого прозвали Падающим.

Газету она спихнула на пол, свет выключила. Легла, подложив под голову пару подушек. На улице взвыла автомобильная сигнализация. Она дотянулась до ближайшей подушки и сбросила ее на газету, а сама легла на спину, ровно дыша, не смыкая век. Полежав так немного, закрыла глаза. Сон был где-то рядом — где-то за горизонтом, за крутым боком планеты.

Она дожидалась, пока сигнализация уймется. И, дождавшись, включила свет, встала с постели и пошла в гостиную. Там, в ивовой корзинке, лежала стопка старых газет. Она поискала газету пятидневной давности, но так и не нашла, ни целиком, ни хотя бы несколько страниц, ни прочитанную, ни непрочитанную. Села в кресло у корзинки, дожидаясь, пока что-то произойдет или прекратится: ждала шума, глухого грохота, сюжетного поворота, — потом встала и пошла в другую комнату к компьютеру.

Расширенный поиск сработал мгновенно. Чего тут только нет о Дэвиде Джениэке, слова и картинки.

Качается, прицепившись к балкону многоквартирного дома на Сентрал-Парк-Уэст.

Висит под крышей здания, перестроенного под лофты, в Уильямсбурге, Бруклин.

Качается под колосниками в Карнеги-холле во время концерта: секция струнных в страхе покинула оркестровую яму.

Качается над Ист-Ривер, прицепившись к мосту Квинсборо.

Сидит на заднем сиденье полицейской машины.

Стоит на перилах чьей-то лоджии.

Свисает с колокольни какой-то церкви в Бронксе.

Умер тридцати девяти лет от роду, по-видимому, ненасильственной смертью.

Несколько раз его задерживали за преступное нарушение права частной собственности с причинением вреда имуществу, за создание угрозы безопасности и нарушение общественного порядка. Как-то у дверей бара в Квинсе его избили несколько мужчин.

Она кликнула по стенограмме круглого стола в Нью-Скул. "Падающий: бессердечный эксгибиционист или отважный неолетописец века террора?"

Прочитала несколько высказываний, бросила читать. Стала просматривать результаты поиска дальше. Пошли ссылки на русском и других славянских языках. Опустила глаза, долго созерцала клавиатуру.

Надевает альпинистский пояс — ассистент пытается загородить его от объектива.

В холле отеля, с разбитым в кровь лицом.

Свисает с парапета многоквартирного дома в Чайнатауне.

Падал всегда вниз головой и никогда не анонсировал акций заранее. Артист не хотел, чтобы перформансы фиксировались на фотопленку. Все имеющиеся снимки сделаны случайными прохожими или профессиональными фотографами, которым успели сообщить очевидцы.

Изучал актерское искусство и драматургию в Высшей театральной школе в Кембридже, штат Массачусетс. Три месяца стажировался в Школе-студии МХАТ в Москве.

Умер в 39 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Страдал болезнью сердца и гипертонией.

Работал без страховки, канатов, противовесов. Только альпинистский пояс. Никакого эластичного троса, который смягчал бы перегрузки при длительном падении. Ничего, кроме соединенных между собой ремней под рубашкой и синим костюмом; трос, пропущенный под брючиной, тянулся наверх, к сооружению, с которого артист прыгал.

Большая часть обвинений отклонена судом. Наложены штрафы, вынесены предупреждения.

Она набрела на другое скопление иностранных языков, где многие слова были украшены ударениями и диакритическими знаками, названий которых она не припомнила.

Уставилась на экран, дожидаясь какого-нибудь звука с улицы: визга тормозов, воя сигнализации, — звука, который побудит уйти из этой комнаты и снова лечь.

Брат, Роман Джениэк, программист, ассистировал ему при большинстве прыжков, но старался не показываться на глаза зрителям. По словам Романа, при финальном падении планировалось обойтись без альпинистского пояса.

Пожалуй, так могла бы называться одна из старших карт в колоде таро: Падающий, готическим шрифтом, фигура в конвульсиях на фоне грозового ночного неба.

О позе, которую он принимал в момент падения и сохранял, пока висел в воздухе, много спорят. Намеренно ли он копировал позу конкретного человека, которого сфотографи-

ровали падающим с северной башни Всемирного торгового центра, вниз головой, руки по швам, одна нога согнута в колене, — человека, навечно запечатленного в свободном падении на зловещем фоне фасада ВТЦ?

Свободным падением называется падение тела в атмосфере без парашюта или иного приспособления, уменьшающего скорость. Это идеальное движение падающего тела, на которое воздействует только сила всемирного тяготения.

Дальше она читать не стала, но сразу поняла, о какой фотографии речь. Впервые увидев ее — на следующий день, в газете, — она была потрясена. Мужчина, падающий вниз головой на фоне башен. Массив башен заполняет весь кадр, не оставляя ни одного просвета. Человек падает, башни — за ним, подумала она, башни — на очереди. Бесконечные линии, устремленные вверх, вертикальные полосы-колонны на фасадах. Рубашка у него испачкана кровью, подумала она, или копотью; а еще она подумала о композиции снимка, об эффекте перспективы, создаваемом полосами на заднем плане: на фасаде ближайшей, северной, башни полосы чуть темнее, чем на фасаде дальней; и крохотная фигурка человека с почти ювелирной точностью размещена между рядами темных и светлых колонн. Свободное падение вниз головой, подумала она, и эта картина прожгла ум и сердце, насквозь. Господи ты Боже мой: это же падающий ангел, его красота ужасает.

Она кликнула по ссылке — да, то самое фото. Отвела глаза, уставилась на клавиатуру. Идеальное движение падающего тела.

По предварительному заключению, смерть наступила от естественных причин, окончательные выводы будут сделаны по материалам вскрытия и результатам химико-токсикологических анализов. Страдал хронической депрессией на почве заболевания позвоночника.

Если эта фотография и имела отношение к его перформансам, он ничего о ней не говорил, когда после очередного ареста его обступили журналисты. Он промолчал, когда его спросили, потерял ли он при терактах кого-то из близких. Не имел ничего сказать прессе на какую бы то ни было тему.

Свисает с ограды сада, разбитого на крыше в районе Трайбека.

Качается под пешеходным мостом над Франклин-Делано-Рузвельт-драйв.

МЭР НАЗВАЛ ПАДАЮЩЕГО ИДИОТОМ.

Не согласился падать с верхних ярусов музея Гуггенхайма по заранее оговоренному графику на протяжении трех не-

дель. Не согласился читать лекции в Обществе японской культуры, Нью-Йоркской публичной библиотеке и европейских общественно-культурных организациях.

По некоторым сведениям, его падения были весьма небезопасны и причиняли физическую боль, поскольку он пользовался крайне примитивными приспособлениями.

Его нашел мертвым брат, Роман Дженіэк, программист. По предварительному заключению медсудэксперта графства Сагино, смерть наступила от острой коронарной недостаточности; результаты анализов вскоре ожидаются.

И в Кембридже, и в Москве он учился очно, шесть дней в неделю посещал занятия. На выпускном курсе студенты проводили открытый показ в Нью-Йорке, демонстрируя свое мастерство перед режиссерами, директорами по кастингу, импресарио и т. п. Дэвид Дженіэк в образе брехтовского карлика напал на другого актера — казалось, пытался вырвать тому язык во время импровизационного этюда на заданную тему.

Она перешла на следующую страницу. Все, что она читала об этом человеке, никак не вязалось в ее сознании с теми минутами у линии надземки, почти три года назад, когда она наблюдала, как кто-то собирается спрыгнуть с перил, едва появится поезд. Фотографий этого падения не было. Она сама — фотография, вся — сплошная светочувствительная поверхность. Безымянное тело, летящее вниз, — только она его заметила, запечатлела в своей памяти.

С начала 2003 года он стал устраивать перформансы реже и, как правило, на окраинах города. Затем перформансы прекратились.

При одном из падений он сильно повредил спину: потребовалась госпитализация. В больнице его взяла под стражу полиция: он обвинялся в причинении помех дорожному движению и создании опасной или наносящей физический вред ситуации.

Планы финального падения, с точной датой которого он не определился, не предполагали использования альпинистского пояса. Так утверждал его брат, Роман Дженіэк, 44 года. в интервью вскоре после опознания тела.

Студенты Высшей театральной школы разрабатывают свой личный арсенал движений и составляют программу работы с телом, которая должна служить им на всем протяжении актерской карьеры. В учебную программу включены психофизические упражнения, биомеханика Мейерхольда. методика Гротовского, занятия пластикой по Вахтангову, акробатика сольная и групповая, классический и исторический танец, широкая палитра стилей и жанров, эвритмия по

Далькрозу, импульсивная методика Линди Дэвис, движение в замедленном темпе, фехтование, сценические бои с оружием и без оружия.

Пока неизвестно, что привело Дэвида Джениэка в мотель близ маленького городка более чем в пятистах милях от места, где раньше стоял Всемирный торговый центр.

Она смотрела на клавиатуру. Этот человек от нее ускользал. Ей было понятно лишь то, что она видела и пережила в тот день около школьного забора, где мальчик вел по асфальту баскетбольный мяч и прохаживался учитель со свистком на ремешке. Она чувствовала, что хорошо знает и школьника с мячом, и учителя, и всех остальных, которых видела и слышала в тот день, — всех, кроме того, кто стоял прямо у нее над головой, того, кого она рассмотрела подробно.

Наконец она заснула на той стороне постели, где обычно спал муж.

14

Когда в игре возникала пауза, он иногда, изредка, вслушивался в звуки окружающего мира. И каждый раз изумлялся: как сильно приходится напрягаться, чтобы расслышать то, что всегда рядом. А это фишки. За звуками и отголосками на периферии зала прячется шум швыряемых фишек, сгребаемых граблями фишек на сорока или пятидесяти столах, где люди укладывают фишки столбиками, на ощупь распознают и отсчитывают фишки, выравнивают столбики, керамические фишки с гладкими краями трутся одна об другую, скользят, звенят, и под смутный шелест, этакую перекличку насекомых проходят дни и ночи.

Этот мир был ему впору. Он никогда еще не чувствовал себя естественнее, чем в этих залах, когда крупье объявляет: одно свободное место, стол номер семнадцать. Разглядывал свои карты, дожидаясь терна[1]. В такие моменты для него ничего не оставалось вовне — никаких обрывков истории или памяти, которые он мог бы невольно приплести к рутинному движению карт.

Он шел по широкому проходу, слыша шепот стикменов[2] за столами для игры в кости, а иногда — рев из букмекерской. Порой попадался какой-нибудь постоялец отеля с чемоданом

1. Терн — четвертая карта стола.
2. Стикмен — служащий казино, пододвигающий специальной лопаткой игральные кости к новому игроку.

на колесиках, озиравшийся, точно заплутал в Свазиленде. В свободные часы он разговаривал с крупье за пустующими столами для блек-джека — с женщинами, у которых словно отключены все чувства. Иногда играл — присаживался, что-то говорил, демонстративно не интересуясь самой женщиной-крупье — только ее рассказами, фрагментами жизни снаружи: у этой барахлит машина, у той дочь Надя учится верховой езде. В чем-то он был им под стать: практически штатный служащий казино, до начала смены коротающий время за болтовней, которая не подлежит запоминанию.

Под утро все в нем притуплялось — неважно, выигрываешь или проигрываешь; что ж, таковы закономерности, терн, ривер[1], женщина-моргунья. Дни выцветают, ночи тянутся, чекуй[2] и повышай ставку, проснись и усни. Однажды моргунья не пришла, и всё, больше ее не видели. Превратилась в затхлый воздух. Он не мог вообразить ее нигде, кроме казино — ни на автобусной остановке, ни в торговом центре, — да и зачем пытаться?

Он спрашивал себя, уж не превращается ли в механизм с автопилотом, в антропоморфного робота, который понимает двести голосовых команд, видит далеко, чувствует прикосновения, но жестко, всецело контролируется извне.

Он оценивает своего визави — аса средней руки, мужчину в зеркальных очках.

Или нет, он превращается в робота-собаку: инфракрасные датчики, кнопка "замри", выполняет семьдесят пять голосовых команд.

Повышай ставку перед флопом[3]. Атакуй без заминки и без пощады.

В его отеле не было фитнес-центра. Он нашел спортзал неподалеку и занимался там, когда выкраивал время. Гребной тренажер всегда был свободен. Он почти ненавидел эту штуку, она его бесила, но чувствовал, как интенсивно идет тренировка: поневоле тянешь псевдовесла, поднатуживаешься, меряешься силой с обтекаемым, бездушным, неумолимым куском стали с тросами.

Взял напрокат машину, покатался по пустыне, повернул назад уже в сумерках, поднялся в гору, выехал на ровное место. Не сразу понял, что́ это там, за много миль: город, паря-

1. Ривер — пятая карта стола.
2. Чековать — продолжать игру, не делая дополнительной ставки, если это разрешено правилами.
3. Флоп — три карты, выкладываемые в открытую на столе, а также следующий за этим раунд торговли.

щий над ночью, лихорадочная россыпь огней. Россыпь возникла внезапно и необъяснимо, показалась галлюцинацией. Он спросил себя, отчего даже не подозревал, что его окружает эта россыпь — что он, собственно, в ней живет. Потому что живет в помещениях, вот почему. Живет и работает — то в одном, то в другом. Передвижения сведены к минимуму — от двери до двери. В свой отель в центре, в отель, где полы без мозаики, а вешалки для полотенец — без подогрева, он приезжает на такси и так же уезжает; пока не глянул на широченную полосу неона, пульсирующего посреди пустыни, он и не догадывался, какой странной жизнью живет. Только теперь осознал, взглянув отсюда, со стороны. Внутри, вблизи, когда вокруг, за столом, непроницаемые взгляды — все абсолютно нормально.

Он избегал Терри Чена. Не хотелось с ним разговаривать, слушать его речи, смотреть, как догорает его сигарета.

Счастливый валет не выпадал.

Он не обращал внимания на разговоры вокруг, случайный рикошет отрывочных фраз от игрока к игроку. Из-под стола выезжала свежая колода. Иногда его подкашивала усталость, он ошалело прочесывал взглядом стол еще до раздачи.

Когда-то он каждый день думал о Флоренс Дживенс. Да и теперь думал, почти каждый день, вот и сегодня тоже — в такси, глядя на рекламный щит. Он ей больше не звонил. Даже не думал снова пересечь парк пешком: повидаться, поболтать, узнать, как дела. Он думал о ней как-то отрешенно, точно о пейзаже, точно о планах вернуться в дом, где ты вырос, побродить по проселочным дорогам, пересечь горный луг — думаешь и знаешь, что никогда не вернешься.

В конечном счете все решает то, что́ ты собой представляешь, — не везение, не голое мастерство. Сила ума, интеллектуальное превосходство — но не только. Есть еще кое-что, ускользающее от формулировок: ограниченность желаний или потребностей, дальнозоркость, предопределяемая твоим характером. Все это приносило ему выигрыши, но не чересчур большие, не в таких масштабах, чтобы перекроить его натуру.

Карлик вернулся — Карло, и его это радует, приятно наблюдать, как тот присаживается за третий стол сбоку. Но он не оглядывается по сторонам, не высматривает Терри Чена, чтобы обменяться с ним усмешками.

Мужчины, театрально зевающие, воздев руки, мужчины, созерцающие мертвое пространство.

Терри, возможно, в Санта-Фе, или в Далласе, или в Сиднее. Терри, возможно, лежит в своем номере мертвый. Тер-

ри понадобилось две недели, чтобы понять: устройство на стене в одном из углов длинного номера, устройство с маркировкой "тонкие" и "плотные" служит для управления шторами в другом конце номера: раздвигает или сдвигает тонкие внутренние шторы или плотные наружные. Однажды Терри попытался раздвинуть шторы вручную и тут же сообразил, что раздвинуты шторы или сдвинуты — без разницы. Снаружи нет ничего такого, о чем ему стоит знать.

Он так и не рассказал Лианне о том, как ходил через парк. Его история с Флоренс продолжалась недолго: наверно, четыре или пять встреч за пятнадцать дней. Неужели так мало? Он попытался подсчитать, сидя в такси у перекрестка, созерцая рекламный щит. Воспоминания слились воедино, едва различались нотки каких-то былых переживаний, прикосновений. Он мысленно видел ее в башне — все, как она сама рассказывала, вынужденный пеший марш вниз по лестнице, — и казалось, что иногда видит себя, на долю секунды, расплывчато: ложное воспоминание, но, пожалуй, для ложного слишком неотчетливое, обрывочное.

Деньги — это было важно, но лишь до определенной степени. Главное — игра: ощущение сукна под ладонями, какую карту дилер "сжигает"[1], какую сдает. Играл он не ради денег — ради фишек. Номинал фишки, любой фишки, — пустяк. Ценен уже сам кругляш фишки, уже цвет кругляша. В дальнем углу зала — мужчина, который все время смеется: вот это важно. И тот факт, что однажды все они умрут, важен. Ему хотелось подгрести к себе фишки и уложить столбиками. Важна игра, укладывание столбиков, подсчет сумм на глаз, полет и балет рук и взглядов. Со всем этим он — одно целое.

На тренажере он установил режим высокого сопротивления. Греб изо всех сил, работал руками и ногами, в основном ногами, стараясь не опускать плечи, испытывая отвращение к каждому гребку. Иногда в спортзале не было ни души, кроме него, — разве что на беговой дорожке кто-нибудь смотрел телевизор. Он всегда занимался на гребном тренажере. Греб. принимал душ, в душе пахло плесенью. Через какое-то время забросил спортзал, но потом снова стал туда ходить, выставлял сопротивление на максимум и всего один раз спросил себя, почему не придумал что-нибудь полегче.

Он посмотрел на карты — пятерка и двойка разных мастей. Мелькнула мысль: надо встать и уйти. Подумал: сейчас

1. "Сжечь" карту — выложить ее на стол рубашкой вверх перед раздачей карт стола. Такие карты не участвуют в партии.

выйду за дверь и на первый же рейс, соберу вещи и улечу, выберу место у окна, опущу шторку и засну. Сбросил карты, откинулся на спинку стула. Когда из-под стола выехала свежая колода, он снова был готов к игре.

Сорок столов, за каждым — девять игроков, другие ожидают у ограждения, под потолком на трех стенах — экраны, где показывают бейсбол и европейский футбол, просто для настроения.

ТОНКИЕ и ПЛОТНЫЕ.

Ему не хотелось слушать теперешнего Терри Чена — раскованного болтуна, с которым они трепались у голубого водопада, спустя три года после самолетов.

Старики с обветренными лицами, набрякшими веками. Узнает ли он их, если увидит в закусочной, завтракающими за соседним столиком? Всю долгую жизнь — скупость на движения, еще большая скупость на слова, "уравнивай ставку и не отставай", каждый день — два или три таких лица, почти неприметные мужчины. Но они обеспечивали покеру место в легендах — в присловьях насчет блефа и "руки мертвеца" — и слегка его облагораживали.

Теперь водопад голубой; наверно, и всегда такой был, или он спутал его с другим водопадом, в другом отеле.

Чтобы заставить себя хотя бы прислушаться, ты должен пробиться сквозь каменную стену привычного. Напряги слух: фишки звенят, падают, катятся, игроки и дилеры сгребают их в кучу и укладывают столбиками; тихий перезвон не умолкает тут никогда, существует на задворках звукового фона, в отдельном воздушном потоке, и не слышен никому — только тебе.

Вот Терри, в четвертом часу ночи бредет между столами, и они едва переглядываются, и Терри Чен говорит: "К рассвету мне надо вернуться в гроб".

Женщина в черной кожаной кепке — откуда она, из Бангкока, из Сингапура, из Лос-Анджелеса? Ее кепка съезжает набок, и он думает: размеренный ритм "уравнивай ставки — сбрасывай карты" настолько выхолащивает игроков, что на женщин они даже не глядят, не раздевают их мысленно.

По вечерам он сидел у себя в номере и делал давнишние упражнения, выполнял старую программу физиотерапии: руку в запястье согнуть, опуская, руку в запястье согнуть, поднимая. В полночь обслуживание номеров прекращается. Полночный телевизор показывал легкую эротику с голыми женщинами, с мужчинами без пенисов. Не шалею, не скучаю, не схожу с ума. По четвергам турнир начинается в три, реги-

страция в полдень. По пятницам турнир начинается в полдень, регистрация в девять.

Он превращался в воздух, которым дышал. Перемещался вместе с приливной волной шума и слов, которая была ему впору, по мерке. Бросал взгляд: сданы туз и дама. В проходах пощелкивали колеса рулетки. Сидел в букмекерской, не вникая в счет, гандикапы и распределение очков. Смотрел, как женщины в мини-юбках разносят напитки. Снаружи, на Стрипе, — мертвящая, тяжелая жара. Он сбросил восемь или девять "рук"[1] подряд. Постоял в магазине спортивной одежды, гадая, что бы купить мальчику. Ни дней недели, ни часов и минут — только график турнира. Для того чтобы этот образ жизни окупался в практическом смысле, он выигрывает слишком мало. Но потребности окупать усилия у него нет. Должна быть, а нету — вот в чем штука. Просто все это аннулируется. Все постороннее — наносное. Юридическую силу имеет только игра. Он сбросил еще шесть "рук", затем пошел ва-банк. Ободрать соперников. Пролить их драгоценную кровь, кровь неудачников.

Это дни После, теперь уже — годы, тысяча сновидений наваливается, человек в ловушке, застывшие конечности, сон о параличе, человек задыхается, сон об удушье, сон о беспомощности.

Из-под стола выехала свежая колода.

Удача улыбается храбрым. Он не знает, как звучит эта старая поговорка в оригинале, по-латыни, — а досадно. Вот чего ему всегда не хватало — блеска неожиданной эрудиции.

Она была просто девочка, дочь — так навеки и останется дочерью, — а ее отец пил мартини "Танкерей". Он позволил ей, проинструктировав с уморительной дотошностью, вырезать из лимонной кожуры спираль для украшения бокала. Жизнь человека — вот о чем он держал речь в тот вечер, у кого-то в гостях, на террасе обшарпанного летнего дома на острове Нантакет. Пятеро взрослых, девочка — поодаль. Не может быть, чтобы человеческая жизнь начиналась с жалкой мути наших выделений. С мути или со слизи. За жизнью должна стоять какая-то высшая сила, верховное существо, которое было, есть и будет вовеки. Ей понравилось, как это прозвучало — точно стихи нараспев, а теперь она размышляла над этой фразой, в одиночестве, за кофе с тостами, и еще кое о чем размышляла, о том, что уже в самих словах "было и есть"

1. Рука — комбинация карт.

бьется пульс жизни, и о том, что в сумерках холодный ветер унялся.

Люди читают Коран. Среди ее знакомых читают трое. С двумя она лично беседовала, о третьем ей рассказали. Купили издания Корана в английском переводе и старательно пытаются отыскать, нащупать что-то, что поможет им глубже вникнуть в исламский вопрос. Она не знала, упорно ли они трудятся. Вполне могла вообразить себя за Кораном: начинает увлеченно, сосредоточенно, а потом понимает, что лишь имитирует бурную деятельность. Но возможно, они упорны. Возможно, они люди обстоятельные. Двоих она знала лично, но не близко. Один, врач, за работой произносил вслух первый стих Корана:

"Эта Книга — и нет сомнения в ней"[1].

Она во всем сомневается, такой уж у нее характер. Однажды прошлась пешком очень далеко, до Восточного Гарлема. Она скучала по своему кружку, по смеху, по обмену незначащей информацией, но отлично понимала: сейчас она не просто прогуливается, не идет на поклон к былым временам и старым местам. Подумала о том, какая сосредоточенная тишина воцарялась в комнате, когда кружковцы брали ручки и начинали писать, не замечая ни шума и гама со всех сторон, ни рэпперов за стеной: еще молоко на губах не обсохло, а уже над текстами работают, ни ремонтников этажом выше, орудующих дрелями и молотками. В Восточный Гарлем она пришла кое-что поискать — церковь, близ общественного центра, католическую. Если она ничего не путает, именно в эту церковь ходила Розэллен С. Она точно не знала, но предполагала: церковь та самая, говорила себе: пусть будет так, убеждала себя: так и есть. Она скучала по лицам. Твое лицо — это твоя жизнь, говорила Нина. Она скучала по признаниям без утайки, по голосам, которые начинали искажаться и гаснуть, по жизням, истончающимся до шепота.

Морфология у нее нормальная. Морфология — упоительное слово. Но что там, внутри формы и структуры? Ее душа и разум, душа и разум любого вечно грезят о чем-то недостижимом. Значит, там, где материя и энергия кончаются, что-то есть? Загадочная сила, которой мы обязаны всей нашей жизнью, бурным существованием, исток которого — в сознании, а сознание — неуловимые мгновения ока, расширяющие плоскость бытия вовне, за пределы логики и интуиции.

1. Точнее, это первый стих второй суры Корана.

Ей хотелось обойтись без веры. На нынешнем геополитическом жаргоне она — неверная. Она вспомнила, как раскраснелось и разгорячилось лицо ее отца, лицо Джека, — после дня на солнцепеке словно лучилось электрическими разрядами. Оглянитесь вокруг: там вдали, там, над головой, — океан, небеса, вечер; вот о чем она размышляла за кофе с хлебцами, о том, что Джек верил: Бог вдохнул абсолютное бытие в пространство и время, зажег звезды. Джек был архитектором, художником, печальным человеком, думала она, печалился почти всю жизнь, томясь по чему-то неосязаемому и бескрайнему, по единственному утешению, в котором растворились бы его пустяшные неудачи.

Постой, это же вздор. Ночной небосвод, боговдохновленные звезды? Звезда светит сама собой. Солнце — это звезда. Вспомнился Джастин: как он позавчера вечером распевал домашние задания. Значит, скучал в одиночестве, сидя в своей комнате, вот и выдумывал монотонные песни о сложении и вычитании, о президентах и вице-президентах.

Другие читали Коран, а она ходила в церковь. Брала такси и ехала в Верхний Манхэттен, два-три раза в неделю, в будни, и сидела в почти пустой церкви, церкви Розэллен. Подражала другим, когда те вставали или преклоняли колени, и смотрела, как священник служит мессу. Хлеб и вино, плоть и кровь. Она не верила — в пресуществление не верила, но во что-то все-таки верила, немного опасаясь, что вера ею завладеет.

Она бегала вдоль реки, спозаранок, пока мальчик спит. Подумывала потренироваться и пробежать марафон, не в этом году, в будущем: дисциплина и нагрузки, бег на длинные дистанции как духовное упражнение.

Она думала: Кейт у себя в номере с девушкой по вызову. Или звонит в автоматическую справочную банка, и это заменяет ему секс по телефону.

После мессы пыталась поймать такси. В этом квартале такси попадаются редко, а автобус тащится как черепаха, но ездить на метро она пока не готова.

"Эта Книга — и нет сомнения в ней".

С сомнениями ничего не поделаешь, но сидеть в церкви ей нравилось. Она приезжала заранее, до начала мессы, чтобы немного побыть одной, ощутить покой, означающий, что ты отдалилась от бесконечных аккордов бодрствующего сознания. Она чувствовала не присутствие божества, а просто других людей. Другие нас сближают. Церковь сближает. Что она здесь ощущает? Присутствие умерших, своих и не только, незнакомых тоже. В церквях она их всегда чувствует: и в

громадных помпезных соборах Европы, и в бедной маленькой приходской церкви вроде этой. Она чувствовала: вот они, умершие, в толще стен, накопившиеся за десятки лет, за века. Это чувство вовсе не обжигало холодом уныния. Наоборот, успокаивало. Присутствие умерших любимых людей и всех безликих других, заполонивших тысячу церквей. Они позволяли чувствовать себя непринужденно, в дружеском кругу — те, что когда-то были людьми, а теперь упокоились в склепах и криптах или в земле погостов. Она сидела и ждала. Вскоре кто-нибудь появлялся, проходил мимо нее в неф. Она всегда приходила первой, всегда садилась где-нибудь сзади, вдыхая умерших вместе с ладаном и свечным воском.

Подумала о Кейте, и он позвонил. Сказал, что сможет на несколько дней выбраться домой, примерно через недельку, и она сказала: хорошо, ладно.

Она замечала: в корни ее волос начинает просачиваться седина. Не собиралась пачкать ее краской, скрывать. Бог, думала она. Что значит — произносить это слово? Может быть, с Богом рождаешься? Если никогда не слышал этого слова и не видел обрядов, чувствуешь ли живой дух внутри себя, в энцефалограмме или биении сердца?

Под конец у ее матери отросла грива седых волос, изломанное инсультами тело постепенно приходило в негодность, в глазах алела кровь. Мать несло течением к бестелесному существованию. Она уже была женщиной-призраком, еле могла издать звук, похожий на слово. Лежала в постели, иссохшая, и все, что от нее осталось, было заключено в раму длинных прямых волос, переливающихся изморозью на солнце, неземных, красивых.

Она сидела в пустой церкви, ожидая, пока придет беременная или, может быть, старик, который ей всегда кивает. Одна женщина, за ней — вторая, или, может быть, одна из женщин, а за ней — старик. Они выработали свой график, эти трое, а затем приходили другие и начиналась месса.

Но ведь мир сам собой приводит тебя к Богу, разве не так? Красота, скорбь, ужас, бесплодная пустыня, кантаты Баха. Другие нас сближают, церковь сближает, церковные витражи, стекло, окрашенное пигментами, сплавленные со стеклом оксиды металлов, Бог в глине и камне... а вдруг она лишь сама себе зубы заговаривает, чтобы скоротать время?

Если она никуда не спешила, то шла домой из церкви пешком, если торопилась — пыталась поймать такси, пыталась завести разговор с таксистом, который дорабатывал двенадцатый час без перерыва и хотел лишь одного — дожить до конца смены.

В метро она до сих пор не совалась, до сих пор обращала внимание на бетонные заграждения вокруг вокзалов и других возможных мишеней.

Рано утром она бегала, потом возвращалась домой, раздевалась догола и принимала душ. Бог может проглотить ее. Бог растворит ее в себе, а она даже не воспротивится: слишком мала и кротка. Потому-то она сопротивлялась заранее. Потому что — вы только задумайтесь. Потому что, если поверишь в такое, в "Бог есть", разве увернешься, разве выдержишь мощь этого "есть, был и будет вовеки"?

Он сел боком к столу, лицом к пыльному окну. Положил левую руку на стол, свесив кисть с края. Десятый день занятий два раза в день: сгибание-разгибание запястья, ульнарное отведение кисти. Он вел счет дням и сеансам. Запястье его не беспокоило. С запястьем полный порядок. Но он сидел в своем номере, лицом к окну, сжав руку в мягкий кулак, и, если полагалось по инструкции, оттопыривал большой палец. Он вспоминал фразы из инструкции и произносил вполголоса, придавая руке правильное положение: согнуть кисть в запястье, поднимая, согнуть кисть в запястье, опуская. Свободной рукой прижимал рабочую.

Сидел, глубоко сосредоточившись. Вспоминал упражнения, все до одного, и сколько секунд выделено на каждое, и сколько раз повторить. Свесив кисть со стола, согнуть руку в запястье сверху вниз. Прижать предплечье к столу, согнуть руку в запястье в сторону пола. Выполнял сгибание-разгибание запястья, ульнарное отведение кисти.

По утрам — непременно, и каждый вечер, сразу после возвращения. Он смотрел сквозь пыльное стекло, декламируя фрагменты инструкций с листка. На счет "пять" отпустить. Повторить десять раз. Каждый раз он выполнял программу целиком: поднять кисть, держа предплечье горизонтально, опустить кисть, положить предплечье на стол, чуть-чуть сбавить темп, день сменялся ночью, а на следующий день — все снова; медлил, старался затянуть подольше. Вел счет секундам, вел счет повторам.

Сегодня к мессе пришло девять человек. Она смотрела, как они встают, садятся, преклоняют колени, и все за ними повторяла, но не реагировала, как реагировали они, когда священник нараспев произносил фразы, полагающиеся по литургии.

Она думала: возможное присутствие Бога, витающее в воздухе, — вот что наполняет душу сомнениями и одиночеством. И еще думала, что Бог — то, что существует вне пространства

и времени и снимает сомнения словом, голосом, одной лишь интонацией.

Бог — голос, говорящий: "Меня здесь нет".

Она сама с собой спорила, но это был не спор — просто шум при работе мозга.

Морфология нормальная... Как-то поздно вечером, раздеваясь, она снимала через голову чистую зеленую футболку и почувствовала запах — нет, не пота, разве что намек на пот, не то что кислая вонь утренней пробежки. Пахло просто ею самой, ее телом: единственно и исключительно. Телом и всем, что оно несло в себе и на себе, индивидуальностью, и памятью, и человеческим теплом. Она даже не обоняла это, а просто знала. Знала всю жизнь. В этом запахе было дитя, девочка, мечтавшая быть другими людьми и неопределенными вещами, которые не умела назвать. Ощущение мимолетное, ускользнуло тут же, такие моменты мгновенно забываются.

Теперь она была готова жить одна, в спокойствии и безопасности, вдвоем с мальчиком — так, как они жили до того дня, до самолетов — серебряных на синем.

В *Гудзонском коридоре*

Самолет взят под контроль, и теперь он сидел на откидном сиденье наискосок от носовой кухни — сторожил. Ему было велено дежурить здесь, у двери в кабину, а иногда проходить по салону с канцелярским ножом в руке. Нет, он не растерян — просто передышка, минутная пауза. Тут он почувствовал что-то выше локтя: тонкая извилистая полоска боли, рассечена кожа.

Он сидел лицом к переборке, спиной к туалету ("только для первого класса").

В воздухе висел газ, которым он брызнул из баллончика, сквозь манжету длинного рукава его рубашки сочилась чья-то кровь, его кровь. Да, кровь его. Он не стал смотреть, где кровоточит, но увидел: новые пятна крови понемногу проступают выше локтя, ползут к плечу. Подумал, что боль, возможно, появилась еще раньше, просто он забылся и не почувствовал. Куда делся нож, он не знал.

Если все получилось, то, насколько он понимает план, самолет направляется к Гудзонскому коридору. Это словосочетание он много раз слышал от Амира. Рядом не было иллюминатора, в который можно было бы выглянуть, не сходя с места, а необходимости встать он не испытывал.

Мобильник у него включен в режиме "виброзвонок".

Все замерло. Совсем не ощущается, что летишь. Он слышал шум, но движения не чувствовал, а шум заглушал все и казался совершенно естественным: это воздух шумит, а не моторы и сложные системы.

Забудь о земном. Не внимай тому, что зовется земным.

Все напрасное время жизни окончилось.

Вот то, чего ты давно желал, — смерть вместе с братьями.

Дышал он прерывисто, тяжело. Глаза жгло. Если повернуть голову влево, видно пустое кресло в салоне первого класса, крайнее от прохода. Прямо перед ним была переборка. Но он видел все, что было сзади, — глазами на затылке отчетливо видел все у себя за спиной.

Он и не заметил, как поранился. Его поранил кто-то из братьев, не иначе, случайно, в схватке, и он приветствовал кровь, но не боль, которая становилась нестерпимой. И тут он припомнил кое-что давно забытое. Припомнил мальчишек-шиитов на поле боя при Шатт-эль-Араб. Увидел, как они появляются из окопов и из-за редутов и бегут по болотистой равнине к позициям противника, разинув рты в смертном крике. Он черпал силы в этой картине — видел, как пулеметы косят их, волну за волной, сотни, а за ними и тысячи мальчишек, полки смертников, шеи обвязаны красными платками, под платками — пластмассовые ключи от дверей рая.

Произнеси священные слова.

Запахнись поплотнее.

Смотри в одну точку.

Душу свою неси в руках.

Он был уверен, что может заглянуть прямо в башни, хотя сидит к ним спиной. Он не знал, где сейчас самолет, но был уверен, что может видеть затылком и сквозь сталь и алюминий самолета: продолговатые силуэты, контуры, формы, фигуры — все материальное — ближе, еще ближе.

Благочестивые предки перед битвой плотно запахивали одежду. Предки дали имя пути, которым теперь идут они. Возможна ли лучшая смерть?

В ближайшие секунды простятся все грехи твоей жизни.

В ближайшие секунды между тобой и вечной жизнью не будет никаких преград.

Ты просишь смерти, и вот она пришла — придет через несколько секунд.

Он затрясся. Толком не понял отчего — это самолет или только он сам? Качался взад-вперед на кресле, мучаясь от боли. Услышал где-то в салоне шум. Боль усиливалась. Он слышал голоса, восторженные возгласы из салона или кабины — неясно, откуда. На кухне что-то свалилось со стола.

Он пристегнул ремень.

Со стола на кухне, с той стороны прохода, свалилась бутылка, и он смотрел, как она катается туда-сюда, бутылка из-под воды, пустая, описывает дугу в одну сторону и перекатывается обратно; смотрел, как бутылка завертелась быстрее, а потом скользнула по полу за миг до столкновения самолета с башней, жарко, запах керосина, пожар, и взрывная волна прокатилась по зданию, вышибла Кейта Ньедекера из кресла и швырнула на стену. Он обнаружил, что пытается войти в стену. И только уткнувшись в нее носом, уронил телефон. Пол из-под ног выдернули, он потерял равновесие, сполз по стене.

Увидел, как по коридору скачет стул, в замедленном темпе. Померещилось, что прямо на глазах потолок покрылся рябью, приподнялся и покрылся рябью. Он закрыл голову руками и сел на корточки, уткнувшись лицом в колени. Сознавал: вокруг происходят колоссальные сдвиги и еще что-то, не столь масштабное, незримое, вещи ползут или скользят, — а еще звуки, которые не имеют отношения ни к одному материальному предмету: это трещит и стонет глубинная структура мира.

Шевелилось под ним, а потом зашевелилось со всех сторон: энергично, вопреки всей логике. Башня шатается. Ага, теперь ясно. Башня начала отклоняться влево, кренилась долго, и он приподнял голову. Раздвинул колени, высунул голову, чтобы прислушаться. Попытался не дергаться, попытался сделать вдох, попытался прислушаться. Там, за дверью в коридоре, он увидел, если не померещилось, человека на коленях, в первой, еще полупрозрачной волне дыма и пыли фигуру в позе глубокой сосредоточенности, с откинутой головой, в пиджаке, надетом наполовину, свисающем с плеча.

Вдруг он почувствовал: башня больше не клонится. Крен казался вечным и немыслимым, и он сидел и вслушивался, однако через какое-то время башня стала медленно выпрямляться. Он не знал, куда завалился телефон, но слышал голос с того конца провода — все еще здесь, где-то там. Увидел: по потолку побежала рябь. Со всех сторон воняло, чем-то знакомым, но чем же?

Когда башня, пошатываясь, наконец-то вернулась в вертикальное положение, он отжался от пола, вскочил на ноги, шагнул к двери. Потолок в дальнем конце коридора застонал и разверзся. Слышалось отчетливо: потолок напрягся, потом разверзся, сверху что-то посыпалось: панели, перегородки. Коридор заволокло гипсовой пылью, раздались голоса. Что бы ни происходило, в памяти ничего не задерживалось. Он чувствовал: все накатывается и проваливается в пустоту, которая разверзлась внутри него.

Человек никуда не делся — стоял на коленях в дверном проеме кабинета напротив, напряженно размышляя о чем-то, сквозь его рубашку проступала кровь. Лицо знакомое: он то ли клиент, то ли поверенный; и они переглянулись. Не выразить, сколько значили для них эти взгляды. В коридоре перекликались. Он взял с вешалки свой пиджак. Потянулся и взял пиджак с вешалки на двери, толком не понимая зачем, но и не ощущая нелепости этого действия: напрочь забыл, что такое нелепость.

Пошел по коридору, на ходу надевая пиджак. Люди двигались к выходам, навстречу ему, шагали, откашливались, помогали другим. Перебирались через обломки, с суровой целеустремленностью на лицах. По лицам было видно: все понимают, как далеко до уровня земли. С ним заговаривали — один или двое, — а он кивал в ответ или не кивал. Заговаривали с ним и глядели. Вон, идет: думает, что без пиджака никак нельзя, идет не туда.

Воняло керосином: теперь он распознал, вонь сочилась с верхних этажей. Он добрался до кабинета Ромси на том конце коридора. Внутрь пришлось протискиваться. Перелез через стулья, разбросанные книги, опрокинутый каталожный шкаф. Увидел обнаженные балки, шпренгели на месте потолка. Кружка, из которой Ромси пил кофе, разбилась у него в руках. Он все еще держал обломок чашки, продев палец в ручку.

Только на Ромси он не походил. Он сидел в своем кресле, склонив голову набок. Его ударило чем-то большим и тяжелым, когда обвалился потолок, или даже раньше, при первом спазме. Лицо уткнуто в плечо. Крови мало — так, ерунда, — мало.

Кейт заговорил с ним.

Присел рядом на корточки, взял его за руку и смотрел на него, разговаривал с ним. Из уголка рта Ромси потекла струйка — что-то наподобие желчи. Как выглядит желчь? Он увидел отметину на его голове, вмятину, след от зубила: глубокий, обнажена влажная плоть с нервами.

Кабинет был маленький, импровизированный: выгородка в углу, вид на полоску утреннего неба. Он ощутил близость мертвых. Это чувствовалось в клубах пыли.

Он смотрел, как человек в кресле дышит. Дышит. Выглядит как инвалид, парализованный от рождения, голова на вывернутой шее уткнулась в плечо, круглые сутки в кресле.

Где-то наверху пожар: горел керосин, из вентиляционной решетки валил дым, а потом дым появился за окном, сползал по фасаду.

Он разогнул указательный палец Ромси и вытащил обломок кружки.

Поднялся на ноги, окинул его взглядом. Заговорил с ним. Сказал, что не может вывезти его отсюда на кресле, хоть оно и на колесиках, потому что везде обломки, выпалил быстро, скороговоркой, обломками завалило дверь и коридор, говорил быстро, чтобы и мысли не медлили.

Сверху посыпалось всякое: предмет за предметом, по одному, валились из дыры в потолке, и он попытался выволочь Ромси из кресла. Потом... что-то снаружи... промелькнуло в окне. Сначала промелькнуло, и только потом он это увидел и невольно обмер, глядя в пустоту, поддерживая Ромси под мышки.

Он не мог отделаться от этой картины: нечто на расстоянии двадцати футов, миг, когда мимо окна что-то пролетело боком, белая рубашка, вскинутая рука; не успел разглядеть — скрылось. Теперь обломки падали дождем. По этажам катилось эхо, прямо перед носом рвались провода, всюду витала белая пыль. Он стоял, пережидал, не отпуская Ромси. Разбилась стеклянная перегородка: что-то свалилось, загремело, и стекло, вздрогнув, лопнуло, а потом не выдержала стена позади.

Потребовалось время, чтобы приподняться на локтях и выползти. На лице точно пылала сотня пожаров, каждый с булавочную головку, стало трудно дышать. Он отыскал Ромси в дыму и пыли, лежащего ничком в руинах, истекающего кровью. Попытался приподнять его, перевернуть, обнаружил, что левая рука не слушается, но все-таки сумел повернуть, частично.

Хотел взвалить Ромси к себе на закорки, подталкивая тело локтем левой руки, правой подтягивая за ремень: попытался подхватить его, приподнять.

Начал поднимать, почувствовал щеками тепло: от крови на рубашке Ромси, крови, смешанной с пылью. Ромси подпрыгнул в его объятиях. В горле у него что-то забулькало, внезапно, полсекунды, полуудушье, и тут откуда-то хлынула кровь, и Кейт отвернулся, все еще стискивая рукой ремень. Ждал, пытался дышать. Посмотрел на Ромси: тот немного откатился в сторону, руки и торс обмякли, лицо нездешнее. Все, чем был Ромси, распалось вдребезги. Кейт вцепился в пряжку ремня. Стоял и смотрел, а Ромси открыл глаза и умер. Тогда-то он и задумался, что́ тут, собственно, происходит.

По коридору летели бумажки, шелестя на ветру, который врывался в здание, видимо, откуда-то сверху.

В офисах по обе стороны, еле различимые, — мертвецы.

Он вылез, перебравшись через обломки рухнувшей стены, и медленно пошел на голоса.

На лестнице, почти что во тьме, женщина несла, крепко прижав к груди, маленький трехколесный велосипед, для трехлетнего ребенка, руль льнул к ее ребрам.

Они спускались пешком, тысячи людей, и он вместе с ними. Он шел, погрузившись в длительный сон: шаг, еще шаг.

Где-то журчала вода, слышались странно далекие голоса — с другой лестницы или из шахты лифта, в общем, где-то во тьме.

Душно, тесно, от боли в скулах голова будто съеживается. Чудилось: глаза и рот затягивает под кожу.

Детали возвращались в смутных видениях: пристальный взгляд половинки глаза, например. То, что он не стал удерживать в памяти, отбросил, едва оно случилось. Казалось: если немного постоять, видения развеются. И он остановился, уставившись в пространство. Женщина с велосипедом, идущая рядом, проходящая мимо, заговорила с ним.

Он почувствовал какой-то ужасающий запах, понял, что пахнет он сам, то, чем он облеплен: пыль, дым, на лице и руках — какая-то маслянистая грязь, смешанная с телесной жижей, липкая мешанина крови, слюны и холодного пота, и это себя он чуял, себя и Ромси.

Каковы масштабы, подумать только. Взять хотя бы физическую величину. Он увидел себя внутри этой махины, а махина качается, медленно, сюрреалистически кренится.

Кто-то взял его за руку и повел, помог спуститься на несколько ступенек, и дальше он пошел сам, не просыпаясь, и на миг снова увидел это, мелькнувшее за окном, и на сей раз подумал: это Ромси. Спутал его с Ромси, того мужчину, падающего боком, с вытянутой, вскинутой рукой; она будто указывала вверх, спрашивала: "почему я здесь, а не там".

Иногда им приходилось ждать, бесконечные минуты в заторах, и он смотрел прямо перед собой. Когда вереница вновь трогалась с места, делал шаг, потом другой. Несколько раз с ним заговаривали, разные люди, и тогда он жмурился: видимо, чтобы сошло за ответ.

На лестничной клетке впереди по ходу был человек, старик, небольшого роста, сидел в сумраке, на корточках, отдыхал. Некоторые что-то ему говорили, а он кивал головой: "Ладно, ладно", кивал и махал им: "Идите".

Неподалеку валялась женская туфля, вверх подошвой. И валялся портфель, опрокинутый набок, и старику пришлось наклониться, чтобы до него достать. Он вытянул руку с порт-

фелем и не без усилия подтащил его поближе к людской вереницe.

Сказал:

— Не знаю, что мне с ним делать. Она упала, оставила его.

Люди не слышали этих слов, или не понимали, или не хотели понять, и шли мимо, и Кейт тоже прошел, и вереница начинала спускаться на этажи, где было чуть-чуть светлее.

Ему лично это не показалось вечностью — путь вниз бесконечным не показался. Он утратил чувство темпа и скорости. На ступенях светилась полоска, которой он раньше не замечал; где-то позади, в цепочке, кто-то молился по-испански.

Навстречу, быстрым шагом, поднимался какой-то мужчина в каске, и они прижались к стене, пропуская его, а потом появились пожарные, в полной амуниции, и они прижались к стене.

Человек в кресле... это же Ромси. Теперь понятно. Он усадил его назад в кресло, и теперь его найдут и отнесут вниз, и других тоже.

Наверху, за спиной, зазвучали голоса: вдали на лестнице один и тут же, почти эхом, другой, эхо, фуга голосов, голоса, поющие в ритме естественной речи.

Это надо вниз.

Это надо вниз.

Передайте вниз.

Он снова остановился, во второй или в третий раз, и люди проталкивались мимо него, смотрели, говорили: "Проходите". Одна женщина взяла его за руку — помочь, он не пошевелился, она пошла дальше.

Передайте вниз.

Это надо вниз.

Это надо вниз.

Портфель плыл вниз, кружа по пролетам, из рук в руки, это кто-то оставил, это кто-то потерял, это надо вниз, а он стоял, глядя прямо перед собой, и, когда портфель дошел до него, протянул правую руку, взял машинально и стронулся с места.

Ждать приходилось подолгу, иногда — поменьше, и со временем их привели на подземный ярус под торговым центром, и они шли мимо пустых магазинов, запертых магазинов, переходили на бег — не все, некоторые, — и откуда-то струилась вода, целыми потоками. Они вышли на улицу, оглядываясь: обе башни в огне, — и вскоре услышали с высоты рокот вроде барабанной дроби, и увидели, как с верхушки одной из башен скатывается дым, расползается вширь и вверх, методично, от этажа к этажу, и башня падает, южная башня ныряет в дым, и они снова побежали.

Воздушная волна швырнула людей на землю. На них надвигался грозовой фронт из дыма и пепла. Тьма всосала свет, солнце померкло. Они бежали, и падали, и пытались встать, мужчины, обмотавшие головы полотенцами, женщина, ослепшая от пыли, женщина, выкликающая чье-то имя. Теперь весь свет был остаточный, свет того, что приходит после, отраженный от клочьев уничтоженного материального мира, от пепла всего, что было человеческим и разнообразным, а теперь зависло пеленой в воздухе.

Он передвигался: шаг, еще шаг, в клубах дыма. Чувствовал под ногами щебень обломков, и всюду что-то мельтешило, бежали люди, пролетали предметы. Он шел мимо вывески "Парковка без проблем", мимо "Завтраки: специальное предложение" и "Костюмы: по три — дешевле", а другие обгоняли его, роняя деньги и обувь. Заметил женщину с воздетой кверху рукой — бежала, точно голосуя автобусу.

Он прошел мимо вереницы пожарных машин: они стояли, уже без пожарных, посверкивая мигалками. Как ни силился, не мог найти самого себя в том, что видит и слышит. Пробежали двое мужчин с носилками: на носилках кто-то ничком, волосы и одежда дымятся. Он смотрел, как они скрываются в ошарашенной дали. От него все отодвинулось, все вокруг опрокидывалось куда-то: дорожные знаки, люди, вещи, названий которых он не знал.

А потом он увидел, как с неба спускается рубашка. Шел и видел, как она упала, всплеснув руками, и не было на свете ничего сравнимого с этим.

“Я больше не узнаю Америку”

Три интервью Дона Делилло

Составление и перевод с английского С. Силаковой

Из интервью газете “Франкфуртер рундшау” от 20 ноября 2003 года

Беседу вел Петер Хеннинг

Петер Хеннинг. Что значит для вас сегодня 11 сентября?

Дон Делилло. Для меня в этот день по-настоящему начался XXI век. До терактов дух времени определялся уверенностью в повсеместной власти денег и в неуязвимости Америки. После терактов эта уверенность развеялась, ее вытеснил страх. 11 сентября мы вступили в новую эпоху — эпоху страха и неопределенности. Дотоле мы в Штатах только и делали, что отслеживали денежные потоки на компьютерных мониторах — в Интернет-кафе или у себя дома. А теперь мы живем по другим законам, более человечным. Катастрофа воскресила тревоги и опасения, которые считались устаревшими.

П. Х. Вас не удивляет, что ваши книги так часто предсказывают ход истории?

Д. Д. Писатели вроде меня — черпающие вдохновение в культуре, в которой живут, — естественно, стремятся отразить дух времени. Надо показать происходящее так, чтобы понять его яснее. И, возможно, я действительно кое-что вижу яснее и замечаю чуть раньше, чем другие. Например, в моих книгах вновь и вновь фигурируют террористы. Почему? Да просто потому, что они существуют в реальности!

Из интервью еженедельнику “Цайт” от 11 октября 2007 года

Беседу вели Кристоф Аменд и Георг Диц

“Цайт”. Расскажите, пожалуйста, как вы стали писателем.

Дон Делилло. В двадцать восемь лет я ушел с работы, из рекламного агентства, потому что хотел писать романы.

© С. Силакова. Перевод, 2010
© Cristof Amend, 2007
© Gregor Diez, 2007

Просто однажды утром проснулся с мыслью: "Все, увольняюсь".

"Ц.". Как-то вы сказали, что не знали тогда, станете ли писателем, и просто хотели пожить писательской жизнью.

Д. Д. Да, я полагал, что жизнь писателя состоит из трех вещей: он пьет кофе, курит сигареты и время от времени окидывает взглядом окружающую действительность. Меня все это страшно привлекало.

"Ц.". А теперь, спустя четыре десятилетия, как у вас обстоит дело с этими приметами писательской жизни?

Д. Д. Курить я давно бросил, пить предпочитаю чай. Но все остальное оправдало мои ожидания.

"Ц.". Расскажите, пожалуйста, как родился ваш новый роман "Падающий".

Д. Д. Обычно я забываю об очередном романе, как только дописываю его до конца. С "Падающим" вышло иначе. Только через год с лишним я начал ощущать, что понемногу освобождаюсь из-под его гнета. Честно говоря, до сих пор не освободился.

"Ц.". В своих произведениях вы и раньше обращались к теме заговоров и политических убийств. После 11 сентября вы ни разу не сказали себе: "А ведь я мог придумать этот сюжет!"

Д. Д. Ни разу, что вы! Но спустя три дня после терактов мне позвонил друг и сказал, задыхаясь от волнения, что держит в руках мой роман "Преисподняя". На обложке — фотография башен-близнецов, окутанных туманом. А ведь мне и в голову не приходило, что эту картинку можно понять та́к.

Поначалу я даже не собирался писать роман об 11 сентября. У меня был замысел другой книги, и я уже работал над ней полгода, как вдруг в голове возникла картинка: мужчина идет после теракта по улицам Манхэттена, окутанным саваном из пыли и пепла. Позднее я узнал, что такая фотография существует на самом деле, но в то время я даже не подозревал о ее существовании. Просто у меня в голове возникла картинка. Это было в 2004 году. Прошло месяца два, и я засел за работу над "Падающим". Точную дату помню до сих пор — это было в ноябре 2004-го, на следующий день после переизбрания Джорджа У. Буша. Я почувствовал, что надо что-то противопоставить победе Буша. Стал собирать материал: читал статьи, книги. Мне попалась и фотография, которая точно соответствовала картинке в моей голове. На ней изображен бизнесмен, весь в грязи и пепле, с портфелем в руке. После терактов этот снимок напечатали во многих газетах. Я спросил себя: "Кто этот человек? Что ему довелось испытать? И что это за портфель у него в руках?" Я дал волю воображению, и вдруг мне

пришло в голову, что портфель чужой. Но чей? Почему этот человек прихватил с собой чужой портфель? Я, точно сыщик, стал расследовать собственный сюжет.

"Ц.". Расскажите поподробнее о вашем методе работы над "Падающим".

Д. Д. Две трети книги я написал за год. Писал, как бог на душу положит. А затем разделил роман на отдельные куски и переставил их по-новому, чтобы изменить внутреннюю структуру, создать гармоничное целое, ритм — такой, чтобы определенные элементы возникали вновь и вновь, с продуманными интервалами. Я чувствовал себя архитектором, проектирующим здание.

"Ц.". Вы говорили: "Я мыслю фразами, фраза за фразой".

Д. Д. Да, я мыслю фразами: фраза за фразой, кладу камень на камень. И из фраз, которые вышли из-под моего пера, что-то узнаю о персонажах своего романа. Каким-то загадочным образом фразы приоткрывают передо мной суть произведения. Пока я не начну писать, я по-настоящему не сознаю, что, собственно, хочу сказать. Только в процессе работы у меня появляется фундамент. Кстати, это мое свойство часто проявляется и в разговорах о политике. Часто я обнаруживаю: я сам не знаю своей позиции по тому или иному вопросу, пока не заговорю на эту тему.

Кстати, только дописав "Падающего", я впервые в жизни понял, как можно реагировать на подобные события средствами литературы. Писатель способен пролить свет на вашу внутреннюю жизнь. Он в силах описать страх и скорбь человека — описать через диалоги, через сны, через мысли. Для историка или биографа эти методы исключены. Писатель не должен ничего подтверждать фактически — по крайней мере, в том смысле, в каком это должен делать автор документальной книги. Как подтвердить сновидение? Зато писатель в силах описать истину иного типа, но не менее важную, чем истина историка.

"Ц.". Какие истины отражены в образах главных героев "Падающего" — Кейта и Лианны?

Д. Д. В моем романе две пары: Кейт и Лианна, Нина (мать Лианны) и ее друг, немец Мартин. Кейт и Лианна состоят в законном браке, у них есть сын, но за несколько лет до 11 сентября они расстаются. Что же происходит после терактов? Кейт и Лианна сближаются, их отношения возобновляются, а Нина и Мартин ссорятся и отдаляются друг от друга. Вот вам могущество терроризма: он изменяет нашу жизнь.

"Ц.". Что за человек Кейт?

Д. Д. Забавно, что после терактов Кейт впервые в жизни задается этим вопросом: "Кто я? Что я за человек?" Внезапно

сознает, что очень любит сына, хочет быть с ним рядом. А Лианна всегда хотела подражать другим, стать их подобием. и только после 11 сентября словно бы начала осознавать собственную силу.

"Ц.". Вы говорите о своих персонажах так, словно жили с ними под одним кровом.

Д. Д. Только не подумайте, что я кого-то из них люблю, а кого-то ненавижу. Скажу так: мои персонажи и я — мы вместе идем одной дорогой, и я завороженно наблюдаю за их житьем-бытьем.

"Ц.". В итоге "Падающий" стал романом о глубоко интимных переживаниях.

Д. Д. Да, я рассказываю историю о личной жизни героев. которая обрамлена событием мирового значения. Но попутно "Падающий" сделался книгой о воспоминаниях, о роли воспоминаний в нашей жизни. Десять лет назад я регулярно участвовал во встречах группы людей, страдающих болезнью Альцгеймера, и не подозревал, что однажды напишу об этом. Занятие начиналось с того, что участники двадцать минут писали — излагали на бумаге свои воспоминания. А потом пускали свои сочинения по кругу, обсуждали. Участники обожали эти занятия; а я просто безмолвно наблюдал и слушал.

"Ц.". Как вы заинтересовались болезнью Альцгеймера?

Д. Д. Ею заболела моя теща. Первоначально на занятия группы стала ходить моя жена. Было до боли трогательно слушать, как люди рассказывают друг другу о своей жизни, делятся воспоминаниями, деталями, чувствами — всем, чего в современных СМИ ни за что не найдешь. На занятия группы я ходил еще в начале 90-х, но вспомнил о них, когда задумался об 11 сентября и теме коллективной памяти. На примере этих занятий я хотел показать, что воспоминаниями необходимо делиться друг с другом, хотя мы иногда чураемся собственных воспоминаний.

"Ц.". А можно ли назвать "Падающего" политическим манифестом?

Д. Д. Нет, я просто хотел разобраться в событиях 11 сентября, день за днем, фраза за фразой. Я начал регулярно ходить на выборы только после терактов — а раньше долго не ходил. Надо признаться, жена и сейчас заставляет меня. В день выборов практически выпихивает за дверь: "Иди, пусть твой голос зачтется".

"Ц.". К какому политическому лагерю вы себя относите?

Д. Д. Я независимый. И больше на эту тему распространяться не желаю.

"Ц.". Почему?

Д. Д. Хм... В Бронксе, где я вырос, вам бы ответили: "Не ваше собачье дело". (*Смеется*). Не хочу декларировать свою политическую позицию.

"Ц.". Есть ли что-либо общее между писателем и террористом?

Д. Д. Террорист способен изменить мир, повлиять на него по-своему. 11 сентября — яркий, ужасающий пример тому. Оно изменило все: город, людей, планету. Жанр теракта, так сказать, отличается простотой и недвусмысленностью: этим и объясняется его популярность. Террорист, совершающий свой акт, выступает в уникальной роли, выделяется среди всего человечества. Когда я увидел знаменитую фотографию террориста Мохамеда Атты — ту самую, с его водительских прав, — я не мог оторвать взгляда от его глаз. По глазам было видно, что он знает нечто очень важное: отлично сознает — факт получения им американских водительских прав изменит мир навеки.

"Ц.". А вы тоже испытываете желание изменить мир навеки?

Д. Д. Естественно, сравнивать террориста с писателем напрямую — полный абсурд. Вы это понимаете, верно? Но были времена, когда и писатель оказывал определенное влияние на образ мыслей своих современников, их мировоззрение, их жизнь. Это удалось Кафке, Беккету. Творчество Кафки навеки изменило наш взгляд на мир. Сохранила ли литература эту свою власть? По-моему, нет. Великие романы пишутся и сегодня, но мир они больше не переделывают.

"Ц.". В самом деле? Почему вы настроены так пессимистично?

Д. Д. Мы живем в эпоху скоростных СМИ, телевидения, Интернета. Вот что, а не книги задает темп нашей жизни.

"Ц.". Но разве вы не боретесь с этой тенденцией, обращаясь в своих произведениях к главным темам нашей эпохи?

Д. Д. Мне просто приходит в голову замысел, и я воплощаю его в книге. Если бы мои произведения способны были менять мир, я бы перепугался. Я никогда не стремился изменить мир. Вот Норман Мейлер стремился — задался целью изменить сознание нашей эпохи. И, по-моему, в 1960-е годы ему это почти удалось. Но во мне ничего мейлеровского нет.

"Ц.". Как, по вашему мнению, воспринимают вас читатели?

Д. Д. Об этом я стараюсь не задумываться особо. Писателю опасно быть таким, каким его воображает себе читающая аудитория. Если ему не удастся этого избежать, он закостенеет в некой позе, срастется с имиджем, который будет поддерживать. И писатель в нем погибнет. Видите ли, неверно счи-

тать, будто я задумываюсь о каком-то историческом явлении и хитроумно встраиваю его в роман. Я пишу бессознательно. В этом смысле я — все равно что живописец или скульптор, который в своих картинах или скульптурах отражает дух времени, хотя совершенно не может его проанализировать.

"Ц.". В своем первом романе, "Американа", опубликованном тридцать шесть лет назад, вы предвосхитили ощущения наших современников — ту самую атмосферу, которая формируется теперь путем культивирования собственного имиджа в Интернет-блогах и в реалити-шоу на телевидении. Тогда вы написали, что многие люди способны уверовать в реальность своего существования, только если их засняли на видео.

Д. Д. Не далее как вчера я получил письмо с глубоким анализом моего творчества, и в нем тоже была приведена эта цитата. Должен признаться, я давным-давно позабыл об этой своей фразе. Странно, да? Что только творится в писательской голове? О том, что творится в моей, я кое-как способен рассказать. А вот другие писатели — загадка и для меня. Говорить о писательстве необыкновенно трудно. Когда я встречаюсь с друзьями-писателями, мы предпочитаем разговаривать о кино, политике, спорте, о чем угодно, но только не о литературе.

Из интервью журналу "Герника", июль 2007 года

Беседу вел Марк Бинелли

Марк Бинелли. Теории заговора, секты, прибегающие к насильственным методам, религиозный фанатизм — все это ваши излюбленные темы. В рецензиях на ваши ранние книги непременно употреблялся эпитет "параноидальный", который позднее сменился словом "пророческий"...

Дон Делилло. Я всего лишь пытаюсь проникнуть в смысл подводных течений, пронизывающих нашу культуру. Именно поэтому в моих ранних романах так силен мотив паранойи.

М. Б. По-видимому, писать об 11 сентября — труднейшая задача. В более ранних романах вы тоже описывали подобные события — например, в "Белом шуме" над городом проплывает ядовитое облако, — но всегда с долей иронии, дистанцируясь от происходящего.

© Mark Binelli, 2007

Д. Д. Да, задача чрезвычайно трудная. К тому же я решил нырнуть в самую гущу событий — это отнюдь не облегчило мне труд. Не хотелось, чтобы герой моей книги наблюдал за терактами со стороны, чтобы случившееся лишь косвенно затрагивало жизнь кучки персонажей. Я хотел оказаться в башнях и на борту самолетов.

М. Б. Один из персонажей "Падающего", Хаммад, — участник захвата самолетов. Вы не подумывали написать с его точки зрения всю книгу?

Д. Д. Мне не хотелось, чтобы роман получился слишком политизированным. На примере террориста я собирался проследить эволюцию одного конкретного человека, который начинает с аполитичного существования, а кончает самопожертвованием, участвуя в чудовищном теракте. Я собирался проследить и проследил. Только не думайте, будто таков был замысел с самого начала. Видите ли, почти всегда я просто сажусь писать и через характер персонажа прихожу к ощущению некоей общей закономерности, которая, возможно, описывает его жизнь. В случае Хаммада я хотел разобраться в том, как человек, абсолютно далекий от религии, может прийти к религиозности исключительно через пламенное чувство товарищества и сплоченности. Товарищество — вот сила, которая им движет. В конечном счете религия, политика или история над ним не властны. Мой герой просто ощущает кровное братство с другими членами ячейки. Сыграла свою роль и сосредоточенность на заговоре: она чрезвычайно сужает представления террористов о мире, позволяет им действовать, не задумываясь о безвинных жертвах, которых они собираются убить.

М. Б. Вы часто пишете о подобном добровольном аскетизме. В "Падающем" есть замечательная сцена, где несколько человек, еженедельно играющих вместе в покер, начинают вводить абсурдные ограничения: запрещают себе делать то одно, то другое. Потом у этого появляется параллель — некоторые правила, навязанные главарями рядовым террористам.

Д. Д. Верно. Правда, сцену с игроками в покер я сочинил в основном потому, что она показалась мне забавной. Вряд ли я могу четко объяснить, почему мои персонажи склонны к аскетизму. Могу только привести примеры из нескольких романов, в том числе "Грейт-Джонс-стрит", где рок-звезда бросает свою музыкальную карьеру и поселяется в какой-то комнате в закоулках Нижнего Манхэттена. Возможно, я наделен генетической предрасположенностью к аскетизму, которой по-настоящему даю выход только в книгах.

М. Б. А вас лично не тянет к таким ограничениям?

Д. Д. Только в самом общем смысле: я не самый общительный человек и могу подолгу оставаться в одиночестве.

М. Б. Персонажи ваших более ранних книг иногда признавались в амбивалентном отношении к терроризму. В начале романа "Игроки" вы описываете "шик революционной вооруженной борьбы, затаенное вожделение, пробуждаемое ею в самой кроткой душе..." А один из героев "Мао II" говорит: "Вам тяжело, когда террористы убивают и калечат, поскольку в них вы видите единственно возможных героев нашего времени. Они живут в подполье, добровольно живут бок о бок со смертью"[1]. После 11 сентября ваше личное отношение к терроризму изменилось?

Д. Д. Нет, не изменилось. Обычно я пишу от имени персонажей, пропуская все через их сознание, и разные персонажи моих книг относятся к терроризму по-разному. Один из героев "Падающего", Мартин, более-менее старается понять претензии, предъявляемые к себялюбивой душе Запада. Он спорит с другой героиней, Ниной, которая теоретически согласна с этими претензиями, но крайне возмущена и шокирована терактами.

М. Б. А вас лично после терактов не раздирали внутренние противоречия?

Д. Д. Ни в малейшей степени. Я сразу почувствовал, что мне отвратительно и то, что случилось, и резоны, которыми это оправдывают.

Через несколько дней после терактов в ВТЦ я пробрался в Нижний Манхэттен. Гражданских лиц туда вообще-то не допускали, но жителей домов, которые оказались в зоне оцепления, могли и впустить. Туда пускали лишь гражданских лиц, которые проживали в этом районе, по предъявлении справки. Меня провел мой редактор. Все было серое. Практически полное безлюдье. На тротуарах — штабеля невывезенных мешков с мусором. Мне показалось, что я в каком-то старинном городе — старинном, полуразрушенном городе какой-то другой цивилизации и этот город осажден врагами. Люди попадались редко, и почти все шли и разговаривали по мобильному — описывали, что видят.

М. Б. Как вы относились к некоторым радикальным организациям 60-х годов — например, "Везер Андеграунд"[2]? В "Падающем" героиня отзывается о персонаже, который в

1. Роман "Мао II" вышел в 1991 году; на русском языке увидел свет в № 11–12 "ИЛ" за 2003 год, перевод С. Силаковой. *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Американская леворадикальная организация (1969–1973). Подкладывала бомбы в правительственные здания и частные банки в знак протеста против войны во Вьетнаме и других политических акций.

прошлом, возможно, был ультралевым террористом: "Может, он и террорист, но из наших, то есть из безбожников, из белых людей с Запада".

Д. Д. Организации типа "Везер Андеграунд" не были порождениями чужой культуры. Для нас, людей западной культуры, они не были "другими", в отличие от террористов-исламистов. По-видимому, некоторым ультралевым оказалось проще вернуться и остаться уважаемыми в обществе людьми. Думаю, с террористами, которые не принадлежат к нашей расе или говорят не на наших языках, этого не произошло бы.

М. Б. А как вы тогда, в 60-х, воспринимали насилие радикалов?

Д. Д. С одной стороны, я мог понять, откуда берется этот радикализм. С другой — очень часто он казался бездумным и терялся среди других особенностей контркультуры той эпохи. Я сам участвовал в маршах, протестовал, как и десятки тысяч других, против войны во Вьетнаме. Но так до конца и не понял, зачем подкладывать бомбы в научные лаборатории или офисные здания.

М. Б. А чувствовали ли вы какую-то общность с контркультурой 60-х?

Д. Д. Я никогда не выступал ни за культуру, ни за контркультуру. Занимал какую-то промежуточную позицию — ее трудно описать. Жил я, довольствуясь самым малым. Телефон обходился мне в четыре доллара тридцать центов в месяц. Жилье я снимал за шестьдесят долларов в месяц. И пробовал себя в литературе. Итак, в определенном смысле я игнорировал тогдашние общественные движения. В моем первом романе они не играют серьезной роли.

М. Б. Вы обходились малым просто потому, что были сосредоточены на своей работе, или это скорее объяснялось вашим положением нищего непризнанного писателя?

Д. Д. Скорее второе. Но тот факт, что один из героев моего второго романа в итоге оказывается в диких местах на западе Техаса, а герой третьего начинает вести затворническую жизнь, симптоматичен для моих тогдашних настроений.

М. Б. Вернемся к "Падающему". Мне вспомнилось, как в этом романе дети неправильно расслышали фамилию Бен Ладен и стали говорить Билл Аден — никакого налета экзотики. И еще вспомнилось, как некоторым персонажам мерещатся башни-близнецы на натюрморте, где изображены кувшины и прочая кухонная утварь. Это ваше сознательное решение: увязать событие, которое ошеломило массу людей, с чем-то тривиальным?

Д. Д. Да, совершенно сознательное. Я задумался о влиянии истории на мельчайшие подробности повседневной жизни и попробовал проследить за внутренней жизнью отдельного человека, день за днем, мысль за мыслью. Сейчас мне приходит в голову, что, возможно, эта задача для прозаика даже занимательнее, чем работа над сюжетом: хочется докопаться до мельчайших деталей заветной внутренней жизни, всего, что люди переживают, чем делятся в разговорах. Но заранее я этого не планировал. Просто вознамерился четко обрисовать персонажей и сделать так, чтобы по ходу чтения выстраивалась уравновешенная композиция, чувствовался ритм, повторялись элементы. Именно это и доставляло мне удовольствие. Мне кажется, такой метод роднит прозаиков с художниками. Особенно с художниками-абстракционистами. В одном углу полотна высматриваешь детали, которые созвучны деталям в другом.

М. Б. Года два назад в "Нью-Йорк таймс" появилось эссе писателя Бенджамина Канкеля о террористах и литературе. и в качестве основного примера там фигурировали вы. Снова процитирую "Мао II": "То, что террористы завоевывают. писатели теряют. 'Прирост' влияния террористов на массовое сознание равен уменьшению нашей [писательской] власти над думами и чувствами читателей. Опасность террористов в точности эквивалентна безобидности нас, писателей". Насколько я понимаю, Канкель позаимствовал вашу мысль и вывел из нее, что писатели разделяют мнение вашего героя: в эпоху терроризма они ощутили, что утратили свое значение.

Д. Д. Ничего не могу сказать. Человек, который в романе произносит эти слова, даже не писатель. Он пиар-директор террористической организации. Не знаю, стал ли бы я формулировать подобную мысль столь же четко, если бы выражал свое личное мнение. И все же в период работы над "Мао II" у меня появилось ощущение, что из-за терроризма, диктатур и разных потрясений значение обычных новостей возросло на порядок — новостей по радио, по телевизору, в газетах, в журналах. Казалось, новости воздействуют мощнее. чем в прежние годы. Но подорвало ли это влияние художественной литературы? Возможно, подорвало, в некотором роде. Но я лично не стал бы преувеличивать.

Лоран Годе

Рассказы из сборника “В *мозамбикской ночи*”

Перевод Татьяны Чугуновой

Невольничья кровь

Бертрану Пи.
Спасибо за все, чем обязаны
тебе мои книги.

Вы разглядываете меня. Вам страшно. Лихорадочность, сквозящая в моем облике, пугает вас. Я улыбаюсь. Дрожу. Конченый человек, думаете вы. Я не поднимаю глаз. Часто вскакиваю, при малейшем звуке, от малейшего вашего жеста. Я борюсь с тем, чего вам не видно, чего вы даже не в силах себе вообразить. Вам меня жаль, и вы правы. Но я не всегда был таким. Когда-то я был человеком.

Сегодня, когда я мысленно возвращаюсь к тем событиям, — несмотря на то, что прошло столько времени, несмотря на

© Laurent Gaudé. Actes Sud, 2007
© Татьяна Чугунова. Перевод, 2010

мой изъеденный кошмарами, отравленный страхом рассудок, несмотря на недоверие ко всем и вся, заставляющее меня избегать человеческого общества, — сегодня я уверен: сходить с ума, незаметно для себя самих, мы стали в тот самый день. Именно в тот день мы перешли грань, отделявшую нас от ночи, которая мало-помалу поглотила нас одного за другим. Именно с того дня, — теперь-то я отдаю себе в этом отчет, пусть мой рассудок и поврежден, о чем, не стесняясь, говорят мне все встречные, — да-да, именно с того дня жизнь насмехается надо мной. Она ломает меня, лишает покоя и сна. Я совсем не тот, что прежде. Я внушаю ужас, у меня кошачий взгляд и худоба чахоточного. И все же, хоть меня и считают помешанным — я не опровергаю этого, настолько лихорадочное возбуждение и панический страх овладели мною, — я ясно вижу все, что тогда произошло.

— Командир, пятерых не хватает...

Все началось с этой фразы Кромбека. Это был старый морской волк, которому в бурю концом троса оторвало ухо. Он исподлобья смотрел на меня взглядом провинившегося и в то же время обиженного ребенка. Он не обратился ко мне, как положено, не назвал капитаном, потому как хотел дать почувствовать — в его глазах я всего лишь временно исполняющий обязанности Брессака, выдвинувшийся на первые роли по прихоти судьбы, не настоящий капитан, во всяком случае пока.

— Как так не хватает? — изумился я.

— Три раза пересчитали, — спокойно ответил он. — Можете не сомневаться. Пятерых не хватает.

Я закусил губу и стал соображать. С нашего судна сбежали пять негров. Пять негров вырвались за пределы порта и теперь наверняка находятся где-то в черте города. Под покровом ночи станут грабить, насиловать и бог знает, что еще творить... Тут меня будто кольнуло изнутри: возникло некое обстоятельство, с которым нам не совладать. Нечто неодолимо страшное. Судьбе было угодно поиграть с нами, и ничего с этим нельзя было поделать.

Со словами "Будь проклято все!" я устремился на судно, чтобы поднять по тревоге всю команду.

А началось все в Горе, у берегов Сенегала, когда капитана Брессака угораздило помереть. Мы стояли на якоре двенадцать дней, пока закупали черное дерево и грузили его на борт. Намеревались взять курс на Америку, как делали уже не

раз, а тут Брессак возьми да и заболей. Я временно принял на себя его обязанности. Обычное дело. Должен же кто-то проследить за заключительным этапом погрузки. Брессак три дня не выходил из каюты. Сначала говорили "занемог", потом "разболелся не на шутку", а после вообще перестали обсуждать эту тему. Доктор, которого мы пригласили, поднялся на борт с усталым видом и больше не покидал каюту капитана. А через три дня вечером вышел, чтобы сообщить нам о смерти Брессака: лихорадка сожрала его. Осталось лишь исхудавшее тело на пропитанных потом простынях.

После смерти Брессака роль капитана перешла ко мне. Надо было, не теряя времени, закончить погрузку и распрощаться с Африкой и лихорадкой, привязчивой, как дымка, окутывающая здешние скалы.

Ныне я поражаюсь, как можно было не почувствовать, что вокруг нас кружит беда, что это она провоцирует череду непредсказуемых событий и подвигает нас на принятие тех или иных решений. Нам бы бояться собственной тени, но где там! Тогда мы были крепкими мужиками, которых не запугать нипочем. Я взял на себя командование судном. Никто не возражал, и слава Богу. Вообще же смерть капитана не произвела особого впечатления на привычную ко всему команду. Цинга следовала за судами, как баклан за рыбацкими барками в бухте Канкаль, и косила всех без разбору.

Но я допустил промах, оказавшийся роковым. Не понимаю, как такое пришло мне в голову. Этот вопрос терзает меня до сих пор. Надобно было предоставить старину Брессака той участи, что ожидала каждого, кому суждено помереть в плаванье: быть похороненным в морской пучине. И все. Шум волн вместо заупокойной молитвы. Но я распорядился поступить иначе. Оттого ли, что знал капитана всю свою жизнь? Оттого ли, что знал его вдову, и счел своим долгом доставить ей тело мужа? Словом, я велел изменить курс: подняться до Сен-Мало, предать останки Брессака земле и уж затем продолжить плаванье в сторону Америки. Это было полное безумие. Но все промолчали. Уж не рок ли, затуманивший мой рассудок, сковал и волю команды, чтобы мы все непременно совершили неверный поступок? А может, им это было на руку: выпала возможность раньше срока повидаться с родными?

Сегодня меня не покидает уверенность: душа капитана прокляла меня за такое решение. Он предпочел бы упокоиться на дне морском. Возвращаться в Сен-Мало, чтобы передать его тело семье, было гибельной ошибкой. Посудите са-

ми: кому нужно зловонное, несколько недель разлагавшееся тело?

Мы снялись с якоря. Постепенно исчез из виду остров Горе. Из чрева судна стали доноситься стенания негров. Всегда одно и то же: стоит Африке скрыться за горизонтом, поднимают плач. Но мы привыкли и стонов их будто не замечали.

Мы взяли курс на Францию, пошли к родным берегам – так пес, оставшись в одиночестве по смерти хозяина, непременно возвращается домой. Никаких опасений у нас не было. Мы распевали на палубе, не слыша, как под нашими ногами скрежетали зубами и бились головой о балки невольники.

Как-то под вечер, после нескольких недель плавания мы добрались до места назначения. Небо хмурилось. Крепостные стены города мрачно взирали на нас. Дети наблюдали с набережной, как мы маневрируем при заходе в порт.

Я счел, что перво-наперво надо выгрузить гроб с телом. Вдову предупредили, она пришла встречать нас в окружении детей. Никто не известил бедную женщину, что тело ее мужа уже несколько недель гниет в трюме, а живой товар, помещенный под ним, день и ночь тошнит от такого соседства. Никто не сказал ей, что старина Брессак на том свете, должно быть, молится о том, чтобы его останки выбросили за борт, а не таскали по всем морям.

Мы медленно выгрузили гроб. Постарались, чтобы все было как надо, торжественно. Похоронные дрожки стояли наготове. Мы двинулись следом за ними и вдовой с детьми по улочкам города. В похоронной процессии участвовала вся команда и все добропорядочные горожане: судовладелец, капитаны, знать, кое-кто из прелатов...

Погребение прошло спокойно, без надрыва, разве что с грустью перед лицом неминуемой смерти, ожидающей любого из нас. При этом все мы отчего-то ощутили, что нашем покою конец.

С кладбища возвращались, разбившись на группки. Надели фуражки, раскурили трубки. Шли и рассуждали о чертовой лихоманке, прикончившей человека быстрее, чем море. И тут мы услышали крики. Стайка мальчишек мчалась нам навстречу.

– Они пытаются сбежать! Хотят сбежать! – выкрикивали они.

Я тотчас понял: речь идет о моем судне. Неужто невольники вырвались из самого его чрева? И это – на виду у всего города! Краска стыда залила мое лицо. Да как же так? Как им уд-

лось? Мальчишки понесли весть дальше. Поднялся шум. Я прямо-таки кожей ощутил: во всем обвинят меня. Нужно было успокоить, обнадежить горожан, показать, что я чего-то стою.

— Пойду займусь ими, — бросил я толпе и сделал знак своим подчиненным следовать за мной, а когда мы устремились к порту, с негодованием добавил на бегу: — Разыщем их и покажем, какова свобода на вкус!

В порту царило нечто несусветное: ротозеи вперемешку с моряками, перепуганные дети, все куда-то бежали... Неграм удалось, непонятно как, открыть крышку люка в трюме и выбраться на палубу. Моряки с соседних судов, увидев это, попытались пресечь бегство. Началась потасовка, в ход пошли кулаки. Все кричали. Еще немного, и обезумевшие негры, окруженные со всех сторон и теснимые к середине палубы, стали бы прыгать на причал, что было равносильно прыжку в бездну. Мы подоспели как раз вовремя, иначе они, как стая саранчи, бросились бы врассыпную.

Сегодня, когда я мысленно возвращаюсь к тем событиям, намерение негров покинуть судно кажется мне бессмысленным. До смешного бессмысленным. Ну куда бы они делись? Неужто и впрямь воображали, что смогут укрыться в незнакомом городе? Да и задавались ли они вообще какими-нибудь вопросами? Не гнал ли их инстинкт самосохранения? Покинуть посудину, везущую их в ад. Только этого им и было нужно. Покинуть посудину, везущую их в ад. Выбраться из трюма, где они неделями блевали. Очутиться на земле. Бежать куда глаза глядят. Подальше от корабля. Только это им и было нужно. Ничего больше.

Примчавшись в порт, мы схватились за мушкеты. Я с одного выстрела уложил на месте первого попавшегося мне на глаза негра. С простреленной грудью он упал к ногам соплеменников. Это несколько отрезвило остальных. На мгновение они замерли. Воспользовавшись их замешательством, мы поднялись на борт, крича как оглашенные и раздавая направо и налево тумаки всем, кто подворачивался под руку. Порядок был наведен в считаные минуты.

Я немного успокоился. Попытку побега мы пресекли. Худшего удалось избежать. В глазах городских властей я не ударил лицом в грязь. Если повезет, так меня еще и похвалят за быстроту и хватку, с которой я положил конец бунту.

Однако недолго пришлось мне почивать на воображаемых лаврах. Кромбек спустился в трюм навести порядок. А когда

поднялся, лицо у него было какое-то растерянное. Он сообщил мне, что недостает пяти невольников, и ждал моих распоряжений. А я все не мог взять в толк, как им удалось сбежать. Никто не видел, чтобы хоть один человек добрался до причала, но факт был неоспорим, как арифметическая истина: пятерых недоставало.

Они, должно быть, уже добрались до Сен-Мало, и произошло это по моей вине. Придется устраивать облаву, вытаскивать их из нор, в которые они заберутся. Ругаясь на чем свет стоит, я сошел с судна, и в ту самую минуту, когда коснулся ногой причала, у меня по спине пробежал холодок. Клянусь, я всем своим существом ощутил: на меня свалилось нечто такое, от чего мне не отделаться во всю свою жизнь.

Действовать следовало быстро. На кону стояла моя репутация. При этом они нужны были мне живыми, иначе плакали мои денежки, а сам я сделался бы всеобщим посмешищем. Я оглянулся на подчиненных. Меня бесило, что они стали свидетелями случившегося, бесили их мысли, о которых нетрудно было догадаться: такого не произошло бы, будь жив капитан. А еще в их взглядах читалось: ты не фартовый. Я сжал кулаки и велел приготовиться к погоне. Несколько мгновений спустя мы ворвались в город подобно своре разъяренных псов.

Я первым услышал отдаленные крики, долетевшие до Больших Ворот.

— Там! — указал я, и все, как по команде, повернули головы.

Вопли. Мы бросились к Большим Воротам. Наступили сумерки, но плотная толпа, собравшаяся у подножия крепостных стен, не расходилась.

— Он там! — послышались озлобленные выкрики, и нам указали на окружную дорогу, идущую по крепостной стене.

Перепрыгивая через ступеньки, взбежали мы вверх по лестнице. Негр забился в углубление одной из башенок. Судя по всему, он пытался укрыться там, надеясь, что о нем забудут, если он перестанет двигаться. Но толпа внизу не унималась, на него показывали пальцем. Он оцепенел от ужаса при виде всех этих белых, обращенных к нему лиц. Мы стали медленно приближаться к нему.

— Спокойно, ребята. Нет смысла добивать его.

Тот, видно, понял, что́ я сказал. Он вдруг выпрямился и во все глаза уставился на нас. Мы все еще находились ниже него. Внезапно, не издав ни звука, он бросился бежать, пере-

прыгнул через стену и исчез из виду. Мы не успели ничего предпринять, только проводили его взглядами. С той стороны стены донесся ужасный звук разбивающегося тела. Я представил себе месиво из плоти и костей, мысленно распрощался с золотыми монетами, которые мы могли выручить за этого невольника, и пнул первый подвернувшийся под ногу камень.

Спустившись со стены, мы попытались пробиться сквозь толпу, чтобы забрать труп. Тут-то мне и преградили дорогу герцог и начальник отряда королевской стражи.

— Чем это вы заняты? — рявкнул он.

Я принялся было объяснять, что стремлюсь побыстрее навести порядок, но он перебил меня.

— Видели мы, как вы наводите порядок, — принялся он мне выговаривать с красным от негодования лицом. — Думаете, горожанам доставляет удовольствие, когда негры скачут по крышам домов и крепостным стенам?

Я хотел ответить, но он знаком велел мне молчать.

— Я сам займусь поимкой беглецов. Комендантский час уже введен. Сегодня же ночью покончим с этим. Действовать следует методично.

Я пытался отговорить его, но он сухо перебил меня:

— Знаю, о чем вы думаете. Да, мы их прикончим, ваших взбесившихся негров. Нужно было хорошенько за ними глядеть. Вы поможете нам. Вам же лучше, если мы поймаем их до того, как они натворят бед. И предупреждаю: ответственным за все мы считаем вас, весь город придерживается того мнения, что этот кошмар случился по вашей вине.

Он отвернулся от меня и велел своим подручным разогнать толпу. Вскоре послышались крики патрульных: "Комендантский час! Комендантский час!" Улицы быстро обезлюдели. На город опустилась ночь. На каждом перекрестке появились патрули, вскоре к ним присоединились добровольцы.

В эту ночь мне довелось видеть радость, радость участия в большой травле. Мне ее вовек не забыть. Она светилась на лицах и во взглядах. На улицах царило необычное счастливое воодушевление, оно передавалось от одной группы охотников к другой, подобно тому, как распространяется вонь от кучи гниющей рыбы.

Никто не захочет сознаться, что в те минуты нас охватил подъем, сильнее забилось сердце, кровь бросилась в голову. Город принадлежал нам. Вооружившись палками, заступами,

ножами и пистолетами и разбившись на группы, мы прочесывали город, отзываясь на любой стук, подмечая малейшую странность в прохожих. Никто ныне не признается, как все это пришлось нам по душе. А добровольцы все прибывали. Кто же откажется от охоты, от участия в ночной облаве, коль скоро каждому выдано право на убийство, да что там право — обязанность, ведь делалось это во имя безопасности наших детей. Городу понравилось. Мы даже молились, чтобы это не закончилось слишком быстро.

Сегодня, когда мне еще случается наведаться в порт или на рынок, что бывает нечасто, ведь мне невмоготу общаться с людьми, — нет, не то что общаться, даже видеть их невмоготу, так вот, сегодня я только и замечаю, до чего они безобразны. Они скрывают свое безобразие, ведут себя так, словно ничего и не было, но на их толстых и благодушных лицах торгашей я угадываю гримасу радости, исказившую их черты в ту ночь. Уж мне-то известно, что мы собой представляем. Всего-то на одну ночь мы позволили себе отдаться ударившему в голову буйному ликованию, думая, что потом сможем от него откреститься, но оно никуда не делось и с тех пор крепко засело в нас. Оно всосалось в нашу кровь. И если никто об этом не говорит, то потому только, что нужно делать вид, будто жизнь продолжается. Вот оттого-то меня и ненавидят. Я живое напоминание о той ночи. Пусть сколько угодно плюют мне вслед, это ничего не меняет: в ту ночь я действовал не один, все вкусили удовольствия от дикого развлечения.

Мы обходили город с факелами в руках. Топот наших башмаков по мостовым звучал властно и сурово, как набат. По городу поползли слухи. Одного беглеца видели у ворот Святого Людовика. Другого — на крыше рынка. Оба — гиганты с поблескивающими во тьме зубами. Даже мы, хорошо знавшие их потому, что три недели провели вместе с ними на одном судне, даже мы, понимавшие, что никакие они не гиганты, а истощенные и высохшие, как дикие звери в неволе, обычные люди, даже мы не опровергали этих слухов. Загонщикам было необходимо так думать. Всеобщее помешательство должно было беспрестанно нарастать, чтобы мы потеряли человеческий облик.

Первый был подстрелен всего час спустя после начала комендантского часа. От выстрела из мушкета бросились врассыпную уличные крысы. Его заметили, когда он вплавь пересекал бухту, как раз напротив маяка. Он все равно утонул бы, а так мы подстрелили его, потом выловили и доставили на

соборную площадь, чтобы каждый мог знать, на что похожи эти негры.

Позже еще один был забит палками, крестьяне приметили его в том месте, где улица Пи-ки-Буа круто берет вверх. Видно, он свалился с крыши, потому как совсем не двигался. Может, щиколотку повредил. Стражники набросились на него с возгласами ликования и моментально переломали ему все, что можно, он и охнуть не успел.

Третьего я самолично взял живым. Он прятался в подвале у бочара, напуганный до смерти и трясущийся от голода. Я за волосы притащил его на соборную площадь, предъявил толпе, поставил на колени и перерезал глотку. Ох, и повеселились же мы! В душе каждого из нас проснулось что-то темное, говорившее — так и следует поступать этой ночью: привести загнанного зверя в повиновение и лишить жизни. Ныне, вновь и вновь мысленно возвращаясь в ту ночь, я пытаюсь понять, как далеко мы зашли. Мне бы сделать все, чтобы оставить этого негра в живых, ведь самое трудное — поймать — было уже позади. Мне бы вернуть его на судно, спустить к соплеменникам. А затем выручить за него кругленькую сумму. Так нет! В ту ночь все жаждали крови. А может, мы никогда не были так близки к самим себе, как в ту ночь, когда согласились пойти на поводу у своего подлинного естества, признав его за нашего единственного повелителя.

Обезглавить негра означало выпустить джинна из бутылки. Поднялась волна безумия. Все знали: на воле остался только один беглец, и каждому хотелось самому его затравить. В тот миг, когда обезглавленное тело шмякнулось, будто мешок, к моим ногам, откуда-то сверху, с крыши, донесся крик. Это звал нас он, последний из беглецов. Верно, готовился дать отпор, призывая на помощь духов своего племени или проклиная нас. Последний из пятерых бросил нам вызов.

Повсюду искали мы его, метр за метром обследуя погруженные во тьму улицы, и в каждом бродячем коте нам мерещился он. Не пропустили ни одного подвала, спустились в подземный ход, ведущий в порт. В лужицах плясали огоньки, отражающие свет наших факелов. Поднимались на крыши. Дела пошли нешуточные, все равно что охота на крупного зверя, неспешная, хорошо продуманная. Себя не жалели. И ничего: ни одного звука, помимо тех, которые производили мы сами, ни одного силуэта, помимо наших собственных, неутомимо рыщущих во чреве города.

На заре большинство охотников разошлись по домам. Мы – нет. Не давать беглецу ни малейшей передышки. Кое-что пришло мне в голову. Я велел Кромбеку выпустить в город десяток негров. Каждому намотать на шею толстую цепь. Мы взяли себе по негру, будто пса на поводок, и разбрелись в разных направлениях. Звон цепи возвещал о нашем приближении. Сами мы шли молча, а раба заставляли то и дело звать беглеца, убеждать его сдаться, мол, хуже не будет, все одно – не уйти...

Однако день подошел к концу, а мы так ничего и не добились. Городские власти призвали меня к ответу. Я пробовал втолковать им, что беглец не иначе как сдох: верно, забился в какую-нибудь нору и задохнулся оттого, что боялся дышать и быть обнаруженным собаками. Мне не поверили и постановили: быть ночному дозору, дабы город не терял уверенности – если он и жив, то не причинит никому вреда.

На вторую ночь мы заступили на дежурство, будто на корабельную вахту: сменяя друг друга, неспешно обходили соборную площадь и всю крепостную стену. Мы были уверены: больше уже ничего не случится. Воображение рисовало мне картины минувшей ночной охоты, лица ее участников, преобразившиеся от возбуждения.

Посреди второй ночи я услышал зов Кермарека. Он долетел до меня от ворот Святого Петра. Зов был властный. Я бросился туда, уверенный, что предстоит драка, но завидев своего помощника – с белым как полотно лицом и трясущимися губами он указывал на дверь какого-то дома, – я понял: беглец жив и настал его черед поиграть с нами.

На двери висел палец. Черный кровоточащий палец был гвоздем прибит к деревянной двери. Словно вестник несчастья. Но как же так? Ошеломленные, мы замерли. Одни и те же вопросы вертелись у каждого в голове, а потому не было нужды говорить что-либо. Почему он отрезал себе палец? Был ли вооружен? Где раздобыл гвоздь? Чего добивается? Долго стояли мы перед этой загадкой, затем понемногу пришли в себя и предупредили остальных. Заново были сформированы отряды, зажжены факелы. И снова мы вышли на охоту, и снова ничего. Лекарь изучил палец: палец как палец. мизинец левой руки. Возможно, беглец хотел нас напугать. Нельзя показывать ему, что нам страшно. Но как бы мы друг друга ни успокаивали, все были напуганы, отрезанный палец сделал свое дело.

Охота продолжалась все следующие дни. Стражники уже набрались опыта, но ничто не нарушало спокойствия погруженных в дремоту улиц.

Городские власти в конце концов распорядились о систематическом осмотре всех подземных помещений. Часами не выходили мы на свет Божий, меряя шагами ходы, о существовании которых никто из нас раньше не подозревал. Мы были уверены: все это зряшная затея и здесь его нет. Однажды вечером, в очередной раз поднявшись на поверхность, мы обнаружили, что город снова охвачен лихорадочным возбуждением: к двери был прибит еще один палец, на сей раз лекарь опознал его как указательный.

Но больше всего потрясло обывателей то, что прибит он был к двери особняка, принадлежащего судовладельцу. Тому самому, который зафрахтовал наше судно. Откуда невольник мог об этом знать? По городу поползли зловещие слухи. И в тот же день, чуть позднее, когда дочь судовладельца, девочка восьми лет, попала под экипаж, началась уже настоящая паника. Как тут было не связать два события? Палец навлек-таки на город беду. Отныне само небо грозно взирало на нас, потому что мы были ему отвратительны.

Ритм жизни в последующие недели задавали ночные рейды, в результате которых на улицах обнаруживали разве что подвыпивших моряков да укрывающихся от дождя котов. Но мы регулярно находили пальцы, прибитые к перепачканным в крови дверям. Беглец продолжал отрубать себе пальцы и оставлять там, где считал нужным, это походило на вызов Каннибала. А дома, на которые падал его выбор, были не случайными. Дом вдовы капитана. Дом командующего всем капитанским корпусом. Герцогский дворец. Словно он знал, кто есть кто и кто где живет. Словно желал указать небу на каждого виновного. Он проклял нас, и теперь уже перст Божий был наставлен на нас. И всякий раз, как появлялся палец, случалось несчастье: у жены герцога случился выкидыш, командующий слег от непонятной болезни. Все эти совпадения повергали простолюдинов в священный ужас, и в воздухе витал вопрос: кто следующий?

Мне же казалось, что в город вселилась душа, он пришел в движение и задался целью погубить нас. Он встал на сторону беглеца и оказывал ему покровительство. С той поры это ощущение во мне только окрепло. Ныне, годы спустя, я чувствую, знаю: город выслеживает меня. У стен есть глаза. Мостовые смеются мне вслед. У домов есть пальцы, уши, рты, из-

вергающие проклятия в мой адрес. Это не просто город, а живое существо, и, я знаю, в покое меня он уже точно не оставит. Он следит за мной, плетет против меня заговор.

Шестой палец был обнаружен на двери резиденции архиепископа. В тот день мы готовились к отплытию. Пребывание в Сен-Мало слишком затянулось. Нужно было продолжить путь и завершить начатое — продать груз черного дерева в Америке и вернуться с трюмом, полным редких товаров. Нельзя было допустить, чтобы дело замерло.

Положа руку на сердце, могу признаться: я ускорил отплытие, поскольку мною овладел страх. Я не сомневался, что настал мой черед и следующим стану я сам. Хотелось бросить все к чертовой матери и бежать куда глаза глядят, а этот чернокожий пусть себе выбирает другие жертвы. Пусть укажет Господу на последних четырех виновных, а я уже буду в море. вдали от всего. Я бежал, как трус, от беды, случившейся по моей вине.

Думаю, все с облегчением вздохнули, когда мы снялись с якоря. Пребывание в Сен-Мало сводило нас с ума. Какое счастье снова выйти в море, стереть из памяти ночи травли и негракалеку!

Позже мне стало известно, что произошло после нашего отъезда. Две недели спустя десятый палец был обнаружен на главных городских воротах. Странное дело, но жители испытали облегчение. Беспорядку пришел конец, думали они. И правда, день ото дня напряжение спадало. Несколько недель ничего не происходило, жизнь вошла в обычную колею, заработал рынок. Может, беглец и был еще жив, но о нем больше не вспоминали. Да и мог ли он выжить? Без пищи, без воды. С двумя кровоточащими культями. Нет, теперь он уж точно помер, если только не испарился, будто облако.

Плавание длилось несколько месяцев. Никто из нас никогда не заводил речь об этих событиях, но как мы ни отмалчивались, как ни лгали друг другу, стараясь не ворошить прошлое, мы превратились в изрядно потрепанных жизнью стариков. вздрагивающих от малейшего скрипа.

Клянусь, мой рассказ — истинная правда. Не судите о нем по тому болезненному состоянию, в котором я нахожусь, по моим бегающим глазам, хриплому голосу, сбивчивой речи. Я утратил рассудок, от меня прежнего не осталось ничего. Пом-

ню время, когда я был мужчиной хоть куда: голова на плечах, светлый ум, сильные руки, крепкое тело. Женщины смотрели на меня с вожделением, мне все было нипочем. А теперь что? Жизнь играет со мной, как кошка с мышкой: покусывает, но не ест. Чтобы еще позабавиться. Мука, способная прикончить и тех, что посильней меня, продлится еще бог знает сколько времени. Я превратился в помешанного, но помню все. Если бы я рассказал вам про кота о двух головах или о том, как собака родила крысу, — даже и в этом случае нужно было бы мне верить, — всякое ведь случается. Став свидетелем подобного, можно и впрямь лишиться рассудка, но никто не станет придумывать такие вещи.

Ночь, когда мы снова пришли в порт Сен-Мало несколько месяцев спустя, стала поворотным моментом в моей судьбе. Ступив на берег, мы решили отпраздновать возвращение домой в кабачке. Жажда томила нас, и выпито было немало. Сперва мы распевали песни, как обычно делает подвыпившая молодежь, потом пили в гробовой тишине — и так до тех пор, пока количество выпитого спиртного не превратило нас в живые трупы.

Я шел домой, неся на натруженном плече дорожный мешок, и цеплялся за стены, чтобы не упасть. Не сразу отыскал я ключ, а когда пытался вставить его в замочную скважину, увидел на двери своего дома палец. Одиннадцатый.

Вот в это-то мгновение почва и ушла у меня из-под ног, а рассудок помутился. Невероятно! Одиннадцать пальцев. У негров не бывает одиннадцати пальцев. Я не закричал, а сел на мостовую, уставившись на дверь своего дома, да так и сидел, не имея сил ни приблизиться, ни бежать. Долго собирался я с духом, наконец, встал, снял палец с двери, завернул его в носовой платок и вошел в дом. Ни тогда, ни потом я никому ничего не сказал — не знаю почему. Если бы я сказал, позвал соседей и переполошил весь квартал, возможно, теперь меня не считали бы умалишенным. Но я не мог. Мне было стыдно. Этот палец на двери моего дома... Мне было стыдно.

С того дня мне не дают покоя вопросы. Сколько еще это будет длиться? Сколько еще пальцев у него в запасе? Значит, все это время он был жив. Раздобыл пищу. Затаился в какой-то норе. Терпеливо отреза́л себе пальцы и с удовольствием смотрел, как это на нас действует. Месяцами ничего не предпринимал, дожидался нашего возвращения. Одиннадцатый палец предназначался мне. Но как же так? Если только они у него не от-

растали... Наверное, это какой-то выродок. И конца всему этому не предвидится. Станет вечно отрезать себе пальцы, только чтобы напоминать о себе нам, а потом и нашим детям и внукам. Этот беглый негр будет стареть вместе с городом. И через десять, и через сто лет он все еще будет здесь, попляшет на наших костях и на костях наших потомков.

Помню, перед тем, как подняться с мостовой в ту ночь, я встал на колени в сточной канаве и плакал, как проклятый. Ужас поселился во мне. Я перестал владеть собой. Мысль, что он где-то поблизости и, может быть, даже наблюдает за мной, доконала меня.

С тех пор я больше не человек. Изнуренный, исхудавший, я всего лишь тень человека. Никогда больше не всходил я на судно. Влачу жалкое существование. Улыбаюсь. Дрожу. Часто оглядываюсь. Мне все кажется, он идет за мной по пятам. Жду предреченной мне беды. Хотя, правду сказать, беда со мной уже стряслась и преспокойно съела меня с потрохами. Я не тот, что был. Я не выхожу в море, не зарабатываю. Я жду. Не смейтесь. Я мог бы, конечно, уехать. Все бросить и бежать подальше от этого города. Мог бы сделать попытку спрятаться от его взгляда, голоса. Этот город наводит на меня ужас. Отныне он принадлежит ему, он в нем царствует. Когда ветер стучит ставнями, досаждая мне, я знаю — он попросил его об этом. Когда я спотыкаюсь, мне ясно: это он сделал выбоины в мостовой. Нет, уехать я не могу. Никак не могу. Я должен до конца испить чашу, и то, что он уже одержал надо мной верх, лишив меня рассудка и превратив в мешок с костями, ничего не меняет. Все должно закончиться, и именно здесь. Вот я и живу. Горблюсь, когда иду. Знаю: за мной по пятам кто-то следует. Дождю нужно непременно промочить меня до нитки. А птицам — посмеяться надо мной. Но не думайте, что я раскаиваюсь. Мне уже не отмыться от своей вины. И ни о каком искуплении я не мечтаю. Я безобразен. Я не могу забыть воплей отчаяния, испускаемых неграми по мере удаления от острова Горе. Жутко. Холодно. Сколько еще терпеть? А вдруг еще один палец? Знаю-знаю, один еще будет точно. А может, и не один. И так до конца. А пока смерть обходит меня стороной. Ей тоже хочется помучить меня. Сколько же еще терпеть? Я постарел. И с каждым годом, месяцем, днем становлюсь все дряхлее.

Июнь-октябрь 2006
Пеншси-Пари»

В *мозамбикской ночи*

Симону Киму,
вечному другу, с которым я так часто оказывался по вечерам в Мозамбике.

АДМИРАЛ Анисето де Медейрос толкнул дверь ресторана, и снова — в который уже раз! — зал показался ему меньше, чем виделось в воспоминаниях. Со столов убрано, стулья перевернуты, пол полит жавелевой водой, тишина и покой.

— Ресторан закрыт, — донеслось из глубины зала.

Парнишка лет пятнадцати мыл полы. Адмирал поднял руку в знак того, что ему это известно и именно поэтому он здесь. Ему хотелось взглянуть на ресторан, когда в нем нет посетителей, но об этом он не стал говорить вслух. Углядев еще не перевернутый стул, он преспокойно уселся.

— Господин?

Паренек подошел к нему, вытирая руки о грязную тряпку, явно раздосадованный наглостью непрошеного гостя, рассевшегося посреди зала, хотя ему ясно сказали, что ресторан закрыт.

— Скажи Фернандо, что пришел адмирал Медейрос...

Эти слова были произнесены спокойно и с улыбкой, однако поведение паренька вмиг переменилось. Возможно, сделал свое дело адмиральский титул. Паренек опрометью кинулся вон из зала, едва не опрокинув свое ведро.

Адмирал остался один. Осмотрелся, во взгляде его радость смешивалась с грустью. Сколько же времени провел он в этом зале, куда наведывался раз или два в год, может быть, в два года... Даже при том, что посиделки всегда затягивались допоздна, не так уж и много.

И все же ему отчего-то казалось, что это место ему роднее, чем собственный дом. Оттого ли, что эти стены, выложенные плиткой из голубого фаянса, хранят память о разговорах, признаниях, смехе, звучавших здесь? Он наверняка знал, что это не так, и эта уверенность показалась ему страшно жестокой.

— Адмирал...

В голосе человека лет пятидесяти послышались знакомые добродушные и чистосердечные нотки. Он стоял перед Медейросом, чуть пополневший, с радостным выражением ли-

ца. Его отличало крепкое, как у молодых бычков, сложение, толстая шея, короткие конечности, неожиданная живость движений. Фернандо Пимента – так звали вошедшего – смотрел на мир счастливым взором человека, который проживает жизнь согласно представлениям, сложившимся в самом ее начале. Он сумел обзавестись собственным рестораном и ухитрялся держаться на плаву. Он любил своих посетителей, блюда, которые стряпали в его кухне, любил посидеть вечерком перед входом и выкурить сигарету.

– Что-нибудь скушаете, адмирал? Остались дорада, креветки...

Медейрос отказался. Есть не хотелось. Тем более здесь. Это смахивало бы на предательство. Фернандо, видимо, подумал о том же, поскольку прежде, чем адмирал жестом отклонил его предложение, махнул рукой в знак того, что сожалеет о нем.

– Да. Нет. Разумеется. Кофе, может быть. Да, кофе. Для нас обоих, – подумав, все же решил адмирал.

Не успел он договорить, как Фернандо исчез. С кухни донесся его голос – он отпускал паренька, говоря, что сам закроет ресторан. Послышался звон посуды, кофейный автомат выпустил струю пара. Почувствовав запах кофе, Анисето де Медейрос улыбнулся. Он был рад, что пришел.

Фернандо поставил на стол чашки с кофе и уселся, адмирал взглянул на него и проговорил:

– Соскучился я по Мозамбику.

– Я тоже, – отозвался хозяин ресторана.

Ни один из них никогда не был в Мозамбике, и тем не менее каждый из них говорил правду. Помолчали, смакуя разделенное чувство, как смакуют доброе вино, состарившееся в подвале.

– Не думаю, что мы туда вернемся, – промолвил адмирал.

– Я тоже, – ответил Фернандо и спросил, по-детски взглянув на гостя: – Думаете, он ушел насовсем?

Адмирал скорчил гримасу – мол, ничего точно не известно, однако и исключать ничего нельзя. Затем перевел взгляд на чашку с кофе и добавил:

– Вот мы и осиротели, Фернандо, после смерти Да Косты в прошлом году.

– Знаете, чего мне больше всего будет недоставать, адмирал?

Адмирал вскинул глаза на друга и кивнул, прося договорить.

— Новых историй! Кто нам их расскажет?

Адмирал почувствовал, что вот-вот расплачется. Вот то-то и оно. Именно это и привело его к Фернандо, в его ресторан. У него самого никак не получалось выразить то, что не давало покоя, и только теперь, когда это прозвучало, он ощутил подкатившую к горлу волну. Кто расскажет им новые истории? Кто закончит начатый рассказ о Мозамбике? Анисето де Медейросу было грустно.

— Я знаю, Фернандо, — прошептал он и, чтобы не заплакать, решительно допил кофе.

Долго сидели молча. С пустыми, ничего не выражающими глазами. Одни и те же картины представлялись им. Один и тот же голос звучал в памяти. Мозамбик снова был с ними, вокруг них.

Они позволили ему вернуться и завладеть ими. Как будто они пригласили за столик двоих своих умерших друзей. Долго хранили они молчание, боясь нарушить исполненное важности мгновение, когда запахи былых застолий понемногу наполняли зал. О, как чудесно было вот так сидеть и молчать, наслаждаясь живительным теплом прошлого!

Они всегда собирались у Фернандо за одним из деревянных столов, которые хозяин аккуратно покрывал длинными бумажными скатертями. Никогда не являлись раньше десяти часов вечера. Специально не договаривались, однако поздний час был выбран не случайно — в это время ресторан пустел, позже закрывался, и у них по мере наступления сумерек создавалось ощущение, что это место на земле принадлежит им одним. К тому же без Фернандо вечер был немыслим, а он освобождался только к этому часу.

Им нравился этот старый ресторан с неизменно распахнутой дверью в кухню — теплые запахи морских блюд проникали в зал, бутылки с вином, когда их открывали, издавали долгие вздохи.

Они встречались здесь не чаще, чем один-два раза в год. Никакой определенной даты не существовало, сходились тогда, когда все были свободны. Надо сказать, редко случалось, чтобы все четверо в одно и то же время оказывались в родном городе.

Стоило условиться о дне встречи, дальше все шло заведенным порядком. Адмирал Медейрос звонил и заказывал столик. Это была его обязанность. С этой минуты Фернандо

жил только предвкушением намеченной встречи. Запасался хорошей рыбой, думал, какими закусками и блюдами удивить друзей. Когда они являлись, хозяин сам открывал им дверь и помогал снять верхнюю одежду. Пожимал руки, пытался припомнить, когда они собирались в последний раз, чем угощались и каким вином запивали. Стоило им опуститься на громоздкие, обитые кожей стулья, Фернандо подносил стопочки с чем-нибудь крепким и подавал орешки. Они чокались, делали заказ, потом хозяин удалялся, а они ужинали.

Фернандо присоединялся к ним позже, закончив рабочий день. Без него разговор переходил с одного на другое, касаясь незначительных тем, в основном же отдавали должное приготовленным им блюдам.

Адмирал Анисето де Медейрос, контр-адмирал Да Коста и капитан Мануэль Пассео познакомились в морской школе. Тогда они были молодыми морскими офицерами – белые перчатки, выправка, горящие взоры, готовность полностью посвятить себя морю. И каждому из них жизнь готовила сюрпризы. Первым утратил взгляд победителя капитан Мануэль Пассео. Какая-то история с несоблюдением субординации. Стычка с вышестоящим чином. До окончания школы оставалось больше года, пришлось распрощаться с морским флотом, но не с морем – на это решиться не хватило духу. "Торговый флот" – эти слова он выговаривал прежде с презрением – стал местом приложения его сил. Товарищи, посмеиваясь, называли его "водником". Контр-адмирал Да Коста женился. Несколько лет спустя его жена заболела. Редкая форма нервного заболевания. Требовалось быть рядом. Да Коста все реже выходил в море, а потом и вовсе попросил перевести его на сушу. И получил должность в лиссабонском арсенале, то есть превратился, по понятиям настоящих морских волков, в рыбу, зарывшуюся в песок. Один адмирал де Медейрос остался верен своему призванию, неодолимой тяге к водорослям и морской пене. Но вот что странно – под конец полной странствий жизни у него порой возникало ощущение, что он не узнал ничего такого, чего не знали бы его менее удачливые товарищи.

Так вот у них было заведено, чтобы, когда они собирались в ресторане Фернандо, один из них брал слово и рассказывал какую-нибудь историю. Это было все равно что выйти ночью в море, всем вместе, без мундиров, без званий, качаться на одних и тех же волнах, вдыхая пьянящий воздух странст-

вий. Словом, происходило то, чего не могло случиться в жизни.

Последний раз они собирались два года назад. Одним прекрасным июньским вечером 1978 года. Контр-адмирал Да Коста был уже отмечен болезнью, которая год спустя унесла его, желтого и истощенного, похожего на издыхающего зверька.

Друзей поразила печать неизбывной усталости на его лице, когда он вошел, но он молчал о своей болезни, и никто не стал задавать ему вопросы.

В тот вечер они с наслаждением отведали кушаний, приготовленных Фернандо. Когда же ресторан закрылся, отодвинули стулья от стола, Фернандо принес кофе и бутылку вишневой настойки и спросил, окинув присутствующих взглядом любопытного ребенка: "Ну, кто начнет"?

Контр-адмирал Да Коста прищурился, жестом привлекая внимание друзей.

— В общем-то это никакая не история, так, скорее вопрос, который я хотел бы предложить для обсуждения, — с виноватым видом промолвил он, словно желая извиниться за несоблюдение заведенного порядка.

— Если уж философствовать, так, пожалуй, выпивки маловато, — смеясь, проговорил Медейрос.

Фернандо взял со стойки бутылку и наполнил рюмки. Воцарилась тишина: все замолчали в предвкушении удовольствия.

— Ну, так вот, позвольте мне поведать вам небольшую историю, приключившуюся с одним из моих кузенов пять месяцев тому назад. В шестьдесят два года ему предстояло выдать замуж последнюю из дочерей. Мы были приглашены на свадьбу в Магадуро, горную деревушку. Невеста считала дни, шли последние приготовления.

Контр-адмирал помолчал; ввалившиеся щеки делали его похожим на старуху.

— В день свадьбы, — снова заговорил он, — я с самого утра явился к кузену. Мы вместе выпили кофе. Он находился под впечатлением от семьи жениха — более многочисленной, более зажиточной, чем его собственная, и явившейся в полном составе из Лиссабона. Когда подошло время, мы вместе отправились в церковь в верхней части города, где должно было состояться венчание. Склон, по которому мы поднимались, был очень крутой. День выдался жаркий, солнце припекало. По дороге в гору кузену стало плохо. Ноги у него

подкосились. Я не успел удержать его. Он рухнул на землю и умер от сердечного приступа у меня на руках, в окружении многочисленной разряженной родни.

Контр-адмирал вновь помолчал, осторожно пригубил вино — друзья, привыкшие к тому, что он пил бутылками, словно одолеваемый жаждой варвар, — не могли не обратить внимания на произошедшую перемену.

— Вообразите себе, праздник обернулся трауром. Никто не мог поверить, что такое возможно. Жених с невестой заливались горючими слезами. Пиршество отменили, музыкантов отпустили. Многие из нас в тот день прокляли небо за такие жестокие шутки с человеком.

— Да уж, хуже не придумаешь, — пробормотал капитан Пассео.

— Сущий кошмар, — прошептал Фернандо.

— И какой же вопрос ты хотел с нами обсудить? — поинтересовался Медейрос.

Контр-адмирал прищурился, радуясь тому, что не забыли о наживке, брошенной в начале разговора.

— Я много размышлял обо всем этом. И то, как сложился далее этот день, кажется мне неправильным. Не так следовало нам провести его. Мы все отменили и погрузились в горе. Так-то оно так. Но вопрос мой таков, отчего сердце человека не способно вместить в себе два противоречивых чувства, не способно позволить им сосуществовать?

— Ничего не понимаю, — недоуменно протянул Фернандо.

— Объясню. Не правильнее ли было продолжать свадьбу? Сочетать молодых браком и похоронить отца в один и тот же день?

— Но что это был бы за праздник? — заметил Медейрос.

— И я о том же, — горячо подхватил контр-адмирал. — Отчего человек не способен на это? Жизнь-то ведь способна. Она то и дело испытывает нас, бросает из огня в полымя, и при том без всякой логики и пощады. Вот я и задумался о человеке, которому было бы по плечу осилить это безумие. Плакать в радости и смеяться в горе. Так бы и нам поступить в тот день. Продолжать свадьбу, танцевать, благословить молодых и оплакать усопшего. В один и тот же день, если уж судьба так решила. Разве это не было бы правильно?

Друзья отозвались не сразу. Каждый пытался вообразить себе подобную свадьбу — странную смесь слез и фейерверка.

— Ты прав, — выговорил, наконец, Медейрос, — так было бы лучше.

Контр-адмирал выпил стакан воды — в знак того, что он закончил и ему нечего добавить.

Фернандо ненадолго отлучился на кухню за пирожными с кремом.

— Пирожные называются "апокалипсис", — возвестил он, представив на суд друзей результат своего труда.

— Ну и название ты им дал! — рассмеялся Пассео.

— С чего это тебе такое пришло в голову? — поинтересовался Да Коста.

— Сейчас объясню, — лукаво проговорил Фернандо. — Это мой вклад в сегодняшний вечер. Но сперва отведайте...

Пирожные были покрыты глазурью с ароматом апельсиновой корки. Этот горьковатый и стойкий вкус воспринимался в первую очередь. Но мало-помалу, не сразу, вкус крема с нежнейшим привкусом алкоголя начинал одерживать верх.

— Но какая связь между этим расчудесным десертом и Апокалипсисом? — не переставал удивляться Да Коста, который был не прочь съесть еще пирожное.

— Известно ли вам, что произойдет в Лиссабоне в день Апокалипсиса? — с хитрым видом спросил Фернандо.

Гости отрицательно покачали головами.

— Ничего, — продолжал он, — ровным счетом ничего. Португалия всегда плетется в хвосте. В тот день, когда мир полетит в тартарары, разверзнутся небеса и потоки огня уничтожат все живое, в Лиссабоне все останется по-прежнему. Даже тут мы будем отставать, несколько дней у нас продолжится нормальная жизнь, при том что остальной мир станет рушиться.

Пассео и Медейрос улыбнулись, Да Коста нахмурил брови, видно, все никак не мог взять в толк, при чем здесь пирожное?

— И что же? — спросил он.

— А то, — лукаво отвечал Фернандо, словно волшебник, с радостью замечающий изумление на лицах зрителей, — откуда нам знать, не начался ли уже Апокалипсис? Он ведь уже вокруг нас. Несколько дней, чтобы вкусить счастья. Используйте их на всю катушку. Наслаждайтесь.

Гости усмехнулись и взяли еще по пирожному, в шутку воображая, что Фернандо говорит правду и в эту минуту Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио охвачены огнем.

На том беседа неспешно подошла бы к концу и встреча вполне могла бы завершиться, но слова еще не брал Пассео.

Пришел его черед рассказывать; его сотрапезники, забыв обо всем, что составляло их собственную жизнь, все тягостное и неизбывное, с удовольствием затянулись сигаретами и обратились в слух; в глазах их читалось детское нетерпение.

Капитан Пассео заговорил, и стало ясно: рассказ его будет долгим. Это было главным. Остальное не в счет. Лиссабон уснул. Слова Пассео поплыли по залу ресторана, смешиваясь с табачным дымом и улыбками друзей.

— Я долго задавался вопросам, стали ли мы богаче или беднее, породнившись с морем. Скажу вам честно, друзья, я долго считал, что такое количество странствий, плавание по всем морям и океанам способно сделать человека лишь беднее. В глубине души и вы и я осознаем: в конце странствия в руках только и остается что пригоршня морской воды, ничего больше. И за нашим упорным стремлением бороздить морскую гладь, возможно, прячется лишь упрямое желание оставаться неимущими. Море ведь не содержит золота. Ни вы, ни я не обрели его там. Я — обычный торговец. И сколько я ни плавал, держась поближе к берегу из страха перед открытым морем, для которого не приспособлено мое судно, сколько ни перевозил в трюме все, чем только можно торговать, каких только монет не держал в руках — да все, какие существуют на свете! — я так ничего и не нажил, стал даже беднее, чем в тот день, когда покинул родную деревню. Деньги, полученные мною и накопленные за тридцать лет, разве что слегка запачкали мне руки. Однако было в моей жизни нечто, оправдывающее все мои усилия... Одна история, сто́ящая того, чтобы тридцать лет торговать, суетиться и давать взятки... Сто́ящая больше, чем само мое судно. И если вы меня сегодня спросите, кто я, я не назову вам своего имени, не скажу, ни сколько мне лет, ни кто я по национальности и по профессии, а отвечу так: я тот, кто знает историю дочери Тигирки. И этого довольно.

Капитан замолчал. Сделав глоток, он поставил бокал на стол и взглянул на слушателей. Ни один из них не шелохнулся за время рассказа. Они ждали, и в их широко раскрытых глазах читалось нетерпение. Ни позднее время, ни возраст, ни усталость не имели значения. Они слушали.

— Вам известно, чем я зарабатываю на жизнь, — продолжал Пассео. — Вы всегда были добры и относились ко мне снисходительно, продолжая считать меня за своего, хотя и принадлежите сами к морскому флоту страны. Я торговец. Продаю, покупаю, делаю деньги. Больше тридцати лет хожу вдоль побережья Мозамбика, не пропуская ни одного порта. Трюмы моего судна пустеют и вновь наполняются. Погрузка, разгрузка... Мне платят, я иду дальше. Я неплохо знаю эту страну, и, как вам ни удивительно слышать это, люблю ее.

Несмотря на бедность, коррупцию, скрытую войну, которая потихоньку обескровливает ее. Провозглашение независимости ничего не изменило для меня. Я всего лишь торговец и никогда не претендовал на то, чтобы быть гражданином этой страны. Независимость не сожгла полей сахарного тростника, не уничтожила запасов орехов кешью. Есть еще, чем наполнить торговое судно, и это мне на руку. Сахар, чай, орехи. От Бейры до Мапуту, от Мозамбика до Южной Африки. Сахар, чай, орехи — туда-обратно. Вы, конечно, догадываетесь, что не только это. Перевожу и оружие, за которое мне платят бриллиантами. Южная Африка набита золотом и драгоценными камнями, и как тут остаться равнодушным к ее богатствам. Видите, друзья, я такой же, как и большинство смертных, — не то чтобы пират, но слегка мошенник. Все это нелегально, но что вообще легально в Мозамбике? Есть еще кое-что, что я перевожу в трюме: пассажиры. Дорог в стране нет. Поезда тащатся еле-еле, да и проезд по ним слишком дорог для крестьян, покидающих берега Замбези в надежде найти работу в Мапуту. Водный путь все еще самый дешевый и надежный способ передвижения. Ну, я и поступаю, как все: в Бейре беру на борт нескольких бедняков. Власти закрывают на это глаза. Скажем так: я плачу властям, чтобы никто особенно не приглядывался, что там у меня в трюмах. В Бейре вмиг распространился слух, что капитан Пассео оказывает такого рода услуги. И с тех пор я всякий раз принимаю на борт нескольких нелегалов. Признаюсь, мне это по душе. Благодаря этому я чувствую себя не просто коммерсантом. Понимаю, что глупо воображать себя бог знает кем, когда ты всего лишь мелкий торговец, и тем не менее... В общем, все, что имеет цену — мужчин, женщин, оружие, бриллианты, пряности, сахарный тростник, — все это я берусь доставить по назначению.

Анисето де Медейрос не сводил с Пассео глаз. Тот запустил руку в свою пышную шевелюру, почесал затылок, словно не в силах выдержать устремленных на него пристальных взглядов. Адмирал не мог взять в толк: что же такого узнал его товарищ, что именно поразило его, почему на его чело легла печать такой усталости, как будто он побывал на краю света? Когда же Пассео заговорил вновь, адмирал затаил дыхание, приготовившись услышать ответы на свои вопросы.

— Я помню все, что случилось той ночью. Мы пристали к берегу в Бейре. Судно держало курс в Мапуту. Из трюма поднимался сильный запах пряностей. Нелегальных пассажиров

было больше обычного, человек двадцать мужчин и женщин. Все это были крестьяне, которых перестала кормить земля, несчастные безумцы, желающие попытать счастья в Мапуту, в этой городской мясорубке. Мужчины в лучшем случае могли найти место на бесчисленных стройках. А вот женщинам ничего не светило. И они это знали, но следовали за своими мужчинами, моля богов, чтобы тех не перемололо слишком быстро.

Бейра осталась далеко позади, и я велел своему помощнику открыть трюм. Не по мне держать взаперти, в просоленном трюме, бедных людей. Пусть уж насладятся последней ночью перед мучениями, которые готовит им город с его пылью, лихорадочным ритмом и шумом. Они боязливо выбрались на палубу, похожие на оборванцев, очутившихся в респектабельном салоне.

Справившись у механика, все ли благополучно, я ушел в свою каюту и прилег. Откуда мне было знать, что ночь преподнесет мне сюрприз?

Час или два спустя меня разбудили крики. На палубе произошла драка. Такое случается иногда между нелегальными пассажирами и членами команды, пытающимися вытянуть у них еще немного денег. Я поспешил одеться. Крики наверху становились все громче. Я уже взбегал, перепрыгивая через ступеньки, по лестнице, когда раздался такой пронзительный женский вопль, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. В два прыжка достиг я палубы, пробрался сквозь толпу, требуя, чтобы все посторонились и объяснили мне, что означает этот гвалт, но было уже поздно. На палубе ничком лежала женщина. У меня задрожали губы. Я смотрел на лица окруживших ее людей — бессмысленные, бесстрастные, тупые — и ничего не понимал. Потребовал объяснений. Один из матросов принялся рассказывать, что он видел.

Пассео закурил, обозначив тем самым паузу в повествовании, слушатели задвигались, а Фернандо даже встал. Кто хочет воды? Кому еще кофе? Пирожных? Медейрос и Пассео отодвинули стулья от стола и вытянули ноги. Да Коста отправился в туалетную комнату. Вскоре, однако, все они снова уселись за стол и обратились в слух, а Пассео продолжил свой рассказ.

— Вот что он мне поведал. Посреди ночи женщина взъелась на мужчину, по какой причине — я так и не узнал. Когда же ссора утихла, произошло нечто непонятное: все мужчины

набросились на нее и начали избивать. Мои моряки не успели ничего предпринять, так быстро они забили ее насмерть, буквально в считаные секунды. Словно всеми ими разом овладела ненависть. Я четырежды просил рассказать мне, как все произошло. В том, что ссора вспыхнула, не было ничего необычного: ревность, месть, измена, да мало ли что могло послужить ей причиной... Но суд Линча, последовавший вслед за этим, трусливый, подлый, бездумный и беспощадный... это совсем другое. Я был потрясен, но не желал отступать. Собрал всех нелегальных пассажиров и устроил им разнос, обещая выдать властям, если не скажут, в чем дело. Даже пригрозил выбросить их всех за борт. Ничто не подействовало. Некоторые, отъявленные гордецы, даже не удостоили меня взглядом, а прочие смущенно пробормотали, что не стоит так расстраиваться, что погибшая — всего-навсего дочь Тигирки. Мне и в голову никогда не приходило, что мое судно может превратиться однажды в плавучий гроб. Эта женщина отправилась в Мапуту зарабатывать на жизнь, как и другие, согласилась на переезд среди грязных тюков с товаром, доверившись мне на время плавания. Оказалось, я всего лишь торговец, не способный никого защитить, даже женщину в течение всего-то одной ночи, в сердце Африки.

В дверь ресторана постучали. Все четверо, как по команде, вздрогнули. Парочка влюбленных просила впустить их, барабаня в стеклянную дверь. Фернандо вскочил и знаками дал понять, что ресторан закрыт. Когда же молодой человек принялся умолять сделать для них исключение, хозяин крикнул:

— Нет, нет и нет. Закрыто!

В подтверждение своих слов он приспустил железную штору. Парочка исчезла. Фернандо занял свое место, ворча что-то о наглецах, не дающих покоя...

Воцарилась тишина, и Пассео продолжил свой рассказ.

— Положение мое было аховое. Не могло и речи идти о том, чтобы предстать перед властями Мапуту с этим телом. Не решался я и выбросить его за борт. Хотя это и было самым разумным — так, я знаю, поступило бы большинство капитанов в схожих обстоятельствах: ничего не видел, ничего не знаю, плаванье продолжается. Мешок в воду, и дело с концом. Может, и я поступил бы так, если бы эти люди не выказали столько ненависти к бедной женщине. Избавиться от нее самым простым способом означало быть с ними заодно, согласиться с тем, что это всего лишь дочь Тигирки. Думаю,

все только того и ждали, и наверняка многие охотно помогли бы мне сбросить тело в море.

Случись такое на улицах Мапуту, я бы уделил этому столько же внимания, сколько потасовке пьянчуг, но это произошло на моем судне. Под монотонный стук двигателя я несколько успокоился. Во мне нарастало убеждение, что ночь будет долгой.

Я попросил Зонгу, моего помощника, помочь мне. Мы нашли большую белую простыню, завернули в нее тело и, не обменявшись ни словом, спустили его в машинное отделение.

В эту же ночь точно по расписанию прибыли мы в Мапуту, зловонный бриллиант Мозамбика, пьяный город, где мне хотелось бы кончить свои дни, сидя на террасе заплеванного кафе с видом на море, город, питающийся человеческим потом и ничего не предлагающий взамен, кроме шума и алкоголя.

Я явился в портовую контору, заполнил бумаги и заявил, что не тотчас выхожу в море, как было заявлено ранее. После чего вернулся на судно, и мы отпустили пассажиров. Их жалкие силуэты навсегда исчезли в ночи. Безликие нелегалы, имена которых известны только им самим, растворились, как и многие до них, в безжалостной городской сутолоке, а ненасытная глотка Мапуту требовала все новых и новых жертв из числа питающих несбыточные надежды крестьян.

Долго не решался я спуститься в трюм. Там лежала она. Я нутром чувствовал, что она заведет меня куда-то очень далеко и мне уже не быть прежним.

— А что означает дочь Тигирки? — перебил Фернандо рассказчика.

Остальным слушателям также хотелось это узнать.

— Тогда я понятия не имел, — отвечал Пассео, — но твердо решил выяснить. Зонга, мой помощник, протянул мне сигарету, а потом как бы между прочим проронил, что один из пассажиров обмолвился, будто брат покойной работает поваром у Грека.

Кто такой Грек, объяснять нет нужды. Это легкие Мапуту, пусть грязные и задымленные, но все же легкие, а проще говоря, кабак низшего пошиба, всегда битком набитый посетителями и несмотря ни на что притягательный. В каждый свой приезд в Мапуту, как и все моряки, я захожу туда.

Чем там только не разживешься, в этом то ли борделе, то ли казино. Сам Грек — верзила с пышными усами. Он тоже не пожелал сняться с места после обретения Мозамбиком независимости. Прикипел, видать, душой к этим местам. Да и

Мапуту без него не Мапуту. За низенькими деревянными столиками заключается столько сделок, происходит столько деловых встреч, что Греку впору давать звание почетного гражданина Мозамбика.

Я шел по улицам города, обливаясь потом, как любой белый в этом климате, глядя на жалкую ночную толчею. Всех этих праздных людей, ожидающих, что вот приедет прораб с одной из строек и станет набирать желающих поработать, всех этих безымянных, без прошлого и настоящего, людей, отличающихся друг от друга лишь цветом кожи, — всех их в свое время заворожил этот город.

Я вошел к Греку. Хозяин радостно приветствовал меня громогласным "Привет капитану!" Я пожал ему руку, он протянул мне стакан с португальским ромом. Я тут же залпом выпил. Он явно хотел побеседовать со мной. Надобно сказать, у нас с ним кое-какие дела, и он, видно, намеревался заново обсудить цены на товары, которые я поставлял ему. Я уклонился от разговора, пообещав к нему вернуться, и попросил вызвать повара. Грек удивился, но все же усадил меня за столик, принес бутылку пива, два стакана и распорядился кликнуть повара.

Ко мне подошел молодой человек. Я предложил ему сесть, что он и сделал. Я назвался, сказал, что курсирую на торговом судне между Бейрой, Мапуту и Южной Африкой. Что этой ночью мы подошли к Мапуту, и у нас на судне его сестра. Тут он перебил меня, уточнив, что это не родная сестра, поскольку у них разные матери. Пусть так, согласился я, но его единокровная сестра мертва. Ее убили на борту моего судна. Он молчал. Я повторил еще раз: убили. Он смотрел на меня, пытаясь понять, все ли я сказал, затем отпил пива.

— Вы не спрашиваете, как это случилось?

Он по-прежнему молчал. Я принялся рассказывать о происшедшем. Об убийстве. Он молчал. О суде Линча. Он молчал. О том, сколько людей разом набросились на нее, об их чудовищном озлоблении. Он молчал. Под конец, когда все было сказано, я и сам уставился на него, не в силах понять, отчего он так спокоен. Тогда он поднял на меня глаза и тихо проговорил:

— И хорошо. Это была дочь Тигирки. — Его рот презрительно дернулся. — Я бы сам это сделал, если бы во мне не текла та же кровь.

Я ощутил, как внутри у меня все загорелось. Появилось желание впиться зубами в глотку этому чернокожему. Я взглянул ему прямо в глаза, заскрежетав зубами, сжав кулаки. Меня так и подмывало оскорбить его, прогнать, накричать на него, но прежде чем я что-то успел сделать, он встал и все

так же молча, даже не попрощавшись, только вытерев руки о грязную старую тряпку, вышел.

— И что ты сделал? — вырвалось у адмирала.

— Он так больше ничего и не сказал? Ни слова о сестре? — не удержался и Фернандо.

— В ту минуту я решил, что пойду до конца, — продолжал Пассео. — Перенесу тело на сушу и похороню в Мапуту. Я не представлял, куда это меня заведет. Как и того, до какой степени долгой и необычной будет эта ночь. Но я должен был узнать, кто такая дочь Тигирки. Во что бы то ни стало.

— И как ты поступил? — спросил Медейрос.

Пассео не ответил. Друзья решили, что ему нужно передохнуть, но молчание затянулось, и они забеспокоились.

— Ну, так что же было дальше? — не вытерпел Фернандо.

Пассео улыбнулся и положил в рот кусочек пирожного.

— Расскажу в следующий раз, — твердо проговорил он.

Что тут поднялось! Об этом не может быть и речи! Что он там еще придумал! Какой такой следующий раз? Теперь или никогда! Мыслимое ли дело: прервать рассказ вот так, на самой середине, на самом интересном месте! Пассео был невозмутим. Повторил, что закончит рассказ в следующий раз. теперь уже поздно. При виде его непоколебимой решимости друзья отступили.

— Ты туда вернешься? — поинтересовался Медейрос.

— Послезавтра выхожу в рейс, — ответил Пассео.

— То, что ты узнал, или увидел, или пережил в ту ночь, как-то связано с тем, что ты туда возвращаешься?

— Да. После той ночи мне уже не обойтись без Мозамбика.

И тут Да Коста не выдержал и стал жаловаться, как ребенок, которого в самый разгар праздника отправляют спать.

— Но кто знает, вернешься ли ты из этой безумной страны? Как же мы узнаем конец истории?

— В таком случае это будет означать, что Мозамбик меня проглотил и одному из вас придется отправиться туда, чтобы узнать конец!

— Вы ужасный тип! — проговорил Фернандо, скорчив гримасу обиженного ребенка. — И притом жестокий. Это все равно как если бы я только поманил вас своими блюдами и ничего не дал! Вы заслуживаете того, чтобы вас подпоили, вот тогда бы вы разговорились.

Все рассмеялись и чокнулись в последний раз. Усталость давала о себе знать, вся честная компания была не прочь отправиться по домам и завалиться спать.

Вставая из-за стола, каждый мысленно назначил себе свидание с Мозамбиком. Через полгода-год они непременно соберутся вместе и вернутся к этой истории.

Забрав со стола пачки с сигаретами, они как всегда спросили у Фернандо, сколько с них, но он как всегда отвечал, что они ничего не должны, начал сердиться, после чего они заявили, что в таком случае больше не придут, но он и слышать ничего не желал. Горячо поблагодарив его, они оделись и вышли. Улицы Лиссабона в этот час были пусты. Поднялся ветер с Атлантики. Погасли огни в домах, город погрузился во тьму. Вдоль стен крались коты. Стал накрапывать дождь. Три тени разошлись в разные стороны. Фернандо до конца опустил железную штору ресторана.

– Думаете, он еще вернется?

Голос Фернандо вывел адмирала Медейроса из задумчивости.

– Чем больше проходит времени, тем меньше я в этом уверен, – ответил адмирал.

Фернандо кивнул. Он тоже считал, что Пассео вернулся в Мапуту и уже не объявится. Кружок друзей распался. Смерть унесла Да Косту, жизнь увела Пассео. Отныне их двое. Но что они теперь могли? Рассказывать друг другу по очереди истории? Но какие? Фернандо знал лишь о том, что происходило в его квартале. Приходилось мириться с тем, что их теперь двое и некому утолить их жажду побольше узнать о Мозамбике.

– Что же от всего этого осталось, Фернандо? – спросил вдруг Анисето де Медейрос, погрустнев.

– От чего? – не понял Фернандо.

– От наших встреч. От тех историй, которые мы рассказывали друг другу. От наших застолий. Я имею в виду не только последнюю встречу, не только ту мозамбикскую ночь, о которой поведал Пассео. Последняя, возможно, останется с нами надолго. Но другие встречи? Вообще все эти мгновения, пережитые здесь? Я вернулся сюда, оттого что утром ощутил, как мне их не хватает. Шел и думал о нас всех. Может, ты будешь смеяться, Фернандо, но мгновения, проведенные с вами, – одни из самых дорогих для меня, за всю мою жизнь. Разумеется, не только они, но и они тоже. Если бы пришлось назвать самое важное для меня, я не мог бы обойти их молчанием. Понимаешь?

Фернандо кивнул. То же чувство испытывал и он. Но не успел он ответить, как адмирал заговорил снова, еще печальней:

— Но что же от всего этого останется? Ничего, Фернандо, совсем ничего.

Внезапно лицо Фернандо просияло. Увидев это, адмирал удивился:

— Чему ты радуешься?

— Я не в силах вернуть Пассео, — ответил Фернандо. — Мы грустим оттого, что знаем: нам уже никогда не собраться вчетвером. И ничего с этим не поделаешь. Но все-таки вы ошибаетесь, адмирал. Что останется от наших встреч? Думаете, ничего? Это не так. У меня свои маленькие секреты. Подождите. Я вам кое-что покажу.

Он встал и исчез в кухне. Что-то грохнуло, свалилось, послышался шум выдвигаемых ящиков, затем снова появился Фернандо. Под мышками у него были большие картонные тубы, в которых хранят топографические карты либо полотна. Он махнул адмиралу, приглашая его подойти ближе, открыл одну из туб и вынул из нее рулон бумаги.

— Я сохранил скатерти, — произнес он, разворачивая рулон.

— Скатерти? — не понял адмирал.

— Бумажные скатерти, на которых мы ели в те вечера. Я их все сохранил. Взгляните. Они все тут. Я даже проставил на них числа. Например: "8 августа 1969". Или вот еще: "3 июня 1978". Это последняя. Немного, конечно, но все же кое-что.

Адмирал был потрясен. Поначалу, когда Фернандо стал разворачивать скатерти, ему показалось смешным желание сохранить то, чего сохранить нельзя. Но потом он склонился над ними, стал водить по ним пальцем и разглядывал. Это были своего рода карты их дружбы. Пятна от вина. Местоположение тарелок и приборов. По ним можно было даже определить, где сидел каждый из сотрапезников. Ему даже стали мерещиться сами они и то, что происходило в каждый из вечеров. Вот кто-то опрокинул бокал с вином, и рассказ на время прервался. А вот шарик из хлебного мякиша, скатанный чьими-то пальцами и прилипший к бумаге. Целая куча скатертей — да ведь это был самый волнующий след, который только и мог остаться от их встреч.

Последнюю скатерть он изучал дольше других. Она была помечена 1978 годом. С помощью Фернандо он определил, где кто сидел. Вместе они долго изучали место капитана Пассео, на которое безошибочно указывало винное пятнышко. "Знал ли тот, кто посадил это пятно, что уж больше не вер-

нется сюда?" — подумалось адмиралу. Вещественное доказательство их дружбы было налицо. Память обо всех их беседах запечатлелась здесь, на этих испачканных кусках бумаги. Печаль сменилась у адмирала безмятежностью. Да, это прекрасно. Они встречались, беседовали, рассказывали по очереди истории. Оставляли на скатертях следы жизни. Только и всего.

2000–2007
Париж

Из современной поэзии

Переводы Михаила Яснова, Алины Поповой

Составление и предисловие Марка Фонтана

О современных франкоязычных поэтах

Для послевоенной франкоязычной поэзии характерно чрезвычайное многообразие: на первый взгляд между пишущими в это время поэтами нет вообще ничего общего. Затруднительно поэтому говорить о каких-то школах или стилях, но можно — с известной долей условности — обозначить два основных течения.

Основные течения

Первое течение объединяет разнообразнейшие формалистские искания — своего рода противовес сюрреализму[1] и лиризму. Тут прежде всего следует выделить абстрактный минимализм, постулирующий предельную экономию языковых средств (Андре дю Буше), фрагментирование стихотворения, его дробление на странице (Дени Рош, Жан Дэв, Ан-Мари Албьяк), затем текстуализм, отвергающий привычные формы поэтического языка, чтобы обратиться к тексту как таковому, грамматико-философскую поэзию (Мишель Деги) и, наконец, поэтическую игру со всевозможными ограничениями (Жак Рубо). Перечисленные направления доминировали в поэзии 60—70-х годов, а современные их представители, поэты, родившиеся в конце 50 — начале 70-х годов (Филипп Бек, Жан-Мишель Эспиталье, а также Оливье Кадьо, Пьер Альфери), считают себя их наследниками и продолжателями.

Представители другого течения, именуемого неолиризмом, вышли на поэтическую авансцену в 80-х годах. В концептуальном и формальном плане неолиризм не привнес в поэзию ничего нового, однако для него характерно возвращение личностного начала, внимание к реалистичности и узна-

© Михаил Яснов. Перевод, 2010
© Алина Попова. Перевод, 2010
© Marc Fontana, 2010
© Александра Лешневская. Перевод, 2010

1. Это отмежевание от сюрреализма принципиально. Оно ведет к так называемой деконструкции стихотворения, что в полной мере проявилось уже в довоенной поэзии Гильвика, в сборнике "Из земли и воды", вышедшем в 1942 г., а также в стихотворениях Франсиса Понжа из сборника "На стороне вещей", опубликованного тогда же. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. автора.*)

ваемости изображаемого (Жак Реда, Ги Гоффет и особенно Жан-Мишель Мольпуа).

Вместе с тем таких поэтов, как Бернар Ноэль, Жак Дюпен, Ив Бонфуа, Клод Эстебан, Филипп Жакоте, поэтов, несомненно, первого ряда, оказавших весьма значительное влияние на современников, невозможно вписать в рамки какого-то течения и направления. Для каждого из них характерны размышления о языке, предельная смысловая нагрузка на слово, центральная тема их творчества — поэзия. Наконец, нельзя не упомянуть о произведениях отмежевавшихся от сюрреализма поэтов второй половины XX века, важность которых неоспорима: стихотворениях Анри Мишо (ум. 1984), Рене Шара (ум. 1988), Гильвика (ум. 1997).

Впрочем, многие нынешние поэты, признавая значимость двух названных нами течений, не примыкают к тому или иному из них, а, подпадая под различные влияния, формируют собственный поэтический голос. Это стихи, где автор, воспроизводя реальность в самых, казалось бы, простых словах, смотрит на нее неотстраненным взглядом; стихи, где лирическое повествование переплетается с философской прозой; стихи, где "ты" и "мы" главенствуют над "я"; стихи, трактующие проблемы метафизические; стихи, авторы которых поглощены поисками себя в хаотичном, недоступном для понимания мире; стихи, преломляющие образ сквозь посторонний взгляд. Иначе говоря, современная поэзия занимается поиском формы и смысла на всех уровнях, которые только можно себе представить.

Пятнадцать голосов франкофонной поэзии[1]

Назвать поэтов, которые могли бы представить современную франкоязычную поэзию, — задача не из легких. Только во Франции ежегодно публикуется огромное количество поэтических сборников, и множество из них, несомненно, заслуживают внимания читателей. Кому отдать предпочтение? Выбрать тех, чьи произведения публикуются в самых известных издательствах и журналах и поэтому чаще привлекают интерес критиков, значило бы пойти по пути наименьшего сопротивления. Тогда как чтение стихов, которое, разумеется, требует определенной интеллектуальной смелости, границ не имеет. Читать стихи — значит внимать множеству голосов, заслуживающих быть услышанными. Читать стихи — значит проявить заинтересованность в поэзии. Исходя из этих соображений, я и составил подборку, которую представляю русскому читателю: в ней признанные современные поэты соседствуют с мало-, а то и вовсе неизвестными авторами. Все они достойны внимания, творчество каждого по-своему оригинально.

1. Подборка, составленная Марком Фонтана, включает в себя произведения пятнадцати поэтов. В настоящем номере мы помещаем стихи шести из них. Остальные в дальнейшем будут опубликованы в журнале. (*Прим. ред.*)

Книги некоторых из отобранных мной поэтов вышли в крупных парижских издательствах, других — в тех, что поскромнее. Во Франции поэзия издается главным образом в провинции. Авторитет издателя никоим образом не ставит одного поэта выше других на шкале поэтической ценности. Так, малоинтересные стихотворения Мишеля Уэльбека опубликованы в авторитетном издательстве "Сёй", а большинство весьма значительных работ Пьера Дэно увидело свет в маленьких издательствах... История литературы делает свой выбор, но место каждого поэта в современном поэтическом процессе можно определить достаточно точно, если исходить из того, что я назвал бы "заметностью" произведения, его успеха у читателей и других поэтов. В этой связи чрезвычайно важна роль поэтических журналов, во Франции таких насчитывается около пятисот. Они — пульс поэтического процесса, и у каждого из них свой профиль и своя ориентация.

Составляя данную подборку, я отдавал предпочтение поэтам признанным, что, с одной стороны, усложнило задачу, с другой — позволило добиться разнообразия. Не существует единой поэзии. Как не существует единого, "обязательного" жанра, направления, течения, которые аккумулировали бы в себе все поэтические достижения.

Другой принцип, которым я руководствовался при составлении этой подборки, — не делать из нее антологии. Критерии, на основании которых выбирались поэты, обсуждались и утверждались в редакции "Иностранной литературы". Передо мной была поставлена задача познакомить читателей с неизвестными в России современными поэтами, чтобы заполнить пробелы и обрисовать (без серьезных потерь) общую картину современной франкоязычной поэзии и в то же время предоставить читателю возможность оценить ее многообразие.

Итак, данная подборка состоит из стихотворений пятнадцати поэтов, опубликованных за последние десять лет. Эти поэты родились между 1923 (Жан Мамбрино) и 1963 (Филипп Бек) годами. Среди них две женщины (Ариан Дрейфюс, Шанталь Дюпюи-Дюнье), бельгиец (Вернер Ламберси), люксембуржец (Жан Портант), ливанец (Салах Стетие) и француз родом с Гаити (Людовик Жанвье). Остальные — Жак Ансе, Жерар Огюстен, Жерар Бошолье, Жан-Ив Массон, Пьер Мобе, Эммануэль Моз, Серж Пеи. Когда приходится выбирать, предпочесть одному имени другое не так-то просто и любой выбор, несомненно, субъективен. Но так как в данном случае речь идет скорее о кратком обзоре современной поэзии на французском языке, чем об антологии, излишняя щепетильность, наверное, ни к чему.

Некоторые поэты (и довольно значительные) не вошли в подборку, поскольку их произведения на русский язык уже переводились. Упомянуть их — возможность для меня расширить чрезвычайно узкие рамки подборки, которую я сегодня представляю, а также выразить признательность российским переводчикам и издателям, открывшим для читателей новые имена. Так, в издательстве "Эксмо" в 2005 году вышла антология "Фран-

цузская поэзия XX века" со стихами Бернара Ноэля, Филиппа Жакоте, Ива Бонфуа, Андре Дю Буше, Жака Дюпена, Пьера Дэно, Доминика Граммона, Жака Рубо. В 2008 году Дом-музей Марины Цветаевой выпустил антологию "Версии", куда вошли произведения Анн-Мари Албьяк и Эммануэля Окара. На страницах "Октября" в 2007 году печатались стихотворения Жан-Мари Барно, Албаны Желле, Жан-Пьера Симеона, Жан-Марка Дежана, Розали Лессар. С 2007-го по 2009-й журнал "Воздух" публиковал работы Жан-Мишеля Мольпуа, Жан-Батиста Пара, Кароль Даррикаррер, Франка Андре Жамма, Габриэль Альтен, Рено Эго, Ги Гоффета. Наконец, стоит отдать должное "Иностранной литературе", где в 2009 году была представлена поэзия Клода Эстебана.

Продолжать знакомство!

Знакомство с поэзией другой страны не стоит ограничивать парочкой стихотворений двух-трех авторов. Читая и перечитывая переводы, появившиеся в журналах или вышедшие отдельными книгами, изданные в последние годы сборники Ива Бонфуа, Эммануэля Окара, Андре Дю Буше, Филиппа Жакоте и других, или, скажем, недавно опубликованные сочинения менее известной поэтессы Сесиль Умани, вы сможете значительно расширить свои представления о современной франкоязычной поэзии. Читающие по-французски имеют возможность посетить сайт Poezibao, на котором представлены поэтические подборки, статьи о публичных чтениях, ссылки на другие сайты, посвященные поэзии, а также блог Пьера Мобе "Поэзия сейчас" http://poesiemaintenant.hautetfort.com или сайт парижского международного фестиваля "Весна поэтов" http://printempsdes poetes.com — сладезь информации о современных поэтах[1].

Перевод — важнейший посредник в познании чужой культуры. Хотелось бы, чтобы поэтический перевод развивался как можно активнее и плодотворнее. В наши дни создается большое количество произведений, достойных того, чтобы с ними познакомился иноязычный читатель, а между тем множество превосходных франкофонных авторов пока неизвестны в России. Высвобождая новые смыслы в чужом языке, поэзия выполняет свою основную задачу — позволяет увидеть иные способы восприятия жизни. Именно то, насколько реализуется в творчестве поэта данная задача, повлияло на окончательный выбор имен для представленной ниже подборки.

Марк Фонтана
Перевод Александры Лешневской

1. Напомним также, что с произведениями многих франкоязычных поэтов можно ознакомиться в медиатеке Французского культурного центра в Москве.

Жак Ансе

Из книги "Последняя фраза"

* * *

Всё обездвижено. Время суть
лишь ожидание сада. Синь
там, наверху, так медленна, что
не удается понять, о чем
каркают вороны — там, внизу.
Будни застыли — и только смерть,
вроде, жива: то уходит вспять,
то возвращается. Не понять.
Просто сквозит изо всех щелей.

* * *

Просто сквозит — это дует день
в дудку пейзажа. Ныне и впредь —
всё неизменно, и есть лишь то,
что совершилось. Ограда, куст —
всё безымянно. Коснись рукой —
и не поймешь. Только бьется пульс,
пульс, прерывистый, как тишина.
Ныне и впредь. Кто исчез — исчез.
Что остается? Осколки лиц.

© Jacques Ancet et les editions Lettres vives, 2004

* * *

Разве что в слове одно из них
вдруг оживет — поди различи!
Отблеск ли это далеких глаз,
все еще видящих вас в ночи
той неизменной, иль это свет,
все еще льющийся с дальних губ.
Или сквозь ропот и лепет дней
вдруг оживет безголосый звук
давних, застывших, неслышных слов.

* * *

Так на рассвете приходит тьма —
косо ложится, как свет из-под
плохо прикрытых ставней, внутри
комнаты. Хватит. Пора понять.
Все ускользает из рук — одна
ласточка в небе да этот взгляд
остекленевший небес. Пора.
То ли смириться с кромешной тьмой.
То ли умолкнуть. Уже навек.

Жерар Бошолье

Из книги "Приход"

* * *

Тишайшая тишина
Как ты трепещешь

Ладони твои весомей
Праха земного

Ладони твои весомей
Сердца людского

Незримая твердь ты за ночь
Окаменеваешь

* * *

Столько запястий
Для стольких цепей

Хочешь вздохнуть
А воздуха нет

Значит не слышен
Ни крик ни призыв

© Gérard Bocholier et les editions Arfuyen, 2006

Кроме надежды
Всё пустота

* * *

Колодцы бесплодны
Воинственны камни

Всё пахнет разором
Разором и кровью

Здесь даже кости
Свинцом пропахли

Огнем пропахли
И тьмою тьмою

* * *

Всегда начеку
С огнем под полой

У стен прибоем
Клокочет бой

И только эхо
Над головой

И вой отчаянья
В нетях камня

Жан Мамбрино

Из книги "Золотые сумерки"

Гул

Сойка рассекает напористый бриз, не оставляя шва
в плотном воздухе. Стриж касается волн
молнией крыльев. В этой зыбкости все
друг на друга походят, все едины даже
на расстоянии, эта схожесть дает им право
на содружество. Переполох тишины,
наполняющей лес, изобилие криков, ку-ку
вдалеке — они никогда не достигнут
высоты человеческой речи, как бы ни был их гул
говорлив в доадамовы дни. Лишь Адаму, ему одному.
от удивленья открывшему рот, было дано
обрести и узнать то, что сам он надолго забыл.

Спящая Красавица

Чуть касаясь пальцами звезд, заря их гасит,
как свечи. Капли воды искрятся на крыльях
ласточек, одетых в оттенки алого неба.
Полет, совершенство и хмель — все сливается здесь

© Jean Mambrino et les editions Arfuyen, 2002

воедино. Золото радостно избегает
тени, чтобы потом войти в ее плоть
и облечься в нежнейшую кожу, подобную розам,
пропитанным полусветом, в котором листва
отчеканена каждой прожилкой, покуда вокруг
обживается и копошится птичий народ.
Это время спящей красавицы, ждущей того,
кто разбудит ее, не покусившись на этот
мир, ибо слившиеся в поцелуе столь же светлы,
как лучи, соткавшие ложе под виноградной лозой.

Последнее

По дорогам, то там, то здесь, блуждают, сталкиваясь,
тела —
инородные, безучастные, не видящие друг друга.
Каждое несет толику своих мыслей
в небольшом мешке
из костей. Старик нащупывает будущее белым
посохом. В открытых окнах домов
иногда мелькают чьи-то глаза, выплывая
из тени, чтобы наткнуться взглядом на холм,
виноградник, оливы, на осленка или бездомного
пса с поводком, волочащемся по земле, пока
не найдется рука, что его подняла бы из пыли.
Ребенок играет в камешки. Двое влюбленных,
слившись в объятиях, пытаются остановить
время. Это зрелище может быть самым последним.
Птицы в мгновение ока пропадают из глаз.

Жан-Ив Массон

Из книги "Обеты мудрости и сновидений"

* * *

Ангелы прошлого, тени в кругу ноября,
так сотканы ваши одежды из яви и сна,
что утренний ветер невольно их кружит

вокруг человека, земного и смертного, — он
поклоняется вам. Вот бы мне улыбаться,
подобно ему!
Но эти просторы вокруг населяют мой слух
голосами.

Долина изгнанья! Здесь речь оживает вне плоти,
а значит, она без души, без надежды —
лишь видимость звука.
А значит, смерть ничего здесь не значит.
Говори — или мне замолчать?

© Jean-Yves Masson et les editions Cheyne, 2007

* * *

Ты взяла меня за руку в этом моем сновидении,
чтобы нам возвратиться к истокам
былых ожиданий
в той стране, в том пространстве души,
где бывало тебе хорошо.
Там дремал, как когда-то, ручей,
там тяжелые черные камни катились
по склону холма,
там по-прежнему красная галька дымилась
под пеплом, —

вот и все. Но какой-то невиданный свет
исходил от тебя,
и внезапно прозрачный просыпался дождь,
и тогда все земные,
все ожившие запахи вспыхнули разом в ночи!

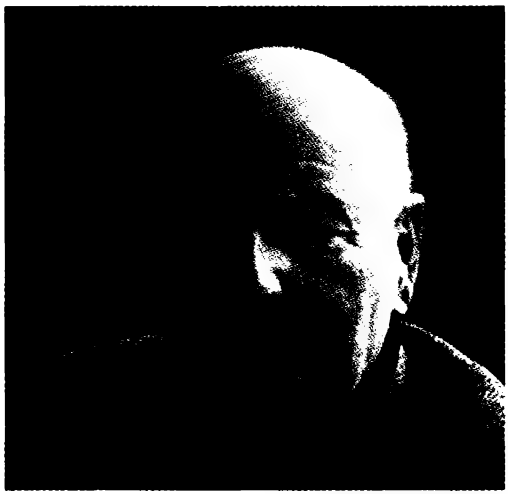
* * *

Всю ночь бормочет вода в ручье,
всю ночь взывает упрямо смерть,
и все-таки нужно спать, хотя

с восторгом и ужасом ждешь — вот-вот
отзовется оракул. Но птицы спят,
и уже луна поднялась в зенит,

а холмы безлюдны. И в тишине
я выслеживаю шаги, хочу
прикоснуться к тебе. Но сон не идет.

Салах Стетие



Из книги "Текучесть смерти"

* * *

В древе жизни моей обитает красное с черным
Древо надежды моей это зернышко
в кроне жизни моей
В кроне жизни моей смешаны полночь и свет
Солнце с луной обменялись гнездами
в древе жизни моей
Я иду один-одинешенек я да сердце мое
Я готов предъявить это зернышко почкам
в кронах над головой
Почкам дрожащим от холода но уже готовым цвести
В предчувствии теплых дней в поиске отчих корней
Под звездой отраженной зыбкой волной ручья

* * *

Я говорю с облаками идущими вровень со мной
С облаками отчаяния с облаками надежды моей
Как бы ни был обманчив пейзаж
а человек безрассуден

© Salah Stétié et les editions Fata Morgana, 2007

Как бы Хаос повсюду ни подменял Красоту
Мы войдем в эту ночь отраженную в сути вещей
Чтобы все позабыть чтоб с собой унести
Хотя бы крупицу тьмы в память о всем былом

* * *

Мудрец кто рану вскрывает
Мудрец кто рану сшивает
Под корою дерева лес
Под корою леса руда
Привкус молний и дыры в земле
Так расходятся материки
Нужно сшить их пока не поздно
Все рассеивается и этому
Ужасается мудрость мира

* * *

Прилив моей любви призыв моей судьбы
Миг встречи это миг когда трепещет пена

* * *

Античная табличка рождение письма
То ли дерево с шумом листвы то ли глина
с замесом грез
Главное нить облаков
Значит можно приблизить будущее
Вот мы его и ждем
Глаза нараспашку

Перевод Михаила Яснова

Людовик Жанвье

Из книги "Горстка людей"

* * *

Понимаете утро мне ворожит
если манит меня трава на лугу
понимаете озеро рвется ко мне
если я слишком долго смотрю в небеса

понимаете прочь змеится тропа
если я припал к ключевой воде
понимаете тень мне диктует слова
если я о камень споткнусь в пути

понимаете держит меня горизонт
если птичий полет увлекает вдаль
понимаете как меня слушает лес
если вся тишина на мои голоса.

* * *

Солнце жадно кромсает последнюю тень
где бы спрятаться воздуха не хватает

© Ludovic Janvier et les editions Gallimard, 2006

птицы ухватили лазурь за четыре конца
растянули и небо дрожит перед глазами

я забыл о далекой любви мне бы просто попить
я хочу чтобы море выстудило мне кровь

мы плывем по этой прохладе за край земли
опустив голову смотрим на донные травы

там внизу песок как небесная твердь
там свет пробегает как мурашки по телу

и лучи поднимаются мне навстречу
в ответ на каждый медленный взмах руки

* * *

Море подкатит мне под ноги думай
отхлынет назад и снова к моим берегам давай

задумайся да о чем же опять о вечном
или может о певучей стране отлива

расскажи нам о море недвижно катящем волны
глядишь на него голова кружится страшно
и нету слов

покажи нам солнце оно как флаг на ветру
и довольные псы справляют нужду в песочек

и слепой пришел показаться синему морю
да и сам ты чего-то ищешь в его чистоте

толща неба над толщей моря над толщей воды
мысли здесь должны просто рваться наружу

как желанный экскремент раздумий
божественный плод
итог встречи воображенья с природой

но нет ничего не случается нету мыслей
ну подумай еще! я думаю и вот *ничего*

море смыло все с моих берегов пустота
бесконечный синий час растворение в синем

ческих сказаниях, но также и в рыцарских романах), топонимике и антропонимике, в сказках, баснях и фольклоре. Например, история Красной Шапочки, самая ранняя версия которой появилась, по-видимому, на рубеже первого и второго тысячелетий, вертится вокруг трех цветов: маленькая девочка в красном несет горшочек белого масла бабушке (она же — волк), одетой в черное. Такое же движение от цвета к цвету присутствует и в "Белоснежке", но там цвета распределены иначе: колдунья в черном приносит белолицей девушке красное (то есть отравленное) яблоко. Еще один вариант распределения цветов — в басне о вороне и лисице, возможно, самой древней из басен: черная птица роняет белый сыр, которым завладевает рыжая лисица. Можно привести множество примеров такого использования цветовой триады в сюжетах, восходящих к незапамятным временам, а также обнаружить символическое обыгрывание этой схемы в различных областях жизни.

Итак, в период между концом XI и серединой XIII веков западноевропейская культура отходит от древней трехполюсной системы. Новому социальному порядку нужен новый цветовой порядок. Двух хроматических осей и трех основных цветов уже недостаточно. Теперь западноевропейскому обществу требуются шесть основных цветов (белый, красный, черный, синий, зеленый, желтый), а также самые сложные их сочетания, чтобы создавать эмблемы, репрезентативные коды и символические системы — именно в этих трех сферах проявляется главная, классификаторская функция цвета. Среди новых сочетаний особое значение приобретает ось "красное—синее": она позволяет красному, как некогда белому, обзавестись антагонистом — в данном случае эту роль играет синий. К двум известным с глубокой древности цветовым парам (белое—черное и белое—красное) добавляется третья: красное—синее. В XIII веке красный и синий начнут противопоставлять друг другу (чего прежде никогда не бывало), и это противопоставление просуществует до наших дней.

3. *Высокоморальный цвет*

XV—XVII *века*

С середины XIV века синий цвет в западноевропейской культуре вступает в новую фазу своей истории. Модному цвету

цвету Пресвятой Девы, королевскому цвету теперь приходится соперничать не только с красным, но и с черным: обычай одеваться в черное, появившийся на исходе Средневековья, будет распространяться все шире и доживет до начала Нового Времени. Однако эта конкуренция не повредит синему, наоборот — пойдет ему только на пользу. Цвет королей, цвет Богоматери, наряду с черным, становится цветом высокой морали. Эта новая роль синего в европейских социумах обусловлена двумя причинами, связанными с этикой и особенностями человеческого восприятия: морализаторским течением в общественной мысли, очень сильным в эпоху позднего Средневековья, и в еще большей степени — мнением вождей Реформации о том, какие задачи должен выполнять цвет в жизни общества, художественном творчестве и религиозной обрядовости.

Поэтому историю синего цвета в XIV–XVII веках нельзя изучать обособленно. В эти столетия она теснее, чем когда-либо, переплетается с историей других цветов, главный из которых в данном случае — черный.

Законы против роскоши и предписания об одежде

Итак, все эти изменения — результат моды на черное, появившейся в середине XIV века. Эта мода — постепенно, косвенным образом — усиливает влияние синего цвета в ущерб красному. С 1360 года по 1380-й черный цвет проходит тот же путь, что и в свое время синий: за одно-два десятилетия европейские красильщики ухитрились сделать то, что не удавалось сделать в течение долгих столетий, — выкрасить шерсть в красивый черный цвет, насыщенный, яркий, стойкий. И, как представляется, в основе этих технических и профессиональных достижений — не открытие химиков, не новый, завезенный в Европу краситель, а изменившиеся запросы общества. Отныне обществу требуются черные ткани и черная одежда высокого качества, и красильщикам приходится окрашивать в этот ставший модным цвет огромные куски сукна; вот они и изобрели более привлекательный оттенок черного, причем освоили новую технику окрашивания с необычайной быстротой. Полагаю, что в данном случае опять-таки требования общества, его изменившаяся идеология стали катализатором прогресса в химии и технологии, а не наоборот.

Мода на черное в Западной Европе, продержавшаяся от заката Средневековья до начала современной эпохи, представляет большой интерес как факт общественной жизни и

как феномен человеческого восприятия. Отголоски этой моды не умолкают и по сей день: вспомним наши темные костюмы, смокинги, траурную одежду, вечерние туалеты, пресловутое "маленькое черное платье"... Мода на черную одежду, зародившаяся в XIV веке, будет иметь продолжительное влияние на историю синего цвета.

Однако, хоть мы и располагаем многочисленными документальными свидетельствами о моде на черное, не все в ней понятно, а о ее причинах пока остается лишь догадываться. Очевидно, причины эти были прежде всего морального и экономического порядка. В середине XIV века, после опустошительной эпидемии чумы 1346–1350 годов – а кое-где и ранее – в западнохристианском мире все чаще стали издаваться законы против роскоши и предписания об одежде. На эту тему есть несколько монографий, посвященных отдельным городам, но фундаментальный труд о законах против роскоши – сначала издававшихся королями и феодалами, затем городскими властями и аристократами – пока еще не написан. В различных формах законы эти просуществовали вплоть до XVIII века (так будет, например, в Венеции и в Женеве) и в определенной мере повлияли на повседневную моду нового и новейшего времени.

Почему они появились? Можно указать три причины. Во-первых, экономическую: необходимость ограничить расходы на одежду во всех классах и категориях общества, ибо это были непродуктивные траты. Во второй половине XIV века среди дворянства расходы на одежду стали непомерными, страсть к великолепным нарядам граничила с безумием. Закон должен был обуздать расточительность, объявить войну кичливой роскоши, которая заставляет людей влезать в долги, доводит их до разорения. Кроме того, закон должен был предотвратить повышение цен, переориентировать экономику, стимулировать местных производителей, приостановить импорт предметов роскоши, по большей части доставлявшихся из самых отдаленных стран Востока. Вторая причина – морального свойства: необходимость поддерживать христианскую традицию скромной и добродетельной жизни. В этом смысле данные законы, уложения и предписания следует рассматривать как проявление мощного морализаторского движения, которое появилось на исходе Средневековья и продолжательницей которого стала Реформация. Все законы такого рода осуждают различные перемены и нововведения, приводящие к нарушению существующего порядка вещей и порче нравов. Вот почему они часто бывают направлены против молодежи и женщин, ведь представителей этих двух социальных

категорий обычно привлекает новизна. И наконец, главная причина — идеологическая: одежда должна была стать средством сегрегации — каждый обязан носить платье, подобающее его полу, сословию, рангу и заслугам. Чтобы различные классы общества не смешивались, следовало установить между ними непроницаемые барьеры. Отныне представителя того или иного класса можно было распознать по одежде. Разрушить эти барьеры — значит посягнуть на порядок, заведенный самим Господом Богом, то есть совершить поступок не только кощунственный, но и опасный.

Таким образом, с середины XIV века одежда человека строго регламентировалась его происхождением, уровнем доходов, возрастом, родом занятий, социальной и профессиональной принадлежностью. От этого зависело и количество вещей, составлявших его гардероб, и качество тканей, из которых они были сшиты, их цвет, наличие или отсутствие мехов, украшений, драгоценностей и прочих аксессуаров. Разумеется, законы против роскоши распространяются не только на одежду, но и на все, что окружает человека: посуду, столовое серебро, еду, мебель, дома, кареты, слуг, домашних животных; но одежда — важнее всего, потому что она приобретает знаковый характер в новом, только начинавшем складываться, обществе, где внешний вид будет играть все большую роль. Вот почему законы против роскоши имеют такое значение для историка, изучающего одежду европейцев на закате Средневековья и желающего разглядеть за их манерой одеваться определенную идеологическую подоплеку. Тем более что законы эти зачастую были малоэффективны, их приходилось издавать заново, и тексты их становились все более длинными, а содержавшиеся в них запреты и указания — чрезвычайно, иногда избыточно, подробными. Последнее обстоятельство делает их особенно интересными для исследователя. К сожалению, на сегодняшний день опубликованы лишь немногие из этих текстов.

Цвета предписанные и цвета запретные

Посмотрим, что говорится в этих законах, декретах и предписаниях, изданных в XIV–XV веках, о цвете одежды. Во-первых, некоторые цвета объявляются запретными для той или иной социальной категории не потому, что они слишком яркие, бросающиеся в глаза, а потому, что для их получения нужны очень дорогие красители, каковые могут быть использованы лишь для одежды наиболее знатных, богатых и высо-

копоставленных людей. Например, в Италии знаменитое "алое венецианское сукно", для окраски которого требуется дорогостоящий сорт кошенили, имели право носить лишь владетельные князья и сановники высшего ранга. В Германии подобным ограничениям подверглись окрашенные польской кошенилью красные ткани, а также некоторые синие: особо роскошное "павлинье сукно" (panni pavonacei), для производства которого используется высококачественная тюрингенская вайда. Таким образом, моральные ограничения касаются не самого цвета, а вещества, необходимого для его получения. Но историку, изучающему эти законы, порой нелегко понять, о чем идет речь – о цвете, красящем веществе или окрашенной ткани: иногда и то, и другое, и третье обозначается одним словом. Это может привести к невообразимой путанице. Например, в XV веке в текстах законов, написанных не по-латыни, а на местном наречии (на французском, немецком и голландском языках), словом "алый" иногда обозначаются все роскошные ткани, каков бы ни был их цвет, иногда – все роскошные ткани красного цвета, вне зависимости от красителя; временами это определение относится исключительно к красным тканям, окрашенным кошенилью, временами – к самому этому красителю, знаменитому и баснословно дорогому; в других случаях слово "алый" употребляется в его современном значении: яркий, красивый оттенок красного.

По всей Европе одежду дорогостоящих или слишком ярких цветов запрещается носить тем, чей облик должен быть важным и суровым: в первую очередь, конечно же, священникам, затем вдовам, судьям и чиновникам. А всем остальным запрещается носить многоцветную одежду, со слишком резким сочетанием красок, сшитую из ткани в полоску, в шашечку или в крапинку[1]. Она считается недостойной доброго христианина.

Однако в законах против роскоши и различных декретах об одежде основное место уделяется не запретным, а предписанным цветам. Здесь уже речь идет не о качестве красителя, а о цвете как таковом, независимо от его оттенка, степени яркости или насыщенности. Предписанный цвет не должен быть неприметным, напротив, он должен бросаться в глаза, ибо это отличительный знак, эмблема позора, клеймо бесчестия, которое должны носить на себе представители особых общественных категорий, а также все презираемые и от-

1. См. М. Пастуро. Дьявольская материя.

верженные. На городских улицах их должно быть видно издалека, поэтому предписания об одежде разработаны в первую очередь для них. Для поддержания существующего порядка, для сохранения добрых нравов и обычаев, завещанных предками, необходимо отделить почтенных горожан от людей, которые обретаются на задворках общества, а то и за его пределами.

Перечень тех, к кому относятся такие предписания, внушителен. Прежде всего это люди, занимающиеся опасным, постыдным или просто подозрительным ремеслом: врачи и хирурги, палачи, проститутки, ростовщики, жонглеры, музыканты, нищие, бродяги и оборванцы. Затем — все те, кто был признан виновным в каком-либо проступке, начиная от обычных пьяниц, затеявших драку на улице, до лжесвидетелей, клятвопреступников и до воров и богохульников. Затем — убогие и увечные (в средневековой системе ценностей любое увечье, физическое либо умственное, почиталось за великий грех): хромые, калеки, золотушные, прокаженные, "недужные", а также "кретины и слабоумные". Наконец, все нехристиане, евреи и мусульмане: во многих городах и регионах существовали еврейские и мусульманские общины; особенно многочисленными они были на юге Европы. По-видимому, первые декреты о ношении одежды определенного цвета, принятые в XIII веке Четвертым Латеранским собором, предназначались именно для иноверцев. Такое решение было связано с запретом браков между христианами и нехристианами и необходимостью идентифицировать этих последних.

Какие бы мнения ни высказывались на этот счет, совершенно очевидно, что в западнохристианском мире не существовало единой системы цветовых отличий для определенных категорий населения. В разных городах и регионах были приняты различные системы, но и в одном городе с течением времени они могли меняться. Например, в Милане и Нюрнберге, городах, где в XV веке существовали многочисленные и очень подробные предписания об одежде; цвета, которые должны были носить изгои общества — проститутки, прокаженные, евреи, — менялись от поколения к поколению, а порой даже от десятилетия к десятилетию. Тем не менее здесь обнаруживается некая закономерность, о которой стоит вкратце рассказать.

Дискриминационную функцию выполняют в основном пять цветов: белый, черный, красный, зеленый и желтый. Синий не фигурирует ни в одном из предписаний. Быть может, потому что на исходе Средневековья он был слишком

почитаемым и почетным цветом? Или он успел настолько распространиться, что человек в синем просто не мог привлечь к себе внимание? Или же, как я склонен думать, первые постановления о цветовых различиях в одежде (их история еще не вполне изучена) появились до Латеранского собора (1215), когда синий цвет еще не вошел в моду и его символика считалась слишком бедной, чтобы он мог служить знаком различия? Так или иначе, отсутствие синего в наборе дискриминационных цветов (как, впрочем, и в перечне цветов богослужебных) — важное свидетельство того, сколь малую роль он играл в социальных кодах и системах ценностей до XIII века. С другой стороны, данное обстоятельство способствовало "моральному" возвышению синего цвета. Раз этот цвет не упоминается ни в предписаниях, ни в запретах, значит, синюю одежду может носить каждый, свободно и без всяких опасений. Возможно, именно поэтому мужчины и женщины все чаще одевались в синее.

И еще несколько слов о дискриминационных или позорных цветах. Как правило, цветовым знаком различия служили элементы одежды: нашивки в виде крестов или кружков, повязки, шарфы, ленты, чепцы, перчатки, накидки с капюшоном. Эти знаки бывали и одноцветными, но чаще — двухцветными. В последнем случае указанные пять цветов использовались во всех возможных сочетаниях, однако наиболее распространенными комбинациями были следующие: красный и белый, красный и желтый, белый и черный, желтый и зеленый. Двухцветный знак имел вид двухчастного гербового щита, разделенного по вертикали, горизонтали или по диагонали, либо с полосой посредине. Если знак был трехцветный, в нем могли сочетаться только красный, желтый и зеленый цвета: в Средние века они считались кричащими, а их сочетание несло в себе идею многоцветности, почти всегда понимаемой как нечто принижающее человека.

Если попытаться установить, какие цвета присваивались той или иной категории изгоев, то можно заметить (разумеется, значительно упрощая), что белый и черный, по отдельности или в сочетании, были отличительными знаками убогих и калек (особенно прокаженных), по красному знаку узнавали палачей и проституток, по желтому — фальшивомонетчиков, еретиков и евреев; зеленые либо желто-зеленые знаки носили музыканты, жонглеры, шуты и умалишенные. Но есть и множество других примеров. Так, знаком проститутки (который должен был не только отпугивать добродетельных граждан, но и привлекать сборщиков налогов) чаще

всего служил красный цвет (в разных городах и в разные десятилетия это могли быть красное платье, пояс, шарф, накидка или плащ). Однако в Лондоне и в Бристоле в конце XIV века проститутку можно было отличить от порядочной женщины по одежде из полосатой, разноцветной ткани. Несколькими годами позднее такой же отличительный знак носили проститутки в Лангедоке. А вот в Венеции в 1407 году эту роль выполнял желтый шарф; в Милане в 1412 году — белый плащ; в Кёльне в 1423 году — красно-белый пояс; в Болонье в 1456 году — зеленый шарф; в том же Милане, но в 1498 году — черный плащ; в Севилье в 1502 году — зелено-желтые рукава. Единого правила не существовало. Иногда проститутку можно было узнать не по цвету, а по некоторым деталям одежды. Например, в Кастре в 1375 году такой деталью служила мужская шляпа.

Знаки, которые предписывалось носить евреям, были еще разнообразнее: на сегодняшний день они мало изучены. Вопреки мнению многих авторов, здесь тоже не было единой системы, распространяющейся на весь западнохристианский мир или хотя бы надолго закрепившейся в той или иной стране, том или ином регионе. Конечно, в итоге победа осталась за желтым цветом, который в иконографии традиционно ассоциируется с иудейством; однако в течение долгого времени евреям предписывали носить либо одноцветные знаки — красные, белые, зеленые, черные, либо двухцветные — желто-зеленые, желто-красные, красно-белые, бело-черные. Сочетаний множество, форма у знака тоже различная: это мог быть кружок, нашитый на одежду (самый частый случай), кольцо, звезда, нечто, напоминающее по виду скрижали Завета, или просто шарф, а иногда даже крест. Если знак нашивался на одежду, то он мог располагаться на плече, на груди, на шляпе и чепце, а порой на нескольких местах сразу. Здесь опять-таки нельзя доказать наличие какого-либо общего принципа. Бесспорным остается только одно: синий цвет никогда не использовался в качестве позорного или дискриминирующего.

От модного черного до высокоморального синего

Вернемся к черному цвету, который в середине XIV века неожиданно вошел в моду. Причиной этому, очевидно, стали законы против роскоши и предписания об одежде, о которых только что шла речь. Мода на черное возникла у городского населения Италии. Некоторые аристократы, а также

богатые купцы, еще не успевшие подняться на вершину социальной лестницы, не имели права носить одежду из роскошных красных (как, например, алое венецианское сукно) или ярко-синих (как флорентийское "павлинье" сукно) тканей. Возможно, поэтому, в знак молчаливого протеста, они завели привычку одеваться в черное. Черный цвет тогда считался скромным и отнюдь не почетным. Но эти люди богаты: они требуют, чтобы портные или суконщики достали им черные ткани более привлекательного вида, более яркой и прочной окраски. Чтобы удовлетворить требования таких богатых и щедрых заказчиков, суконщики обращаются за помощью к красильщикам. В результате за сравнительно недолгое время, в 1360—1380 годы, мастерам удается изобрести новую технику крашения. И возникает мода на черный цвет. Благодаря этой моде аристократы смогут, не нарушая законов и предписаний, одеваться по собственному вкусу. А еще новая мода позволит им обойти другой запрет, действующий во многих городах: запрет на ношение роскошных мехов, таких, как соболь, самый дорогой и самый черный из всех мехов, а следовательно, предназначенный для одних лишь государей. И наконец, она даст им возможность при исполнении официальных обязанностей появляться перед людьми в строгом и полном достоинства одеянии.

Очень скоро моду дворян и богатых купцов подхватят и другие классы общества. Первыми это сделают европейские государи. Уже в конце XIV века черная одежда появляется в гардеробе герцога Миланского, графа Савойского, а также властителей Мантуи, Феррары, Римини, Урбино. В начале следующего столетия новая мода перешагнет границы Италии: короли и принцы других стран оденутся в черное. Раньше всего это произойдет во Франции и в Англии, а немногим позже — в Германии и в Испании. При французском дворе черная одежда появляется в период душевной болезни короля Карла VI; впервые ее наденут дяди короля, возможно, под влиянием его невестки Валентины Висконти, дочери герцога Миланского, которая привезла с собой обычаи своей родины. Но решающую победу черный цвет одержит несколько десятилетий спустя, в 1419—1420 годы, когда юный принц, коему суждено стать самым могущественным государем Европы, оденется в черное: будущий герцог Бургундский Филипп Добрый сохранит верность этому цвету на всю жизнь.

Многие хронисты отмечали у Филиппа эту привязанность к черному и объяснили ее тем, что герцог носил траур по отцу, Жану Бесстрашному, убитому на мосту в Монтеро в 1419 году. Это, безусловно, так, однако следует учесть, что

сам Жан Бесстрашный постоянно носил черное – после крестового похода, в котором он участвовал и который завершился поражением христиан в битве при Никополе в 1396 году. Вероятнее всего, сразу несколько факторов – династическая традиция, мода княжеских дворов, политические события и личные обстоятельства – привели к тому, что Филипп Добрый стал одеваться в черное. Авторитет герцога обеспечил черному цвету окончательную победу во всей Западной Европе.

В самом деле, XV век стал для черного веком славы. Вплоть до восьмидесятых годов этого столетия не было такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды (как из шерстяных, так и из шелковых тканей), а также мехов. Одежда могла быть сплошь черной, или же однотонный костюм дополнялся деталями других цветов – главным образом, белого или серого. Ибо XV век, век славы черного и других темных цветов, стал также веком возвышения серого. Впервые в истории западноевропейского костюма этот цвет, прежде использовавшийся для рабочей одежды и для одежды бедняков, стал считаться изысканным, соблазнительным, даже развратным. Долгие годы у серого было два венценосных поклонника: Рене Анжуйский и Карл Орлеанский. Оба они, как в своих стихах, так и в своем гардеробе, часто противопоставляли серый черному. Черный связывали с трауром или меланхолией, тогда как серый символизировал надежду и радость. Об этом поется в песне Карла Орлеанского, герцога и поэта "с сердцем, одетым в черное", который двадцать пять лет провел в английском плену: "Оказавшись вне пределов Франции, за горами Мон-Сени, он не утратил надежду, вот почему он одет в серое".

Мода на черное пережила последнего герцога Бургундского Карла Смелого (любивший одеваться в черное герцог умер в 1477 году) и весь XV век. В следующем столетии популярность черного возрастет чуть ли не вдвое. Помимо того, что короли и владетельные князья сохранят верность черному (черный цвет в придворном костюме продержится еще очень долго, в отдельных странах до середины XVII века), этот цвет сохранится в одежде священников, чиновников и судей, всех тех, у кого он, по уже сложившейся традиции, символизирует высокую нравственность. Реформация считает черный самым достойным, самым добродетельным, глубоко христианским цветом; а со временем протестанты приравняют к черному другой цвет, цвет честности, умеренности, неба и одухотворенности: синий.

О войне, которую вожди Реформации объявили изображениям, написано очень много. Однако помимо иконоборчества имела место еще и война с цветом, которая пока еще недостаточно изучена. Это "цветоборчество", сыгравшее важную роль в судьбе синего цвета в начале современной эпохи, проявилось в различных областях: в искусстве, религиозной обрядовости, одежде и повседневной жизни. Рассмотрим каждую из них.

Вопрос, должен ли цвет присутствовать в христианском храме, — очень древний. Он вызывал дискуссии и в каролингскую эпоху, и в романскую, когда по этому поводу конфликтовали клюнийские монахи и цистерцианцы. Речь шла не только о догме, но также об этике и эстетике. Многие прелаты (в том числе и все наиболее видные настоятели Клюнийского аббатства), а также многие богословы считали, что цвет — это свет, то есть единственная часть воспринимаемого нами мира, которая является одновременно видимой и нематериальной. Но, как известно, Бог есть свет. А значит, дозволено и даже желательно расширить пространство, отведенное в храме цвету, не только чтобы изгнать тьму, но и чтобы освободить место для божественного. Так и поступает Сугерий, когда в 1129—1130-х годах предпринимает реконструкцию собора Сен-Дени. Однако есть прелаты, придерживающиеся другого мнения: для них цвет — это не свет, а материя.

Такая точка зрения возобладала среди цистерцианцев. В соответствии с ней и строились церкви этого ордена в течение почти всего XII века, а кое-где еще и в XIII. Впоследствии суровость цистерцианцев несколько смягчится. Начиная с середины XIV столетия обе позиции начинают сближаться. Одни больше не настаивают на том, чтобы интерьер церкви был ярким и красочным, другие не требуют, чтобы он был одноцветным. Постепенно вырабатывается общее мнение: в интерьере церкви должны преобладать серые тона, допустимы несколько цветовых пятен, а также немного позолоты (исключительно на ребрах арок и нервюрах сводов). Так будет во Франции и в Англии. А вот в странах Священной Римской империи (кроме Голландии), в Польше и Богемии, в Италии и Испании цвет в храме по-прежнему занимает весьма значительное место. Золота много, даже слишком много, и убранство не уступает в роскоши облачениям и утвари. Поэтому в XV веке возникают народные движения (например, гуситов), которые, как впоследствии протестанты, выступают против чрезмерной пышности церковных интерьеров:

обилия золота, ярких красок и изображений. Кое-где эти голоса были услышаны. С начала XV века на миниатюрах, созданных на севере и северо-западе Европы, часто можно увидеть бесцветные церковные интерьеры: примерно так будут выглядеть двести лет спустя интерьеры кальвинистских храмов на картинах голландских художников.

Таким образом, к началу Реформации церкви уже не сверкали прежним многоцветьем. Напротив, время полихромного убранства прошло: церковные интерьеры становились строже и аскетичнее. Но, во-первых, новая тенденция проявляется не повсеместно, а во-вторых, идеологам Реформации этого недостаточно: они считают, что цвет вообще нужно изгнать из храма. Подобно святому Бернару Клервоскому в XII веке, Карлштадт, Меланхтон, Цвингли и Кальвин (позиция Лютера была не столь жесткой) не одобрят использование цветов в церковном убранстве и чрезмерно яркую алтарную роспись. Вслед за библейским пророком Иеремией, который осыпал упреками царя Иоакима, они осуждают тех, кто строит похожие на дворцы храмы, "и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краскою"[1]. Красный цвет — в Библии выполняющий роль цвета как такового — воспринимается как главный символ роскоши и греха. Он ассоциируется уже не с кровью Христа, а с людскими заблуждениями. Карлштадт и Лютер осыпают его проклятиями. Лютер видит в нем эмблему папской власти, одетой в пурпур, словно вавилонская блудница.

Все это сравнительно хорошо известно — особенно рассуждение о греховности ярких цветов в связи с многоцветными облачениями священников и пышностью богослужения. Менее известно другое: каким образом эти теоретические и догматические принципы были претворены в жизнь в протестантских общинах, принадлежавших к различным ветвям этой конфессии? Каковы хронология и география изгнанного цвета? Сколько церквей было разрушено, в скольких многоцветное убранство закрыли от верующих, либо превратили в одноцветное (стерли позолоту, настенную роспись закрасили однотонной краской, либо забелили известью), а где интерьер полностью переделали? Всегда ли добивались абсолютного отсутствия цвета, или же в отдельных случаях проявляли терпимость? И потом, абсолютное отсутствие цвета — это как? Все должно стать белым? Или серым? Или синим? Или же остаться некрашеным?

1. Кн. Иеремии. XXII:13–14. См. также Кн. Иезекииля. VIII:10.

По всем этим вопросам мы располагаем неполными, упрощенными, иногда противоречивыми данными. Цветоборчество — не иконоборчество, к нему нельзя применить те же хронологические и географические схемы. Война с цветом — если такая война в самом деле была — велась не так ожесточенно, более мягкими, более хитроумными методами, поэтому историку труднее ее отследить. И вообще: случалось ли так, что изображения, богослужебная утварь и само здание уничтожались единственно за их слишком яркие, вызывающие цвета? Как ответить на этот вопрос? Как отделить цвет от его носителя? Конечно, полихромная окраска скульптур, особенно Богоматери и святых, в глазах протестантов превращала эти статуи в идолов. Но одними скульптурами дело не ограничивается. Что стремились уничтожить сторонники Реформации в тех многочисленных случаях, когда они разбивали витражи? Изображение или цвет? Формальный принцип (представление божественных существ в антропоморфном облике)? Или сюжет (сцены из жизни Богоматери, подвиги святых, портреты пап и епископов)? И на эти вопросы у нас пока тоже нет ответа. Порой даже возникает соблазн взглянуть на все с другой стороны: а вдруг ритуалы поругания и разрушения изображений и многоцветья были своего рода "литургией цвета"? Такая мысль возникает потому, что иногда (чаще всего в Цюрихе и в Лангедоке) в этих ритуалах было нечто театральное, чтобы не сказать карнавальное.

Слово "литургия" вновь отсылает нас к ритуалу католической мессы, в котором цвет играет первостепенную роль. Церковная утварь и облачения священников не только выполняют функцию, обусловленную их местом в системе богослужебных цветов, они гармонично сочетаются со светильниками, архитектурным декором, полихромной скульптурой, миниатюрами в Библиях и часословах и всеми драгоценными украшениями храма: в итоге получается настоящий спектакль, где герой — цвет. Как движения и позы священнослужителей, как ритмы и звуки молитв, цвета необходимы для католической церковной службы. Однако мы уже говорили о том, что синий цвет был полностью исключен из системы богослужебных цветов, сложившейся в эпоху раннего Средневековья и закрепившейся в XII—XIII веках. Возможно, именно этим обстоятельством и следует объяснить то, что идеологи Реформации всегда будут благосклонно относиться к синему цвету, как во внутреннем убранстве храма, так и в наружном, одобрять его использование как в художественном творчестве и общественной жизни, так и религиозной практике.

В своей борьбе против мессы, этого "непристойного балагана, который делает из Церкви посмешище, превращает ее служителей в 'фигляров'" (Кальвин), "выставляет напоказ никчемные украшения и богатства" (Лютер), Реформация не могла нейтрально отнестись к цвету — и к самому факту его присутствия в храме, и к его роли в литургии. По мнению Цвингли, внешняя красота обрядов препятствует искреннему богопочитанию. А Лютер и Меланхтон считают, что людскому тщеславию не место в храме. Карлштадт убежден в том, что церковь должна быть "чиста, словно синагога". Лучшее украшение храма, говорит Кальвин, это слово Божие. И все они сходятся в том, что храм должен приводить верующих к святости, а значит, должен быть простым, все в нем должно быть в гармонии, без прикрас и излишеств, ибо его чистота очищает душу, либо символизирует ее чистоту. Поэтому в протестантских храмах не найдется места богослужебным цветам, которые так важны для католицизма, и более того: цвет не будет играть никакой роли в отправлении религиозного культа.

Реформация и цвет: искусство

Существует ли какое-то особое протестантское искусство? Вопрос этот не нов. Но ответы, которые пытаются на него дать, по-прежнему туманны и противоречивы. И вот что любопытно: об отношениях между Реформацией и художественным творчеством написано достаточно, однако лишь немногие исследователи уделили внимание проблемам цвета. И вообще, авторы трудов по истории искусства (включая, как ни удивительно, историю живописи) словно игнорируют историю цвета.

Мы видели, как в иных случаях борьба с изображениями превращалась в борьбу с цветами, которые показались их противникам чересчур яркими, роскошными, вызывающими. Эрудит и антиквар Роже де Геньер (1642–1715) оставил нам зарисовки многочисленных средневековых надгробий анжуйских и пуатевинских прелатов: эти надгробия были покрыты великолепной многокрасочной росписью, однако в 1562 году, когда поднялась мощная волна иконоборчества и цветоборчества, гугеноты эту роспись стерли, либо превратили в одноцветную. Летом 1566 года погромщики церквей на севере Франции и в Голландии действовали сходным образом, хотя в принципе им больше нравилось крушить, чем отскабливать краску с надгробий и красить их заново. Одна-

ко среди последователей Лютера, после первоначального всплеска агрессивности, наступает период более уважительного отношения к старым изображениям (их не уничтожают, а вынимают из алтарей и красят заново) и большей терпимости к цвету в интерьере храма, особенно если речь идет о цветах, которые считаются "приличными" или "высокоморальными": белом, черном, сером и синем.

Но хватит о разрушении. Чтобы прояснить отношение протестантизма к искусству вообще и цвету в частности, нам надо узнать, что создали его последователи. А значит, надо изучить палитру художников-протестантов и то, что предшествовало ее формированию: мнения вождей Реформации об изобразительном искусстве и эстетическом восприятии. Задача непростая, поскольку на эту тему они высказывались весьма многословно и в разные годы по-разному. Так, например, Цвингли в конце жизни стал относиться к ярким краскам менее враждебно, чем в 1523–1525 годах. Правда, его, как и Лютера, гораздо больше интересует музыка, чем живопись. Возможно, именно поэтому наибольшее количество замечаний или указаний, касающихся изобразительного искусства и цвета, мы находим не у Лютера и Цвингли, а у Кальвина. К сожалению, они рассеяны по объемным текстам его сочинений, и их приходится собирать по крупицам. Постараемся изложить их вкратце, по возможности не искажая смысла.

Кальвин не против изобразительного искусства, но считает, что оно должно иметь исключительно светскую тематику и созидательную направленность, должно "радовать" (почти в теологическом смысле) и чтить Бога. Задача искусства – изображать не Творца (что недопустимо и чудовищно), а Творение. Соответственно, художник должен избегать пустых и легковесных сюжетов, склоняющих к греху или разжигающих похоть. Искусство не обладает самостоятельной ценностью; оно дается нам Богом, чтобы мы могли лучше понять Его. Поэтому живописец должен в своей работе соблюдать умеренность, стремиться к гармонии форм, вдохновляться окружающим миром и воспроизводить увиденное. Самые прекрасные цвета – это цвета природы; нежно-зеленый оттенок некоторых растений, по его мнению, "весьма приятен на вид", а лучший из цветов – это, конечно же, цвет неба.

Если в том, что касается выбора сюжетов (портреты, пейзажи, изображения животных, натюрморты), связь между этими рекомендациями и картинами художников-кальвинистов XVI–XVII веков прослеживается сравнительно легко, то

с цветом дело обстоит сложнее. Существует ли в живописи кальвинистская палитра? Или протестантская палитра? И есть ли смысл в подобных вопросах?

Во всех трех случаях я бы ответил "да". На мой взгляд, у протестантских художников есть характерные, повторяющиеся особенности, которые позволяют говорить о несомненной хроматической специфике их живописи: сдержанность в подборе цветов, отсутствие цветовых контрастов, обилие темных тонов, использование гризайли[1], игра оттенков серого и синего, естественность красок, стремление избегать всего, что бросается в глаза и может нарушить хроматический лаконизм картины слишком резким перепадом тонов. Исследуя работы художников-кальвинистов, можно даже говорить о пуританизме колорита, столь бескомпромиссно придерживаются они этих принципов.

Например, Рембрандт, у которого мы часто видим прямотаки аскетический колорит, базирующийся на темных тонах (столь немногочисленных, что художника часто упрекали в монохромии), нарочито приглушенных, чтобы они не мешали вибрациям света и тени. Эта единственная в своем роде палитра обладает музыкальностью и неоспоримой, глубокой религиозной проникновенностью.

Как видим, в Западной Европе на протяжении долгого времени сохранялась преемственность между различными точками зрения на цвет в искусстве. Цистерцианская архитектура в XII веке, миниатюры, выполненные гризайлью в XIV–XV веках, волна хромофобии в начале Реформации, кальвинистская и янсенистская живопись XVII века – все это, по сути, опирается на один и тот же тезис: цвет есть прикраса, роскошь, фальшь, иллюзия. Цвет есть тщета, ибо он материален; он опасен, ибо отвлекает от истины и добра; он преступен, ибо пытается ввести в соблазн и обмануть; он мешает, ибо не дает четко разглядеть форму и очертания предметов. Святой Бернар Клервоский и Кальвин, по сути, говорят одно и то же; а в XVII веке, когда начнутся неутихающие споры, что важнее в искусстве – рисунок или колорит, их аргументы подхватят противники Рубенса и рубенсизма.

Несмотря на то что хромофобия идеологов Реформации не была новшеством, она сыграла важнейшую роль в эволюции цветовосприятия в Западной Европе. С одной стороны,

1. Гризайлью (*франц.* grisaille от gris – серый) называется техника однотонной (монохромной) живописи, выполняется в разных оттенках одного цвета. (*Прим. перев.*)

она усилила противопоставление между парой черный/белый и другие цвета; с другой — вызвала в католическом мире реакцию в виде хромофилии и косвенным образом привела к возникновению барочного и иезуитского искусства. Ибо для Контрреформации церковь — это образ Неба на земле, и догмат о реальном присутствии оправдывает любые роскошества внутри храма. Ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего: мрамор, золото, драгоценные ткани и металлы, витражи, статуи, фрески, картины, сверкающие краски — все то, что было изгнано из протестантского храма и богослужения, найдет себе место здесь. С появлением искусства барокко католическая церковь снова станет святилищем цвета, которым она была в романо-готическую эпоху, но только теперь синий цвет уступит первенство золотому.

Реформация и цвет: одежда

Пожалуй, именно в этой сфере влияние протестантской борьбы с цветом оказалось наиболее мощным и длительным. И именно в этой сфере высказывания разных вождей Реформации обнаруживают наибольшее совпадение. По поводу роли цвета в искусстве, интерьере храма и богослужении они придерживаются в принципе одного мнения, однако по поводу отдельных деталей наблюдается столько разногласий, что о единодушии говорить невозможно. А вот с одеждой дело обстоит иначе: идеологи Реформации дают своим духовным чадам одни и те же (или почти одни и те же) наставления. Разница лишь в нюансах и степени благочестивого рвения, ибо, как и повсюду, в каждой протестантской конфессии и в каждой секте имелись свои умеренные и свои радикалы.

В протестантизме одежда — почти всегда знак стыда и греха. Ее ношение связано с первородным грехом, и одна из ее главных функций — напоминать человеку о его грехопадении. Вот почему облик человека должен свидетельствовать о его самоуничижении, а значит, одежда должна быть строгой, простой, неприметной, приближающей своего обладателя к природе и приспособленной для работы. Все варианты протестантской морали выражают глубокое отвращение к роскоши в одежде, к изыскам и украшениям, переодеваниям, слишком часто меняющейся или эксцентричной моде. По мнению Цвингли и Кальвина, носить украшения недостойно, румяниться — позор, а надевать маскарадный костюм — мерзость.

Меланхтон, который в этом вопросе единодушен с Лютером, считает, что человек, уделяющий слишком много внимания своему телу и своей одежде, — хуже животного. И все они сходятся в том, что роскошь — это разврат, а единственное украшение, коего следует желать, — это красота душевная. Внутренний мир должен быть важнее, чем внешний облик.

В итоге внешний вид протестантов приобрел необычайную строгость и суровость: их одежду отличали простота покроя, тусклые цвета, отказ от любых аксессуаров и ухищрений, которые помогли бы скрыть природные недостатки. Вожди Реформации сами подают пример аскетизма как своим поведением в повседневной жизни, так и своим обликом, сохранившимся на живописных или гравированных портретах. Все они позируют художникам в одежде темных, блеклых тонов, навевающих грусть. И чаще всего эти фигуры в темном или черном изображаются на голубом фоне, который должен напоминать о небе.

Стремление к простоте и строгости заставляет протестантов изгонять из гардероба все "непристойные", то есть яркие, цвета: прежде всего, конечно, красный и желтый, но также и все оттенки розового и оранжевого, многие оттенки зеленого и большинство оттенков фиолетового. Зато в большом ходу темные цвета: все оттенки черного, серого и коричневого; а также белый, цвет чистоты и достоинства, который рекомендуется носить детям (а иногда и женщинам). Синий цвет вначале считается допустимым, но только тусклый, приглушенный, с большей или меньшей примесью серого. Позднее, с конца XVI века, синий займет место среди "пристойных" цветов, которое сохраняется за ним по сей день. И напротив, пестрая или разноцветная одежда, которая, по выражению Меланхтона, "превращает людей в павлинов", — станет объектом ожесточенных нападок. Таким образом, запрет, наложенный Реформацией на полихромию, распространяется не только на убранство храма и богослужебные обряды, но и на одежду.

Цветовая гамма протестантизма мало отличается от той, которую в течение долгих столетий предлагала набожным христианам средневековая мораль. Загляните в раннесредневековые монастырские уставы, в статуты учрежденных в XIII веке нищенствующих орденов, в предписания об одежде, изданные на закате Средневековья: во всех этих нормативных документах с большей или меньшей степенью настойчивости рекомендуется носить одежду темных и строгих цветов. Но такое осуждение ярких красок объяснялось не только тем, что некоторые оттенки считались аморальными сами

по себе. Порой дело зависело от техники окрашивания: слишком дорогие и крепкие красители, придающие тканям вполне приличный цвет, но чересчур густого, насыщенного оттенка, были запрещены.

Ничего похожего не наблюдалось ни в эпоху Реформации, ни на заре современной эпохи. Тогда предписания касались только цветов: одни были запрещены, другие — рекомендованы к ношению. Об этом ясно сказано во всех нормативных актах по поводу одежды и законах против роскоши, изданных протестантскими властями — в Цюрихе и Женеве в XVI веке, в Лондоне в середине XVII, и в пиетистской Германии несколькими десятилетиями позднее, и даже в Пенсильвании в середине XVIII века. Члены многих пуританских или пиетистских сект одевались еще более строго и единообразно, чем требовала идеология протестантизма. Это способствовало тому, что протестантские тенденции в одежде стали восприниматься не только как аскетические и пассеистские, но и как реакционные, поскольку мода, как и вообще любые перемены и новшества, отвергалась в принципе. В то же время благодаря им до начала Нового времени (и даже дольше) сохранился и продержался обычай одеваться в темное и противопоставлять черно-белое цветному, а из этого последнего выделять один цвет, признав его единственно приличным и достойным истинного христианина: синий.

К каким долгосрочным последствиям привело отречение от цветов (или, по крайней мере, от части цветовой гаммы), которое предписывали Реформация и порожденные ею системы ценностей? Историк вправе задуматься об этом. Ясно, что это увеличило наметившийся уже на исходе Средневековья разрыв между черно-серо-белым миром и миром цветным. Распространив на сферу повседневной жизни сферу культуры и сферу нравственности, новые особенности цветоощущения, которые выработали у людей печатная книга и гравюра, Реформация подготовила почву для науки и, в частности, для Ньютона (который сам принадлежал к одной из сект).

Однако протестантская хромофобия повлияла не только на работы Ньютона. Она давала о себе знать и позднее, в частности, как я полагаю, начиная со второй половины XIX века, когда промышленность Западной Европы и Америки стала выпускать массовую продукцию. В то время существовала тесная связь между крупным промышленным капиталом и влиятельными протестантскими кругами. Производство предметов широкого потребления в Англии, Германии и Со-

единенных Штатах сопровождалось морализаторской и социальной риторикой, во многом опирающейся на принципы протестантской этики, и, возможно, именно этими принципами следует объяснить их скудную цветовую гамму. Поразительно, что в то время, когда химическая индустрия уже выпускала большой ассортимент красителей, первые предметы бытовой техники, первые авторучки, пишущие машинки, первые автомобили (не говоря уже о тканях и одежде) были выдержаны в единой цветовой гамме — черно-серо-бело-синей. Такое впечатление, что буйство красок, которые оказалась способна донести современная техника, было отвергнуто общественной моралью (то же самое в течение долгих лет будет происходить с кинематографом). Самый знаменитый пример такого отношения к цвету — случай Генри Форда, пуританина, заботившегося о соблюдении этики во всех областях жизни: несмотря на запросы клиентуры и угрозу конкуренции, он из моральных соображений очень долго отказывался производить какие-либо автомобили, кроме черных.

Палитра художников

Вернемся в XVII век. Начиная с 1640-х годов хроматическая обедненность перестает быть монополией художников-протестантов. Она наблюдается и у некоторых живописцев-католиков, главным образом у тех, кто разделял взгляды янсенистов. Так, палитра Филиппа де Шампеня становилась все более скупой, все более аскетичной и темной с того момента (1646), когда он сблизился с мыслителями из Пор-Рояля, чтобы позднее окончательно обратиться в янсенизм. Его палитра, имеющая мало общего с многоцветием Рубенса или даже Ван Дейка, отныне напоминает палитру Рембрандта, правда, с добавлением синего цвета. Но синий Шампеня — своеобразен: насыщенный до предела и в то же время сдержанный, едва уловимый и вместе с тем глубокий, как ночное небо. Это цвет высокой морали.

Изучить палитру кого-либо из старых мастеров — дело нелегкое. Не только потому, что мы видим краски на полотне такими, какими они сделались по прошествии времени, а не такими, какими их задумал художник, но еще и потому, что мы обычно видим их в музее, то есть в такой обстановке и при таком освещении, которые имеют мало общего с тем, что было привычно для художника и его публики. Электрический свет — не восковая или сальная свеча и не масляная

лампа. Казалось бы, это само собой разумеется. Но какой специалист по истории искусства, какой художественный критик вспоминает об этом, когда рассматривает или изучает картину старого мастера?

И тем не менее, колорит художника XVII века изучать легче, чем палитру живописца следующего столетия. Потому что в XVIII веке изобрели множество новых красителей, и старые способы подбора, растирания, разведения и нанесения красок соперничали с новыми способами, причем, как правило, в каждой мастерской, у каждого художника существовали свои особенные приемы. Кроме того, на исходе предыдущего столетия, после оптических опытов Ньютона и открытия цветового спектра, представление о порядке расположения цветов стало постепенно меняться: теперь красный уже не занимает промежуточное положение между белым и черным, и окончательно признано, что зеленый — это результат смешения синего и желтого; мало-помалу обозначается разделение цветов на важнейшие и второстепенные, а также на теплые и холодные, в современном понимании этих терминов. К концу XVIII века мир красок уже совсем не тот, каким был в первые годы столетия.

В эпоху Рубенса, Рембрандта, Вермеера или Филиппа де Шампеня не было таких масштабных изменений. Сказанное относится и к художникам Южной Европы: здесь в XVII веке новых красок появилось не так уж много. Единственная заметная новинка — это неаполитанская желтая, нечто среднее между охрой и лимонно-желтой: прежде она использовалась для фейерверков. Вопреки утверждениям, содержащимся в отдельных работах на данную тему, художники XVII века были очень консервативны в выборе красок. Самобытность и гениальность этих художников — не в материалах, которыми они пользовались, а в умении находить и сочетать друг с другом нужные оттенки цвета.

Рассмотрим творчество Вермеера, на мой взгляд, величайшего из живописцев XVII столетия. Краски, которыми он пользуется, — обычны для его эпохи. Для получения синего цвета (у Вермеера он часто бывает очень ярким) художник берет ляпис-лазурь. Но поскольку краска эта очень дорогая, она кладется только на самый верхний слой; для нижнего слоя используется лазурит или смальта (в частности, когда изображается небо), реже — индиго. Если нужен желтый цвет, то, помимо традиционной охры, которая служит живописцам с незапамятных времен, он берет олово, а также, в небольших количествах, новую "неаполитанскую желтую" (антимонит свинца): итальянцы стали применять ее раньше и с

большей смелостью, чем художники Северной Европы. Что до зеленого цвета, то Вермеер, как все живописцы его времени, непрочной и едкой медной зелени предпочитает различные виды зеленой глины. Ведь в то время для получения зеленого цвета желтую краску редко смешивали с синей. Кое-где, конечно, этот способ применяется, но повсеместное распространение (к прискорбию некоторых живописцев) он получит только в следующем столетии. Наконец, для красного цвета Вермеер использует киноварь, сурик (в небольшом количестве), лак из кошенили или из марены, пернамбуковое дерево (также для розовых и оранжевых тонов) и красные охристые глины всех оттенков.

Итак, по данным лабораторного анализа, в палитре Вермеера нет ничего такого, чего нельзя было бы найти у других. Но если забыть о химическом составе красок и сосредоточиться на их визуальном воздействии — то есть на самом главном, — становится очевидно: Вермеер существенно отличается от своих современников. У него более гармоничный, более мягкий, более утонченный колорит. Какими средствами художник достигает такого результата? Конечно же, в первую очередь это искуснейшее распределение света, тщательная проработка светлых зон и зон полумрака, но также и некоторые индивидуальные особенности мазка и окончательной отделки. Об этой стороне его гения историки живописи сказали все, или почти все. Но мало кто из них уделил серьезное внимание его краскам.

Для детального разбора нам здесь не хватит места; заметим лишь, что прежде всего стоило бы поговорить о важности серых тонов у Вермеера, и в особенности — светло-серых. Зачастую именно на них опирается хроматический лаконизм картины. Затем следовало бы заняться синими тонами. Вермеер любит синий цвет (а также белый: он часто использует сочетание этих двух цветов). Именно умение работать с синими тонами отличает Вермеера-колориста от других голландских художников XVII века. Какими бы ни были их талант и мастерство, никто из них не умеет так виртуозно использовать синие тона. И наконец, следовало бы, вслед за Марселем Прустом, поговорить о значении небольших вкраплений желтого — иногда с более или менее заметным розоватым оттенком (как пресловутый "кусочек желтой стены" на картине "Вид Дельфта"), а иногда совсем ярких. На этих нюансах желтого, белого и синего основана у Вермеера вся его гармония, которая завораживает нас и которая делает этого художника столь непохожим на остальных, лучшим живописцем не только его времени, но, быть может, и всех времен.

Таким образом, разнообразие палитры у художников XVII века объясняется не столько наличием у них новых красящих веществ, сколько творческим своеобразием каждого живописца, проявлявшимся в подборе красок и предпочтении одних из них другим. Вдобавок, как мы видели, за несходством колорита скрываются и религиозные расхождения: помимо того, что существуют живопись католическая и живопись протестантская, внутри каждой из них можно более или менее четко выделить различные тенденции — иезуитскую и янсенистскую, лютеранскую и кальвинистскую. Но особенности колорита у того или иного мастера нельзя обосновать одними лишь конфессиональными различиями. Следует учесть и позицию, занимаемую этим мастером в бесконечном споре, который не утихает со времен Возрождения и в котором участвуют живописцы и теоретики живописи: что важнее для художника — рисунок или цвет?

У противников цвета имеется множество доводов. Рисунок, говорят они, гораздо выше и благороднее цвета, потому что он — создание духа, а цвет — лишь материальная субстанция, продукт красящих веществ. Кроме того, по их мнению, цвет утомляет глаза — особенно если это красный, зеленый или желтый; против синего, считающегося "ненавязчивым" цветом, таких обвинений почти не выдвигается. Цвет, утверждают его противники, не дает четко различить контуры предметов и определить их форму; тем самым он отвращает людей от истины и добра. Его прелесть обманчива и коварна, по сути, это не что иное, как уловка, фальшь, ложь. Наконец, цвет опасен потому, что неуправляем: он не поддается какому-либо воздействию, внятному истолкованию или просто анализу. Поэтому его следует контролировать или приглушать всякий раз, когда для этого есть возможность.

Однако эти последние аргументы были опровергнуты учеными. XVII век стал веком великих открытий в естествознании и выдающихся исследований о природе света. Когда в 1666 году Ньютон с помощью призмы разложил белый световой луч на цветные части и открыл цветовой спектр — новую систему цветов, в которой не было места белому и черному, — наука подтвердила то, что мораль и общество давно уже приняли за истину: белый и черный должны быть исключены из мира цветов. Вдобавок, если в центре античной и средневековой системы цветов находился красный, то в новой системе центральное положение заняли синий и зеленый. Кроме того, Ньютон доказал, что цвет, будучи результатом

дисперсии света, поддается измерению, как и сам свет. С тех пор в изобразительном искусстве и в различных областях науки началось увлечение колориметрией. В конце XVII и в начале XVIII века стали появляться и множиться всевозможные хроматические таблицы, схемы и шкалы: по ним можно было изучать законы, меры и нормы, которые управляют цветом. Ученые считали, что цвет отныне укрощен; именно поэтому он утратил значительную часть своей загадочности.

В начале XVIII века большинство художников присоединяются к мнению ученых, и цвет, как представляется, одерживает победу над рисунком. Теперь, когда цвет стал управляемым, когда он поддается измерению, он может выполнять в картине или другом произведении искусства функции, в которых раньше ему было отказано: функции упорядочивающие, выделяющие, иерархизирующие; одним словом, дисциплинирующие взгляд. Нельзя забывать и о другом, еще более важном преимуществе цвета: он может показать то, что рисунок без его помощи показать не в состоянии. Например, изобразить человеческую плоть — искусство, в котором, по общему мнению, так преуспели старые мастера, в особенности Тициан. Для тех, кто считает, что колорит важнее рисунка, это решающий аргумент: только цвет дает жизнь существам из плоти и крови; только цвет позволяет живописи выполнять свое предназначение, а значит, он и есть живопись. Вплоть до конца века Просвещения у этого тезиса будет множество сторонников, а позднее его подхватит Гегель. Возможно, этим тезисом следует объяснить и тот факт, что на заре существования полихромной гравюры ее излюбленным сюжетом были анатомические таблицы: цвет становился плотью! Однако в противоположность тому, что думали критики цвета в предыдущем столетии, именно теперь, уподобившись плоти, цвет стал более правдивым.

Когда в начале XVIII века Жакоб Кристофль Леблон изобрел полихромную гравюру, это решило спор, длившийся несколько столетий, а также (правда, лишь временно) положило конец изысканиям граверов и печатников, ломавших голову над тем, как бы раскрасить черно-белую картинку. Но изобретение Леблона имело и другие, более важные последствия. Полихромная гравюра, новое слово в технике и искусстве гравирования, выработала для себя новую систему цветов, которая и обеспечила ей успех. Систему, уже не имевшую ничего общего с прежними и подготовившую почву для теории основных и дополнительных цветов.

Эта теория еще не сформировалась окончательно — хотя кое-кто из художников начинает ею пользоваться, — но уже

заметно, что на передний план выступают три цвета: красный, синий и желтый. В самом деле, если у вас есть три доски и на первую накатана красная, на вторую синяя, на третью желтая краска, достаточно наложить отпечатки с этих досок один на другой, чтобы получить остальные цвета. Теперь цветовой мир организуется не вокруг шести, как было в Средние века вплоть до эпохи Возрождения, а вокруг трех цветов. Черный и белый навеки изгнаны из мира цветов, а зеленый, получаемый от смешения желтого и синего (чего никогда не было в древних культурах), опустился на более низкий уровень в хроматической генеалогии и иерархии. Он перестал быть основным, "первичным" цветом.

Цвета вступили в новую фазу своей истории.

4. *Любимый цвет*

XVIII–XX *века*

В XII–XIII веках синий, который так долго оставался на вторых ролях, занял, наконец, видное положение: он стал прекрасным цветом, цветом Пресвятой Девы, королевским цветом, и, по всем этим причинам, – соперником красного. В последующие четыре-пять столетий эти два цвета делили между собой власть над остальными и в различных областях жизни выступали как антагонисты: цвет праздничный/цвет высокоморальный, цвет материальный/цвет духовный, цвет, бросающийся в глаза/цвет ненавязчивый, цвет мужской/цвет женский. Однако с XVIII века все меняется. Как в одежде, так и в повседневной жизни остается все меньше места для красных тонов – эта тенденция обозначилась еще в XVI столетии – и на первый план выступает синий, который становится не только одним из самых распространенных в текстильном деле и в одежде, но также и любимым цветом европейцев. Таковым он пребывает и по сей день, превосходя все остальные.

Триумф, достигнутый синим в столь зыбкой области, как хроматические преференции, готовился долго: в XII веке этот цвет стали восхвалять богословы, затем его открыли для себя художники; в XIII столетии красильщики сумели придать ему невиданные прежде яркость и насыщенность; с середины XIV века он занял почетное место в геральдике; двести лет спустя Реформация придала ему статус высокоморального цвета. Но наивысшей славы он достиг в XVIII веке: во-пер-

вых, потому, что в это время массовое распространение получил замечательный натуральный краситель, который был известен еще с давних пор, но доступен лишь очень немногим (индиго); во-вторых, был изобретен новый искусственный краситель, позволявший получить как при окрашивании тканей, так и в живописи совершенно новые оттенки синего (берлинская лазурь); наконец, потому, что в новой символике цветов синий занял главное место: отныне он стал цветом прогресса, просвещения, заветных чаяний и желанных свобод человечества. В этой метаморфозе синего решающую роль сыграли литература романтизма, а также две революции – американская и французская.

Но победное шествие синего на этом не закончилось. Став любимым цветом художников, поэтов и простых смертных, он еще и привлек пристальное внимание ученых. Теперь он уже не на обочине, как было когда-то в цветовых системах античности и Средневековья, а в центре новейших хроматических классификаций, основой которых стали открытия Ньютона, умение работать с цветовым спектром и теория об основных и дополнительных цветах. Итак, наука, искусство и общество единодушно провозгласили синий главным цветом, синонимом Цвета вообще, каким был когда-то красный. С течением времени любовь к синему не только не угасала, но даже усиливалась. Так продолжалось до первых лет XXI века. <...>

Романтическая синева: от фрака Вертера до блюзовых ритмов

В XVIII веке, после появления новых оттенков синего как в красителях для тканей, так и в красках для живописи, мода на этот цвет утвердилась по всей Европе, но сильнее всего его полюбили жители Германии, Англии и Франции. В этих трех странах начиная с 1740-х годов синий стал одним из трех самых распространенных цветов придворного и городского костюма (другими двумя были серый и черный). Но вот любопытное обстоятельство, связанное, в частности, с тем, что красильщикам наконец официально разрешили использовать в работе индиго. Вплоть до XVIII столетия редко случалось, чтобы представители высших слоев общества появлялись в небесно-голубом или светло-синем: как правило, одежду таких оттенков носили крестьяне, они окрашивали ткань кустарным способом, используя некачественную вайду, которая неравномерно проникает в текстильные волок-

на, выгорает на солнце и линяет после каждой стирки (этот светло-голубой цвет следовало бы назвать серо-голубым, настолько он тусклый и блеклый); когда же знатные и богатые люди оделись в синее (а начиная с XIII века они часто так поступали), цвет их одежды, разумеется, был более ярким, насыщенным и глубоким. Однако уже в первой половине XVIII века при европейских дворах возникает новая мода, мода на светло-синие, иногда совсем светлые тона. Вначале их носили только женщины, а потом и мужчины. Во второй половине столетия новая мода постепенно распространилась среди всей знати, а также в самых обеспеченных кругах буржуазии. В некоторых странах (в Германии, Швеции) она просуществовала очень долго, до начала XIX века.

Это совершенно новая тенденция в одежде, о чем свидетельствуют, помимо прочего, и лингвистические данные: сразу в нескольких европейских языках появляются новые слова, обозначающие различные оттенки синего. Если раньше лексика рассматриваемых языков была относительно бедна определениями, относящимися к светло-синим тонам, то в середине XVIII века их количество резко возрастает: этот факт подтверждают словари, энциклопедии и руководства по красильному делу. Например, во французском языке в 1765 году существовало двадцать четыре обиходных слова для обозначения синих тонов, получаемых в результате крашения (столетием ранее таких слов было тринадцать); причем из двадцати четырех слов шестнадцать обозначали светло-синие тона. А некоторые французские слова в XVIII веке меняют смысл: так, если в старо- и среднефранцузском языках словом "pers" называли матовый и темный оттенок синего, то теперь его применяют для обозначения более светлого и блестящего тона, отливающего серым и фиолетовым.

Новая мода на синие тона нашла свое отражение в литературе эпохи Просвещения и раннего романтизма. Самый убедительный пример — знаменитый сине-желтый костюм Вертера, который Гёте описывает в своем романе в письмах "Страдания юного Вертера", вышедшем в Лейпциге в 1774 году: "Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором танцевал с Лоттой; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, и к нему опять желтые панталоны и жилет"[1].

Необычайный успех романа и начавшаяся затем "вертеромания" привели к тому, что мода на синий "вертеровский"

1. Перевод Н. Касаткиной. (*Прим. перев.*)

фрак распространилась по всей Европе. Еще в 1780-е годы многие молодые люди, подражавшие безнадежно влюбленному герою Гёте, носили синий фрак или камзол с желтым жилетом или панталонами. Появилось даже "платье Лотты", сине-белое, с розовым бантом и лентами. Для историка это убедительный пример двусторонней связи, которая со времен Средневековья до XX столетия существовала между обществом и литературой: Гёте одевает своего героя в синий фрак потому, что в Германии 1770-х годов синий — самый модный цвет; но успех его книги способствует усилению этой моды, ее распространению по всей Европе, синий теперь становится модным не только в одежде, но и в изобразительном искусстве (живопись, гравюра, фарфор). Еще одно подтверждение того, что воображение и литература — органичная часть реальной жизни общества.

Отношения Гёте с синим цветом не ограничиваются "Страданиями юного Вертера". Мало того, что этот цвет часто упоминается в его юношеских стихотворениях (как и в поэзии всех его современников), он еще занимает центральное место в его научных трудах по теории цвета. Гёте очень рано заинтересовался цветом и теми сочинениями, которые посвятили ему художники и ученые. Но только в 1788 году, вернувшись из Италии, он решил всерьез заняться проблемами цвета и написать на эту тему фундаментальное исследование — не сборник рассуждений художника или поэта, а настоящий научный труд. Тогда у него уже возникла "безотчетная уверенность, что теория Ньютона ошибочна". Для Гёте цвет — это нечто живое, по своей сути близкое к человеку, и его невозможно свести к математическим формулам. Гёте первый решился выступить против последователей Ньютона и вернуть проблемам цвета их "человеческое измерение", заявив, что цвет, на который никто не смотрит, — это цвет, которого не существует.

Трактат "Учение о цветах" был издан в Тюбингене в 1810 году, но Гёте вносил в него дополнения и исправления до самой смерти в 1832 году. В дидактическом разделе его книги наиболее интересной представляется глава о "физиологических" цветах, в которой автор горячо отстаивает свое мнение о субъективном и культурологическом характере цветоощущения; в то время такая точка зрения считалась новаторской. А вот его рассуждения о физике и химии красок, если сопоставить их с тогдашним уровнем научных знаний, кажутся недостаточно обоснованными и малосодержательными; именно из-за них книга не имела успеха: философы и ученые отреагировали на нее либо яростной

критикой, либо презрительным молчанием. Такое отношение к "Учению о цветах" было не вполне справедливым, но Гёте сам в этом повинен: вместо того чтобы просто поделиться своими гениальными поэтическими прозрениями, высказав догадку, что в понятии "цвет" всегда присутствует весомая антропологическая составляющая, он вздумал пуститься в научные изыскания — захотел, чтобы его признали настоящим ученым.

Однако для нас трактат Гёте важен потому, что в нем синему цвету уделяется значительное место: автор делает синий и желтый основными полюсами своей системы. В сочетании (или слиянии) двух этих цветов он усматривает абсолютную хроматическую гармонию. Но если в символическом плане желтый — негативный полюс (пассивный, слабый и холодный цвет), то синий, к которому автор относится с неизменным расположением, — полюс позитивный (активный теплый, сияющий цвет)[1]. Здесь Гёте снова проявляет себя истинным сыном своего времени. Красное не в его вкусе, ему милее синее и зеленое: синее для одежды, зеленое — для обоев и обивки мебели. Гёте не упускал случая напомнить, что в природе эти два цвета часто сочетаются, а человек должен неустанно воспроизводить краски природы.

Эта точка зрения не останется достоянием одного лишь Гёте; ее подхватит новое движение в литературе и искусстве — романтизм, в котором символике цветов придается особое значение. Никогда прежде литература не уделяла столько внимания цвету. Конечно, и до первых романтиков в художественной литературе встречались упоминания цветов, но они были сравнительно редки. Начиная с 1780-х годов их количество резко возрастает. Причем среди цветов, встречающихся у прозаиков и поэтов, есть один, который они прямо-таки воспевают, во всей гамме его оттенков, во всем богатстве его достоинств, — синий. А самый прекрасный оттенок синего, по их мнению, — голубой. Романтизм окружает голубой цвет почти религиозным поклонением. В особенности — немецкий романтизм. Основополагающим литературным текстом в этом смысле стал незаконченный роман Новалиса "Генрих фон Офтердинген", опубликованный в 1802 году, уже после смерти автора, его ближайшим другом Людвигом Тиком. В романе рассказывается легенда о

1. Однако Гёте считает синий цвет неподходящим для оформления интерьера: голубые обои, действительно, зрительно увеличивают комнату, но при этом делают ее "холодной и грустной". Он предпочитает зеленые обои.

средневековом миннезингере, отправившемся на поиски маленького голубого цветка, который он однажды увидел во сне и который олицетворяет чистую поэзию и жизненный идеал. Успех этого маленького голубого цветка значительно превзошел успех самого романа. Наряду с синим фраком Вертера он сделался символом немецкого романтизма.

Быть может, и романтизма вообще, ибо любовь к чудесному голубому цветку распространилась далеко за пределы Германии: стихотворцы принялись воспевать его на всех европейских языках и наделять всеми поэтическими достоинствами. Он стал цветом любви, меланхолии и мечты; когда-то он уже играл эту роль — в средневековой поэтической традиции, где впервые была придумана игра слов: "ancolie" (французское название голубого цветка водосбора) и "melancolie". Вдобавок поэты, писавшие об этом цвете, кое-что позаимствовали из народной мудрости, из пословиц и поговорок, в которых увлекательные небылицы и истории про фей с давних пор именовались "синими сказками" (contes bleus), а некое идеальное, редкое и неуловимое существо — "синей птицей".

Нежная романтическая синева, эмблема чистой поэзии и безудержной мечты, просуществовала долгие десятилетия, но со временем несколько преобразилась, потемнела и огрубела. В Германии мы до сих пор встречаем ее в выражении "blau sein", что значит "быть пьяным": немецкий язык прибег к синему цвету, чтобы дать представление о затуманенном рассудке и притупленных чувствах человека, который слишком много выпил; тогда как французский и итальянский для той же цели используют соответственно серый и черный. В Англии и в Америке есть выражение "the blue hour" (буквально "синий час") — это время, когда заканчивается рабочий день и мужчины (а порой и женщины) вместо того, чтобы сразу пойти домой, проводят часок в баре за выпивкой, стараясь забыть свои огорчения. Ассоциативная связь между алкоголем и синим цветом возникла еще в Средние века; во многих руководствах по красильному делу говорится, что при крашении вайдой (для которого обычно применяется не очень сильная протрава) можно вместо протравы использовать мочу пьяного: от этого окраска будет более прочной.

Но теснее всего с немецкой романтической синевой связан блюз, музыкальный жанр афроамериканского происхождения, зародившийся предположительно в 70-е годы XIX века: это пьеса в медленном темпе, размером четыре четверти, передающая меланхолическое состояние души. Англо-американское слово "blues", которое многие языки заимствовали

без всяких изменений, представляет собой сокращенное словосочетание "blue devils" (синие демоны), означающее меланхолию, смутную тоску, хандру (во Франции для обозначения такого состояния используется черный цвет). Есть еще одно, близкое по смыслу английское выражение: "to be blue", или "in the blue", его немецкий эквивалент – "alles schwarz sehen", итальянский – "vedere tutto nero", французский – "broyer du noir", что значит: "видеть все в черном свете". <...>

О *том, как синий цвет стал играть важнейшую роль в политике и на войне*

Великая французская революция не только дала жизнь национальному трехцветному флагу, но и на некоторое время одела в синюю форму солдат, сражавшихся сначала за Республику, а потом за всю Францию. Тем самым она превратила синий в "политический" цвет, цвет защитников Республики, затем – умеренных республиканцев, а позднее – либералов и даже, как это ни странно, консерваторов.

До Революции солдатские мундиры разных полков существенно отличались друг от друга, и, хотя преобладающим цветом был белый, в целом получалась весьма пестрая цветовая гамма. Так же, впрочем, обстояло дело и в большинстве иностранных армий (кроме прусской, где солдаты с конца XVII века носили темно-синие мундиры, и английской, где с 1720 года солдатская форма стала красной). Однако в канун Революции солдаты французской гвардии, элитного полка, сформированного в 1564 году и служившего непосредственно королевскому дому, носили синюю форму. Именно они в июле 1789 года братались с народом и, перейдя на сторону восставших, участвовали во взятии Бастилии. Многие из этих солдат затем завербовались в воинские подразделения, которые набирала парижская национальная гвардия, и сохранили свои старые мундиры. Год спустя синюю форму парижского ополчения надели солдаты-ополченцы в других крупнейших городах Франции, а в июне она была объявлена национальной формой. С этих пор синий, наравне с триколором, стал эмблематическим цветом всех тех, кто выступал за революционные идеалы. Синий противопоставляли белому (цвету короля) и черному (цвету духовенства и австрийского императорского дома), которые стали символами контрреволюционных сил. Когда осенью 1792 года во Франции была провозглашена республика, синий, как и следовало ожидать, стал цветом республиканских мундиров: несколько декретов, изданных в конце 1792 и нача-

ле 1793 года, ввели синюю форму сначала для пехотных полубригад, а затем и для всей регулярной армии, и, наконец, для революционных военных соединений, которые формировались в течение 1793–1794 годов.

Итак, синий цвет уже стал военным и республиканским; но политическим он стал лишь во время Вандейских войн. Когда республиканцы в синих мундирах вступили в кровопролитные бои с одетыми в белое роялистами, синий цвет приобрел идеологическое измерение; именно в это время возник хроматический антагонизм – синие против белых, которым будет отмечена политическая жизнь Франции в течение всего XIX столетия. Однако если роль белого за эти годы не менялась – он оставался цветом монархистов, – то синий постепенно терял свой политический радикализм: левые силы, социалисты и экстремисты предпочитали выступать под красным флагом. А начиная с революции 1848 года синий вообще потерял свое революционное значение и стал цветом умеренных республиканцев, затем центристов и, наконец, при Третьей республике, когда монархисты утратили всякую надежду на восстановление королевской власти, – цветом правых республиканцев. Теперь синий был гораздо ближе к белому, чем к красному.

Иначе говоря, решающую роль в формировании современных политических цветов сыграла Великая французская революция. Но одеть всех французских солдат в синее ей удалось ненадолго: в конце XVIII века было очень трудно достать индиго. Этот краситель привозили из Индии или из Нового Света, морским путем, и Франция, хоть у нее и были колонии в Америке, в этих поставках сильно зависела от других стран, в частности, от Англии. А с 1806 года, когда была установлена континентальная блокада, американский продукт, необходимый для окрашивания мундиров французских солдат в синий цвет, стал и вовсе недоступен. Наполеон спросил ученых, нельзя ли возобновить культивацию вайды и изготовление из нее промышленной краски; ему объяснили, что результатов придется ждать слишком долго. Тогда он поручил химикам разработать новый технологический процесс, позволяющий получать краску для ткани из берлинской лазури. Талантливый химик Ремон изобрел соответствующую технологию, но желаемых результатов она не принесла. Вплоть до падения Империи и даже в первые годы Реставрации одевать всю французскую армию в синюю форму было весьма затруднительно. Тем временем англичане развели в Бенгалии огромные плантации индиго, и с наступлением мирного времени Франция снова попала в зависимость от Англии.

Вот почему в июле 1829 года король Карл X распорядился, чтобы солдаты пехотных частей вместо синих брюк носили красные – из ткани, окрашенной мареной. Этот растительный краситель имелся в достаточном количестве: в середине XVIII века, стараниями физиократов[1], марену стали выращивать снова, и в некоторых областях Франции (Провансе, Эльзасе) ее усовершенствовали и модернизировали. Затем с 1829-го по 1859-й красные брюки постепенно стали частью солдатской формы во всех родах войск; до 1915 года их носили с шинелью темно-синего цвета. Возможно, именно эти брюки из ткани, выкрашенной мареной в очень яркий красный цвет, стали виновниками огромных потерь, которые понесла французская армия в начале Первой мировой войны. В других странах уже за несколько десятилетий до этого отказались от слишком ярких красок и ввели форму неброских цветов, сливающихся с окружающим пейзажем: у британских солдат была форма цвета хаки (английские войска в Индии надели ее еще в середине XIX века), у немцев, итальянцев и русских – серо-зеленая, у австро-венгерской армии – серо-синяя. Некоторые генералы понимали, что французским военным необходима полевая форма, более соответствующая современным способам ведения войны; но очень многие утверждали, что отказаться от красных брюк было бы большой ошибкой. Так, за три года до войны, в 1911 году, бывший военный министр Этьен заявил: "Убрать из военной формы все, что имеет хоть какой-то цвет, что придает солдату веселый, жизнерадостный вид, и облачить его в тусклые, унылые тона – значит, во-первых, пойти против национального характера, а во-вторых, не дать военным выполнить традиционные функции, неотделимые от их профессии. В красных брюках есть нечто национальное. <...> Красные брюки – это Франция".

И вот результат: в августе 1914 года французские солдаты отправились на передовую в ярко-красных брюках, и не исключено, что этот слишком броский цвет стоил жизни десяткам тысяч человек. В декабре было решено заменить красные брюки синими – тусклого, серо-синего, "скучного" оттенка. Но чтобы достать синтетическое индиго для окраски ткани в таком количестве, которого хватило бы на брюки для всех французских солдат, требовалось время. И только весной 1915 года им выдали синие брюки нового, невиданного доселе оттенка. Этот оттенок получил название "синева горизонта":

1. Физиократы – школа экономистов, возникшая во Франции в середине XVIII века и считавшая природу единственным источником богатства общества. (*Прим. перев.*)

считалось, что он напоминает неопределенный цвет линии, которая на горизонте отделяет небо от земли (или от моря). Новый цвет также был проникнут национальным духом, он вызывал ассоциацию с пресловутой "синей линией Вогезов", столь дорогой сердцу Жюля Ферри[1]; глядя на него, французские патриоты должны были представлять себе подернутый синеватой дымкой силуэт Вогезских гор, за которыми находятся Эльзас и Лотарингия, и чувствовать братскую солидарность с населением двух этих областей, с 1871 года живущим под немецкой оккупацией.

После войны выражение "синева горизонта" с полей сражений переместилось на политическую арену. По итогам выборов 1919 года в палате депутатов оказалось много вчерашних солдат, которые еще год назад носили синюю форму. Шутки ради, или, быть может, в насмешку, журналисты окрестили палату нового созыва "палатой синевы горизонта". В этой палате правые и центристы объединились в патриотический блок, составлявший явное большинство и занимавший непримиримую позицию по отношению к русским большевикам. Они сохраняли свои мандаты до 1924 года, и благодаря им синий окончательно превратился в цвет правых республиканцев, противников "красных". Солдатский мундир второго года Республики, синий мундир победоносной революции, остался в далеком прошлом.

Самый распространенный цвет: от военной формы до джинсов

Во второй половине XVIII века во Франции и большинстве соседних с ней стран синий, наряду с серым и черным, стал самым распространенным цветом в одежде, как среди обеспеченных слоев общества, так и среди простолюдинов. В частности, крестьяне предпочитали синюю одежду всех оттенков: в некоторых странах (Англия, Германия, Северная Италия) эта тенденция была совершенно новой. Тем самым было покончено с модой на различные оттенки черного, серого и коричневого, которая продержалась среди европейского крестьянства несколько последних столетий; кроме того, это в известной мере ознаменовало возврат к одежде, какую носили крестьяне в феодальную эпоху, пять или шесть веков назад, — тускло-синей с серым отливом.

1. Жюль Ферри (1832–1893) — видный французский политический деятель, уроженец департамента Вогезы. (*Прим. перев.*)

Успех синих тонов, достигший апогея в век Просвещения, несколько поутих за время революционных бурь, а в XIX веке пошел на убыль. И в городе, и в деревне главным цветом стал черный, как в мужском костюме, так и в женском. XIX век, как XV и XVII, был веком моды на черное. Однако в XIX веке эта мода продержалась всего несколько десятилетий. Перед Первой мировой войной, к негодованию пуритански настроенных граждан, цвета одежды, в том числе и повседневной, в западноевропейских странах стали значительно разнообразнее; и среди новых (или обновленных) цветов первое место постепенно заняли (или вернули себе) все оттенки синего.

Это явление стало еще более заметным с 1920-х годов, когда в моде, особенно городской, начался настоящий бум темно-синих тканей. За три-четыре десятилетия многие предметы мужского костюма, которые по тем или иным причинам были черного цвета, стали синими. И в первую очередь — униформа. За первую половину XX века в разных странах моряки, гвардейцы, жандармы, полицейские, военнослужащие некоторых специальностей, пожарные, таможенники, почтальоны, спортсмены и даже (с недавних пор) некоторые священнослужители, — все оделись в темно-синее. Конечно, не все поголовно, были и исключения; но в период между 1910 и 1950 годами в Европе и США темно-синий цвет в форменной одежде постепенно вытеснил черный. Примеру военных вскоре последовало гражданское население: с 1930 года, сначала в англосаксонских странах, а затем на большей части европейской территории, многие мужчины сменили черные костюмы, пиджаки и брюки на темно-синие. Превращение черного в темно-синий — бесспорно, одно из центральных событий в истории одежды XX века. И наиболее характерным свидетельством этой цветовой революции стал блейзер[1].

Итак, в период между двумя войнами синий завоевал (или вернул себе) звание самого популярного цвета в европейской и американской одежде. И с тех пор его преимущество перед другими цветами только увеличивалось. Униформа, темные костюмы, голубые рубашки, блейзеры, джемперы, купальные и спортивные костюмы активно способствовали

1. Блейзер, легкий спортивный пиджак, вначале мог быть любого цвета, нередко такие пиджаки бывали ярких цветов, а то и двухцветные, в полоску. В таком виде блейзер перебрался из Англии в США: это произошло в 1890–1900 годы. Но после Первой мировой войны яркие расцветки и полоски стали встречаться все реже, их вытесняли темные тона, в особенности темно-синий. Начиная с 1950-х годов заимствованное из английского слово "блейзер" почти всегда означает "темно-синий пиджак".

триумфу всей гаммы синих тонов, во всех классах и слоях общества. Но не меньший вклад в популярность синего цвета, особенно в 50-е годы, внес один-единственный предмет одежды: джинсы. Если на протяжении жизни двух, трех или даже четырех поколений синий в европейской одежде далеко опережает все остальные цвета, то этим он отчасти обязан джинсам. Историю этого уникального в своем роде предмета одежды стоит рассмотреть подробнее.

Как у всякой вещи, обладающей мощным мифологическим потенциалом, происхождение джинсов окутано тайной. Тому есть несколько причин, в частности, пожар, вспыхнувший в Сан-Франциско после разрушительного землетрясения 1906 года и уничтоживший архивы фирмы "Levi Strauss", которая создала знаменитые брюки за полвека до этого. Именно тогда, весной 1853 года, никому не известный уличный торговец из Нью-Йорка, двадцатичетырехлетний еврейский эмигрант из Баварии, называвший себя Ливаем Строссом (его настоящее имя так и осталось неизвестным[1]), приехал в Сан-Франциско. После того как в 1845 году в горах Сьерра-Невады открыли месторождение золота, в Калифорнии началась "золотая лихорадка", и люди толпами хлынули в Сан-Франциско. Ливай Стросс привез с собой большую партию брезента для палаток и чехлов на тачки: он надеялся прилично заработать на продаже этого товара. Однако дела пошли неважно. Один золотоискатель объяснил Строссу, что в этой части Калифорнии людям не слишком нужен брезент, зато очень нужны прочные, удобные рабочие брюки. Юный Стросс тут же решает, что будет шить из своего брезента брюки. Его продукция имела громадный успех, и мелкий торговец из Нью-Йорка превратился в изготовителя готовой одежды и текстильного промышленника. Вместе с зятем он основывает акционерное общество, которое с годами процветает все больше и больше. Хотя производители постоянно расширяли ассортимент своей продукции, самым популярным товаром оставались рабочие блузы (overalls) и брюки. Брюки пока еще не стали синими, они выпускаются разных цветов, от грязно-белого до темно-коричневого. Однако брезент для палаток, при всей своей прочности, ткань очень тяжелая, жесткая и трудная для обработки. Поэтому в 1860–1865 годах Ливай Стросс решает заменить брезент деним, европейской саржевой тканью, окрашенной индиго. Так родились классические синие джинсы.

1. По одной из версий настоящее имя Ливая Стросса Леб Штраус. *(Прим. перев.)*

О происхождении английского слова "деним" нет единого мнения. Возможно, в его основе — сокращенное французское определение "serge de Nîmes" (саржа из Нима): так называлась ткань из шерсти и отходов шелка, производившаяся в районе города Нима во Франции, по крайней мере, с XVII века. Однако с конца следующего столетия это название стала носить и ткань из смеси льна и хлопка, которую делали во французской провинции Нижний Лангедок и экспортировали в Англию. Кроме того, существует еще прекрасная шерстяная ткань, производимая на средиземноморском побережье между областями Прованс и Русильон: эта ткань по-провансальски называется ним. Таким образом, ясности в этом вопросе пока нет; а региональный шовинизм авторов, пишущих на данную тему, отнюдь не облегчает задачу историка.

Как бы то ни было, в начале XIX века денимом в Англии и Соединенных Штатах называется очень прочная хлопчатобумажная ткань, окрашенная в синий цвет с помощью индиго; из этой ткани шьют, в частности, одежду для шахтеров, рабочих и чернокожих рабов. Приблизительно в 1860-е годы деним постепенно вытесняет jean — ткань, из которой до этих пор Ливай Стросс шил брюки и рабочие блузы. Само слово "jean" по фонетической транскрипции совпадает с итало-английским прилагательным "genoese", означающим просто-напросто "генуэзский". Следует заметить, что брезент для палаток, когда-то закупленный Строссом, принадлежал к семейству тканей, которые изначально вырабатывались в Генуе и соседней местности; первое время их делали из шерсти и льна, позднее — из льна и хлопка. С XVI века из этой ткани производили паруса, матросские штаны, брезент для палаток и всевозможные чехлы.

В Сан-Франциско в 1853—1855 годы брюкам фабрики Ливая Стросса в результате языкового переноса присвоили название материала, из которого их шили: jean. Десять лет спустя материал стал другим, но название осталось. Хотя брюки теперь шили не из генуэзской парусины, а из денима, их по-прежнему называли jeans — джинсы.

В 1872 году у Ливая Стросса появился компаньон, еврей-портной по имени Джейкоб У. Дэвис. Двумя годами ранее Дэвис надумал шить брюки для лесорубов с задними карманами на заклепках. И вот теперь эти заклепки появились на джинсах Ливая Стросса. Хотя торговое название "blue jeans" появилось лишь в 1920 году, джинсы Стросса с самого своего рождения в 1870 году были исключительно синего цвета, так как деним всегда окрашивали только индиго и никакой другой краской. Ткань была слишком плотной, чтобы полно-

стью впитать краситель. Но именно эта неровность окраски обеспечила изделиям их популярность: цвет был словно живой, владельцу брюк или блузы казалось, будто они меняются вместе с ним, разделяют его судьбу. Когда несколько лет спустя, благодаря успехам химии, стало можно окрашивать индиго любую ткань так, что окраска получалась ровной и прочной, производителям джинсов пришлось искусственно выбеливать или обесцвечивать синие брюки, чтобы они казались линялыми, как раньше.

В 1890 году закончилось действие патента, который закреплял юридические и коммерческие права на джинсы за фирмой Ливая Стросса. Появились фирмы-конкуренты, предлагавшие брюки из менее плотной и более дешевой ткани. А основанная в 1911 году фирма "Lee" в 1926 году решила заменить пуговицы на застежку "молния". Но самым опасным конкурентом для наследников Ливая Стросса стала компания "Blue Bell", основанная в 1919 году (а в 1947-м переименованная в "Wrangler"). Тогда могущественная фирма из Сан-Франциско (основатель которой умер в 1902 году, оставив миллиардное состояние) выпустила на рынок свои "Levi's 501", скроенные из двойного денима, с классическими заклепками и металлическими пуговицами. В 1936 году, чтобы избежать путаницы и подделок, фирма стала пришивать на задний карман джинсов небольшую красную этикетку с названием марки – "Levi Strauss". Это был первый случай, когда название марки появилось на внешней стороне изделия.

Тем временем джинсы перестали быть только рабочими брюками. Они превратились в одежду для досуга и отдыха. В частности, их охотно надевали богачи с восточного побережья США, когда, приехав отдыхать на Запад, воображали себя ковбоями и золотоискателями. В 1935 году роскошный модный журнал "Vogue" впервые опубликовал на своих страницах рекламу подобных "изысканных" джинсов. В эти же годы джинсы появились в некоторых университетских кампусах: их носили студенты второго курса, которые какое-то время считали это своей привилегией и запрещали салагам-первокурсникам носить такие же брюки. Джинсы стали повседневной одеждой молодежи и городских жителей, а позднее их надели и женщины. После Второй мировой войны мода на джинсы перешагнула через океан. Сначала европейцы запасались ими в американских универсальных магазинах, затем некоторые производители открыли фабрики в Европе. В период между 1950 и 1975 годами часть молодежи сделала джинсы своей повседневной одеждой. Социологи расценили это явление (которое вдобавок раздувала реклама) как важ-

ный сдвиг в жизни общества: джинсы пользовались одинаковой популярностью у юношей и у девушек, то есть стирали разницу между полами, они были эмблемой социального протеста или молодежного бунта. Однако в 80-е годы многие молодые люди на Западе стали охладевать к джинсам, все чаще предпочитая им одежду различного покроя, из разных тканей и более разнообразной расцветки. Ведь, несмотря на усилия производителей, которые в 60 и 70-е годы стремились разнообразить расцветку джинсов, они были и остаются преимущественно синими или голубыми.

В то время как в Западной Европе мода на джинсы переживала спад (с 80-х годов их почти перестали носить), в коммунистических (а также в развивающихся, включая даже мусульманские) странах они стали восприниматься как символ протеста, как знак приверженности западным свободам и ценностям, западной моде, западному образу жизни. И тем не менее не стоит интерпретировать историю и символику джинсов как историю и символику одежды, выражающей идеи анархического бунта или социального протеста: это было бы преувеличением, даже ошибкой. Почему? Да потому, что они синего цвета. Вначале служившие рабочей одеждой для мужчин, джинсы постепенно превратились в одежду для досуга, их стали носить женщины, а впоследствии — представители всех классов и категорий общества. Никогда, даже в недавние десятилетия, джинсы не были исключительно молодежной одеждой. Если посмотреть внимательнее, изучить, какие джинсы носили в Северной Америке и Европе в период с конца XIX по конец XX века, нетрудно понять, что джинсы — обычная одежда, которую носили обычные люди, отнюдь не стремившиеся выделиться, выразить протест, преступить какие-либо запреты. Все было наоборот: эти люди хотели носить практичную, неброскую и удобную одежду; как будто хотели забыть, во что они одеты. Пусть создатель джинсов и был евреем, их можно назвать протестантской одеждой: настолько они соответствуют идеалу, продиктованному протестантскими ценностями, о которых мы говорили выше. Простота линий, строгие цвета, однообразие, почти униформа.

Любимый цвет

Став в XX веке самым распространенным цветом одежды на Западе, синий при этом еще и утвердился в качестве самого любимого цвета. Эта любовь к синему не имеет убедительного житейского объяснения; ее причины скорее интеллектуально-

го и символического свойства и уходят корнями в далекое прошлое. Мы уже говорили о том, как с XIII века синий начал оспаривать у красного роль аристократического, королевского цвета. Когда Реформация вырабатывает свою систему ценностей, синий становится цветом строгого достоинства и высокой нравственности, чего нельзя сказать о красном; постепенно синий завоевывает все новые сферы жизни, вытесняя из них красный. Но только в эпоху романтизма синий повсеместно и на очень долгий период возводится в ранг любимого цвета. С тех пор он так и остается в этом ранге, и его преимущество перед другими цветами как будто даже увеличилось. Конечно, историки располагают точными данными только за последние сто с небольшим лет, но многие доступные нам свидетельства (социальные, экономические, а также — литературные, художественные и символические) подтверждают, что синий практически всюду стал любимым цветом. А с тех пор, как в 1890—1900 годах начали проводиться регулярные исследования общественного мнения, их результаты неизменно свидетельствуют: синий лидирует с огромным отрывом от соперников. Лидером он остается и сейчас.

По данным социологических опросов, проводившихся после Первой мировой войны, как в Западной Европе, так и в Америке, в ответ на вопрос о любимом цвете пятьдесят человек из ста первым называют синий. Затем следуют зеленый (около 20 % опрошенных), потом белый и красный (по 8 % каждый). Эти цвета намного опережают все остальные.

Таковы результаты опросов среди взрослого населения Западной Европы и США. У детей шкала ценностей иная. К тому же их ответы сильно различаются в зависимости от страны и возраста опрашиваемых, а также времени проведения опроса: результаты, полученные в 30 или 50-е годы прошлого века, несколько отличаются от теперешних. Впрочем, неизменно одно: всегда и везде дети в первую очередь называют красный цвет, а затем либо желтый, либо синий. Только дети от десяти лет и старше иногда говорят, что им нравятся так называемые холодные цвета: среди взрослых такого мнения придерживается большинство. Но и у детей, и у взрослых ответы никак не зависят от пола опрашиваемых. У девочек и мальчиков результаты одинаковые, в точности как у мужчин и женщин. Принадлежность к тому или иному классу или слою общества либо профессиональная деятельность также мало сказываются на результатах опросов. Единственное, что на них влияет, — это возраст респондентов.

Все эти опросы, проводящиеся уже около ста лет, естественно, являются частью хитроумной рекламной стратегии.

Для историка они полезны вдвойне. Во-первых, как документ по истории цветоощущения в современную эпоху, во-вторых, как повод для размышлений, позволяющих ставить важные вопросы, которые относятся к очень длительным периодам. Однако следует знать, что эти исследования проводятся сегодня не во всех сферах деятельности и, главное, не во всех обществах. Как правило, они — "целевые", а значит, более или менее тенденциозные. Зачастую социологи и психологи без должных оснований придают социокультурное, символическое или эмоциональное значение тому, что, по сути, затрагивает лишь такие узкоспециальные области, как реклама, статистика продаж или западноевропейская и американская мода на одежду.

Да и само понятие "любимый цвет" представляется весьма зыбким. Можно ли говорить о любимом цвете вообще, вне конкретного контекста? И каково значение этого понятия для исследователя в области общественных наук, в частности, историка? Например, когда человек называет своим любимым цветом синий, подразумевает ли он, что действительно предпочитает синий всем остальным и что его предпочтение — а что такое вообще "предпочтение"? — распространяется на все стороны жизни, на одежду и жилище, на политическую символику и повседневный быт, на мечты и эстетические впечатления? Или же такой ответ на этот, в некотором смысле довольно коварный, вопрос ("Ваш любимый цвет?") означает, что человеку хочется, чтобы его в идеологическом и культурном плане причислили к группе людей, которые ответили бы — синий? Это важный нюанс. Он очень волнует историка, поскольку тот, пытаясь задним числом применить свой график эволюции "любимых" цветов к прошедшим эпохам, не может обнаружить данные, касающиеся психологии или культуры отдельных личностей: в его распоряжении лишь свидетельства коллективного восприятия, относящиеся к какой-либо одной области жизни какого-либо одного общества (лексика, одежда, эмблемы и геральдика, торговля красками и красителями, поэзия, живопись, наука). А впрочем, разве в нашу эпоху дело обстоит иначе? Индивидуальные предпочтения, личный вкус — существуют ли они в действительности? Все, о чем мы думаем, во что верим, чем восхищаемся, все, что мы любим или отвергаем, воспринимается нами опосредованно, через впечатления и суждения других. Человек живет не в пустыне, он живет в обществе.

И вдобавок эти опросы игнорируют такие факторы, как разделение областей знания, профессиональная деятельность, имущественные интересы и ценности личной жизни. Напротив, они стремятся стать провозвестниками некоей

абсолютной истины, носителями некоей глобальной этики. Считается даже, что ответ респондента можно назвать достоверным или валидным (ведь за всеми этими опросами стоят рекламные фирмы), только если на вопрос о любимом цвете он отвечает спонтанно, то есть меньше чем за пять секунд, без долгих размышлений или нудных приставаний, типа: "А о чем речь – о живописи или об одежде?" Хотелось бы знать, по какому праву и ради чего от людей требуют спонтанности? Любой ученый интуитивно чувствует, что по сути своей она искусственна и подозрительна.

Однако зыбкость или даже ошибочность какой-либо концепции может порой оказаться плодотворной и конструктивной. В нашем случае социологические исследования помогли установить, что результаты опросов среди взрослых за сто лет почти не изменились. Имеющиеся у нас данные на конец XIX века очень близки к тем, которые мы привели выше; и результаты опросов, проводимых тогда в разных странах, почти не различаются между собой. Это последнее обстоятельство заслуживает особого внимания: с давних пор западная культура превратилась в единый блок, сплотившийся вокруг синего цвета. В каждой стране результаты опросов дают одни и те же результаты, и всюду синий на первом месте, а зеленый на втором. Только в Испании и в Латинской Америке картина несколько другая.

Это в западном мире. А вот за его пределами все иначе. Например, в Японии, единственной незападной стране, где проводятся такие опросы, перечень любимых цветов выглядит так: на первом месте белый (30 % опрошенных), затем черный (25 %) и красный (20 %). Такая ситуация создает большие сложности для многонациональных корпораций японского происхождения. Например, в рекламе – афишах, проспектах, фотографиях и телевизионных видеороликах – им приходится придерживаться двух различных стратегий: одна нацелена на отечественного потребителя, другая – на западного. Конечно, цвет – не главная причина такого резкого расхождения, но все же его роль весьма существенна. Если некая фирма хочет завоевать покупателей всей планеты, ей необходимо это учитывать. Даже при том, что культурная ассимиляция в наше время происходит очень быстро (хотя по отношению к цвету этот процесс, похоже, протекает медленнее, чем в остальных областях жизни).

Случай Японии любопытен и в других отношениях. Он лишний раз доказывает, что такое явление, как "цвет", в разных культурах определяют, понимают и применяют к жизни по-разному. Японцу иногда не так уж важно знать, идет ли

речь о синей, красной или какой-либо иной части цветового спектра, ему важнее другое: матовый это цвет или блестящий. В восприятии японца этот аспект – решающий. В японском языке существует несколько определений белого цвета, обозначающих разные градации матовости и блеска, от самой тускло-матовой до самой ослепительной и блестящей. Глаз западного человека не всегда способен их различить; и определения белого цвета в европейских языках слишком скудны, чтобы можно было перевести их названия.

То, что мы наблюдаем в Японии, – стране, где жизнь уже во многом приблизилась к жизни на Западе, – еще нагляднее проявляется в других культурах Азии, Африки и Латинской Америки. В большинстве социумов черной Африки зачастую не задумываются о том, что между гаммой красных тонов и гаммой коричневых или желтых, или даже зеленых или синих есть какая-то граница. Зато если речь заходит о том или ином цвете, необходимо знать, сухой это цвет или влажный, мягкий или жесткий, гладкий или шершавый, глухой или звонкий, веселый или грустный. Цвет не воспринимается как нечто существующее само по себе, ни тем более как феномен, обусловленный исключительно зрением. Он воспринимается в нераздельном единстве с данными других органов чувств. Поэтому его тона и оттенки не имеют особого значения. Кроме того, у многих этносов Западной Африки хроматическая культура, цветоощущение и лексические определения цвета зависят от пола, возраста и социального статуса человека. Например, в языках некоторых народностей Бенина есть множество названий для разных оттенков коричневого (или того, что глазу западного человека кажется коричневым), но одни названия используются только мужчинами, а другие – только женщинами.

Различия между представлениями о цвете, существующими в тех или других обществах, имеют важнейшее значение, поэтому историк, наравне с этнологом или лингвистом, обязан постоянно помнить о них. Они не только подчеркивают узко культурологический характер цветовосприятия и обусловленные этим определения цветов, но и помогают понять, какую важную роль здесь играют синестезия[1], различные ассоциации, в возникновении которых, наряду со зрением, участвуют и другие наши чувства. Наконец, они заставляют историка ос-

1. Синестезия (совместное чувство, одновременное ощущение) – феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфичное для данного органа чувств, сопровождается другим, дополнительным, ощущением или образом. Например, "цветной слух". (*Прим. перев.*)

торожнее относиться к компаративистским исследованиям, изучающим феномены цветоощущения в разных странах и в разные эпохи. Западный исследователь еще способен понять, насколько важны для системы цветов в современной Японии понятия матовости и блеска. Но если он взглянет на цветовой мир, в котором живут отдельные африканские социумы, то будет совершенно сбит с толку: что такое "сухой цвет"? Или "грустный цвет"? Или "немой цвет"? Здесь мы далеки от таких привычных понятий, как синий, красный, желтый, зеленый. А сколько еще существует в разных уголках мира определений, относящихся к цвету и совершенно недоступных пониманию европейского исследователя?

Заключение

Синий сегодня – это нейтральный цвет?

Что остается сегодня от долгой и богатой событиями истории синего цвета в нашей повседневной жизни, в наших общественных условностях, в нашем эмоциональном восприятии? Прежде всего, как мы выяснили, синий стал у нас самым любимым цветом, существенно опередив все остальные. Люди разного пола, разного социального происхождения, разных профессий, с разным культурным багажом в один голос признаются в любви к синему цвету. Главное доказательство гегемонии синего – это одежда. Во всех странах Западной Европы, более того, во всем западном мире, разнообразные синие тона в одежде встречаются гораздо чаще, чем остальные цвета (включая белый, черный и бежевый). По-видимому, такая ситуация продлится еще долго, поскольку никакие капризы моды не могут поколебать владычество синего цвета. Ибо – к чему скрывать? – между модной одеждой, рекламируемой в СМИ и доступной ничтожно малому проценту населения, и одеждой, которую действительно носят все социальные классы и категории, существует огромный разрыв. Первая меняется каждые два месяца, изменения во второй происходят гораздо медленнее.

Пристрастие к различным оттенкам синего нашло свое отражение не только в одежде, но и в современной лексике. Например, во французском языке слово "bleu" (синий) действует как заклинание, оно завораживает, умиротворяет, переносит в сказочный мир. И увеличивает продажи. Это слово часто фигурирует в названиях товаров, предприятий, зданий или произ-

ведений искусства, имеющих (мягко говоря) очень отдаленное отношение к данному цвету. Само звучание этого слова такое нежное, плавное, текучее; когда мы слышим его, у нас возникает масса приятных ассоциаций: небо, море, отдых, любовь, путешествия, отпуск, бесконечность. На французском и многих других языках слова "bleu", "blue", "blau", "blau" воспринимаются как поэтичные, связанные с лучшими воспоминаниями, заветными желаниями и мечтами. "Синева" присутствует в названиях многих книг, наделяя их притягательностью, которой не мог бы наделить никакой другой цвет.

И, однако, не следует думать, будто причина всеобщего увлечения синим – в необычайно мощной символической нагрузке, которую он в себе несет. Напротив, создается впечатление, что синий любят именно за его "размытое" символическое значение, менее отчетливое, чем у других цветов, таких, как красный, зеленый, белый или черный. Это подтверждается данными социологических исследований: когда их участников спрашивают: "Какой цвет вы считаете самым неприятным?", ответ "синий" звучит реже всего. Этот цвет не отталкивает, не возмущает, не шокирует. Потому-то он и стал любимым цветом большей части населения, что его символический потенциал относительно невысок, или, во всяком случае, не несет в себе заряд агрессивности или бунта. Ведь в конечном счете, называя нашим любимым цветом синий, что мы сообщаем о себе? Ничего, или почти ничего. Это так банально, так пресно. А вот если сказать, что ваш любимый цвет – черный, красный или даже зеленый...

Это одна из основных характеристик синего в западной цветовой символике: он не будоражит, он спокойный, миролюбивый, ненавязчивый, почти нейтральный. Правда, он вызывает мечтательное настроение (вспомним еще раз поэтов-романтиков, голубой цветок Новалиса, американский блюз), но в этой меланхолической мечтательности есть нечто успокаивающее. Сегодня у нас красят в голубое стены больниц; транквилизаторы и другие препараты аналогичного действия упаковывают в синие коробочки; на дорожных указателях синим обозначают разрешенные действия; к синему прибегают в политике, чтобы выразить идеи умеренности и диалога. Синий не оскорбляет ничьих чувств, не преступает никаких запретов; он способствует согласию и объединению. Недаром все крупные международные организации выбрали себе эмблемы голубого или синего цвета: так поступила когда-то Лига Наций, а в наши дни – ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейский союз. Синий стал интернациональным цветом, его призвание – укреплять мир и сотрудничество между народами; именно эту задачу выполняют сегодня во многих неспо-

койных местах нашей планеты "голубые каски" ООН. Синий стал самым мирным, самым нейтральным из цветов. Даже белый, как нам кажется, обладает более мощной, более явственной, более четко выраженной символической силой.

В сущности, синий цвет уже давным-давно стал ассоциироваться с миром и покоем. Эта ассоциация присутствует в цветовой символике Средневековья, она характерна для эпохи романтизма. Гораздо позднее обозначилась символическая связь между синим цветом и водой и — совсем уж недавно — между синим цветом и холодом. На страницах настоящей книги не хватило места для обстоятельного разговора на эту тему, однако данный аспект символики синего цвета чрезвычайно важен. Особенно в современную эпоху. В абсолютном смысле, конечно же, не существует теплых и холодных тонов. Это чистейшая условность, которая меняется в зависимости от времени и места. В Европе в эпоху Средних веков и Возрождения синий считался теплым цветом, а иногда даже самым теплым из всех. Он начинал постепенно "остывать" лишь с XVII века, и только в XIX за ним окончательно закрепился статус холодного цвета (как мы видели, для Гёте это еще относительно теплый цвет). Говоря о холодных и теплых тонах, историк постоянно рискует впасть в анахронизм. Например, если специалист по истории живописи захочет выяснить, как художник позднего Средневековья или Возрождения на своей картине распределил холодные и теплые тона, и при этом будет исходить из современного представления о синем как о холодном цвете, все его выводы окажутся ошибочными.

По-видимому, решающую роль в этом переходе от тепла к холоду сыграла постепенно закреплявшаяся ассоциативная связь между синим цветом и водой. Когда в античных и средневековых социумах люди видели или представляли себе воду, она редко казалась им синей. На изображениях вода могла быть какого угодно цвета, но символически чаще всего ассоциировалась с зеленым. В самом деле, если мы взглянем на портуланы и самые ранние географические карты, то увидим, что вода на них (моря, озера, большие и малые реки) почти всегда закрашена зеленым. Только с конца XV века зеленый цвет — которым обозначались также и леса — постепенно уступает место синему. Но пройдет еще очень много времени, прежде чем в воображении людей и в их повседневной жизни вода станет синей, а синева — холодной.

Холодной, как наши современные западные общества, для которых синий — и эмблема, и символ, и самый любимый из цветов.

тишина и я стою головою в небесный покой
впереди одна лишь гарантия смерть не минует
я пронизан насквозь ослепительным светом
все слова засвечены в голове чистота
до радужки глаза

так вот что значит не думать *ничего ни о чем* и привет
мгновение ясности в ожиданьи прихода мысли

Перевод Алины Поповой

Мишель Пастуро

Синий. История цвета

Фрагменты книги

Перевод Нины Кулиш

1. Редкий цвет

От начала начал до XII *века*

ТРАДИЦИЯ использования синего цвета в общественной, художественной и религиозной жизни отнюдь не восходит к незапамятным временам. На первых настенных изображениях, относящихся к эпохе позднего палеолита (когда человеческое общество уже сложилось, но люди еще вели кочевую жизнь), этот цвет отсутствует. Мы видим всевозможные оттенки красного и желтого, видим черный большей или меньшей яркости и насыщенности, но синего нет совсем, зеленого — тоже, а белого очень мало. Через несколько тысячелетий, в эпоху неолита, когда люди начали вести оседлую жизнь и освоили технику окрашивания предметов, они стали использовать красную и желтую крас-

© Editions du Seuil, 2006
© Нина Кулиш. Перевод, 2010

ки, а синей пришлось дожидаться своей очереди очень долго. Хотя этот цвет широко представлен в природе с самого рождения Земли, человек потратил много времени и труда, чтобы научиться воспроизводить его, изготавливать для своих надобностей и свободно им пользоваться.

Возможно, именно по этой причине в западной культурной традиции синий так долго оставался на втором плане, практически не играл никакой роли ни в общественной жизни, ни в религиозных обрядах, ни в художественном творчестве. По сравнению с красным, белым и черным, тремя "основными" цветами всех древних социумов, символика синего была слишком бедна, чтобы содержать в себе важный смысл или служить для передачи каких-либо важных понятий, вызывать глубокие чувства или производить сильное впечатление, или чтобы с его помощью можно было создавать различные коды и системы, классифицировать, сближать либо противопоставлять различные явления и выстраивать их иерархию (главная функция цвета в обществе – классификаторская), и даже для того чтобы устанавливать контакт с потусторонним миром.

Второстепенная роль синего в жизни древних и то обстоятельство, что во многих тогдашних языках трудно отыскать соответствующее этому цвету словесное обозначение, заставили многих ученых XIX века усомниться в том, что древние видели синий цвет или, во всяком случае, видели таким, каким его видим мы. Сейчас подобные сомнения стали анахронизмом. Однако на удивление небольшое общественное и символическое значение, которое придавалось этому цвету в европейских социумах в течение долгих тысячелетий, от неолита до середины Средневековья, – неопровержимый исторический факт, и он нуждается в объяснении.

Видели ли синий цвет древние греки и римляне?

Опираясь на то обстоятельство, что синие тона относительно редко встречаются в изобразительном искусстве античности, а главное – на лексику древнегреческого и латинского языков, филологи позапрошлого века выдвинули предположение: греки, а вслед за ними и римляне, вообще не различали синий цвет. В самом деле, и в греческом, и в латинском языках трудно подыскать для этого цвета точное и широко распространенное название, в то время как для белого, красного и черного цветов есть не одно, а несколько обозначений. В греческом, цветовая лексика которого формирова-

лась на протяжении нескольких веков, для определения синего чаще всего используются два слова: "glaukos" и "kyaneos". Последнее, по-видимому, произошло от названия какого-то минерала или металла; у этого слова не греческий корень, и ученым долго не удавалось прояснить его смысл. В гомеровскую эпоху словом "kyaneos" обозначали и голубой цвет глаз, и черный цвет траурных одежд, но никогда — синеву неба или моря. Впрочем, из шестидесяти прилагательных, которые используются для описаний природных стихий и пейзажа в "Илиаде" и "Одиссее", лишь три являются определениями цвета; а вот эпитетов, относящихся к свету, напротив, очень много. В классическую эпоху словом "kyaneos" обозначали темный цвет, причем не только темно-синий, но и фиолетовый, черный, коричневый. По сути, это слово передает не столько цветовой оттенок, сколько производимое им впечатление. А вот слово "glaukos", которое существовало еще в архаическую эпоху, у Гомера используется весьма часто и обозначает то зеленый цвет, то серый, то синий, а порой даже желтый или коричневый. Оно передает не строго определенный цвет, а скорее его блеклость или слабую насыщенность: поэтому так характеризовали и цвет воды, и цвет глаз, а также — листьев или меда.

И наоборот, чтобы указать цвет предметов, растений и минералов, которые, казалось бы, не могут быть не синими, греческие авторы используют названия совсем других цветов. Например, ирис, барвинок и василек могут быть названы красными (erytros), зелеными (prasos) или черными (melas). При описании моря и неба упоминаются самые разные цвета, но — не синей гаммы. Вот почему в конце XIX и начале XX веков ученых занимал вопрос: видели ли древние греки синий цвет или, по крайней мере, видели ли они его так, как мы? Некоторые отвечали на этот вопрос отрицательно, выдвигая теории об эволюции цветоощущения: по их мнению, люди, принадлежащие к обществам технически и интеллектуально развитым, — или претендующие быть таковыми, как, например, современные западные общества, — гораздо лучше умеют различать цвета и давать им точные названия, чем те, кто принадлежал к "примитивным" или древним обществам.

Эти теории, сразу после их появления вызвавшие ожесточенную полемику и имеющие сторонников даже в наши дни, кажутся мне необоснованными и некорректными. Мало того, что их авторы опираются на весьма туманный и опасный принцип этноцентричности (на основе каких критериев то или иное общество можно назвать "развитым" и кто вправе

давать такие определения?), они еще путают зрение (явление преимущественно биологическое) с восприятием (явлением преимущественно культурным). К тому же они не берут в расчет, что в любую эпоху, в любом обществе, в сознании человека существует зазор, и порой немалый, между цветом "реальным" (если слово "реальный" вообще что-то значит), цветом воспринимаемым и тем, как этот цвет называют. Если в цветовой лексике древних греков нет определения синего или определение это весьма приблизительное, надо прежде всего изучить данный феномен в рамках формирования и функционирования лексики, затем — в идеологических рамках обществ, которые этой лексикой пользуются, а не искать тут связь с особенностями нейробиологии членов этих обществ: зрительный аппарат древних греков абсолютно идентичен зрительному аппарату европейцев XX столетия. Трудность при определении синего цвета встречается и в классической, а затем и в средневековой латыни. Конечно, здесь имеется целый набор названий (caeruleus, caesius, glaucus, cyaneus, lividus, venetus, aerius, ferreus), но все эти определения полисемические, хроматически не вполне точные, и в их употреблении нет логики и последовательности. Взять хотя бы наиболее часто встречающееся — "caeruleus": если исходить из этимологии этого слова (cera — воск), оно обозначает цвет воска, то есть нечто среднее между белым, коричневым и желтым, затем его начинают применять к некоторым оттенкам зеленого или черного, и только гораздо позднее — к синей цветовой гамме[1]. Такая неточность и непоследовательность лексики, когда речь заходит о синем, отражает слабый интерес к этому цвету римских авторов, а затем и авторов раннего христианского Средневековья. Вот почему в средневековой латыни легко прижились два новых слова, обозначающих синий цвет: одно пришло из германских языков ("blavus"), другое — из арабского ("azureus"). Эти два слова впоследствии вытеснят все остальные и окончательно закрепятся в романских языках. Так, во французском языке (как в итальянском и испанском) слова, которыми чаще всего обозначают синий цвет, произошли не от латинско-

1. Этимология, производящая caeruleus от caelum (небо), при фонетическом и филологическом анализе обнаруживает свою несостоятельность. См., впрочем, гипотезу А. Эрну и А. Мейе в "Этимологическом словаре латинского языка" (Париж, 1979) о существовании (нигде не засвидетельствованном) промежуточной формы caeluleus. А для средневековых авторов, у которых этимология строилась на иных принципах, чем у ученых XX века, связь между ceruleus и cereus была вполне очевидной. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)

го, а от немецкого и арабского — "bleu" от "blau" и "azur" от "lazaward"[1].

Если, вопреки мнению некоторых ученых позапрошлого столетия, римляне все же умели различать синий цвет, то относились они к нему в лучшем случае равнодушно, а в худшем — враждебно. Это и понятно: синий для них — это главным образом цвет варваров, кельтов и германцев, которые, по свидетельствам Цезаря и Тацита, раскрашивают тело синей краской для устрашения врагов. Овидий говорит, что стареющие германцы, желая скрыть седину, подкрашивают волосы соком вайды. А Плиний утверждает, будто жены бриттов красят свои тела в темно-синий цвет той же вайдой (glastum) перед ритуальными оргиями; из чего делает вывод, что синий — это цвет, которого следует опасаться либо избегать.

В Риме синюю одежду не любили, она свидетельствовала об эксцентричности (особенно в годы Республики и при первых императорах) либо символизировала траур. Кроме того, этот цвет, светлый оттенок которого казался резким и неприятным, а темный — пугающим, часто ассоциировался со смертью и с загробным царством. Голубые глаза считались чуть ли не физическим недостатком. У женщины они свидетельствовали о склонности к пороку; голубоглазый мужчина слыл женоподобным, похожим на варвара и попросту смешным. И, разумеется, в театре эта особенность внешности часто использовалась для создания комических персонажей. Так, например, Теренций награждает нескольких своих героев голубыми глазами и при этом — либо вьющимися рыжими волосами, либо громадным ростом, либо тучностью — и то, и другое, и третье в республиканском Риме считалось изъяном. Вот как описывает Теренций смешного персонажа в своей комедии "Свекровь" (около 160 года до н. э.): "Тучный верзила с курчавыми рыжими волосами, голубыми глазами и бледным, как у покойника, лицом"[2]. <...>

Рождение цветов богослужения

Начиная с эпохи Каролингов, а может даже несколько ранее (с VII века, когда Церковь ввела в свой обиход некое подобие

1. В старофранцузском нередко происходила путаница: слова "bleu", "blo", "blef", происходящие от германского "blau". обозначающего "синий", смешивали со словом "bloi", происшедшим от позднелатинского "blavus", искаженного "flavus", то есть "желтый".
2. Многочисленные доказательства того, что у римлян голубые глаза считались недостатком, можно найти в латинских трактатах по физиогномике.

роскоши), в тканях для церковного убранства и облачении священников стали использовать золото и яркие цвета. Однако единых норм их использования не было, в каждой епархии это решали по-своему. Основные правила богослужения определял епископ, и рассуждения о символике цвета, которые изредка попадаются в литературе того времени, либо не имеют никакого практического значения, либо отражают практику, действующую в одной или нескольких епархиях. Вдобавок следует отметить, что в дошедших до нас нормативных текстах о выборе цвета говорится редко. Церковные соборы, прелаты и теологи вспоминают о цвете лишь для того, чтобы осудить ношение полосатых, пестрых или слишком ярких одежд (борьбу с которыми Церковь будет вести и в дальнейшем, вплоть до Тридентского собора[1]) и напомнить о главенстве белого цвета с точки зрения христологии. Белый — цвет невинности, чистоты, цвет крещения, обращения в христианство, цвет радости, Воскресения, славы и вечной жизни.

В начале второго тысячелетия тексты о религиозной символике цвета становятся более многочисленными. В этих анонимных трактатах, время и место создания которых установить трудно, авторы заняты теоретическими рассуждениями, но не говорят о роли цвета в богослужении. Они рассматривают определенное число цветов — семь, восемь или двенадцать; это больше, чем требовалось для христианской обрядовости в то время, да и впоследствии.. Историку трудно определить, в какой мере эти тексты отражают действовавшие правила богослужения, но самое интересное для нас то, что ни в одном из них не только не рассматривается, но даже не упоминается синий цвет. Словно его и не существовало вообще. И это при том, что неизвестные авторы этих трактатов подробно обсуждают три оттенка красного (ruber, coccinus, purpureus), два оттенка белого (albus и candidus), два оттенка черного (ater и niger), а также зеленый, желтый, фиолетовый, серый и золотой. Но о синем — ни слова. В последующие столетия картина не меняется.

Начиная с XII века видные богословы, писавшие о литургии (Гонорий Августодунский, Руперт из Дейтца, Гуго Сен-Викторский, Жан Авраншский, Жан Белет), все чаще говорят в своих сочинениях о цвете. По отношению к трем основным цветам они единодушны: белый означает чистоту и невинность, черный — воздержание, покаяние и скорбь, красный —

1. См. об этом: Мишель Пастуро. Дьявольская материя, или История полосок и полосатых тканей. — М.: НЛО, 2008. (*Прим. перев.*)

кровь, пролитую Христом и за Христа, Страсти Христовы, мученичество, самопожертвование и божественную любовь. Иногда они рассуждают и о других цветах: зеленом (это "промежуточный" цвет – medius color), фиолетовом (для них это своего рода "получерный", subniger, а отнюдь не смесь красного и синего), а также изредка упоминают серый и желтый. О синем – ни слова. Для них его просто не существует.

Синего цвета не существует и для того, чьи суждения о богослужебных цветах будут определять религиозную обрядность вплоть до Тридентского собора – для кардинала Лотарио Конти ди Сеньи, который позднее станет папой Иннокентием III. Около 1194–1195-го, когда Лотарио был еще кардиналом-диаконом и Римский понтифик Целестин III отстранил его от дел папской курии, он написал несколько трактатов, один из которых, знаменитый "О святом таинстве алтаря" ("De sacro sancti altari misterio"), посвящен мессе. Юношеское творение будущего папы, по тогдашнему обыкновению, изобилует компиляциями и цитатами. Но именно в этом его ценность для нас: кардинал Лотарио кратко пересказывает и дополняет то, что было написано до него на интересующую нас тему. Вдобавок в трактате подробно описаны ткани церковного убранства и священнических облачений, которые были в обиходе в Римской епархии до его собственного понтификата. В те времена другие епархии могли по желанию следовать правилам, установленным в Риме (многие литургисты и канонисты советовали поступать именно так), но ничто их к этому не обязывало, ибо римские правила еще не стали нормой для всего христианского мира; зачастую епископы и верующие придерживались местных традиций – так было, например, в Испании и на Британских островах. Однако авторитет Иннокентия III был так велик, что в течение XIII века ситуация стала меняться. В людях крепло убеждение: то, что принято в Риме, имеет силу закона и для остальных епархий. А сочинения папы, даже самые ранние из них, стали каноническими. Так случилось и с трактатом о мессе. Главу о цветах цитировали и пересказывали многие авторы XIII века, и более того: в других епархиях, даже весьма удаленных от Рима, ее приняли как руководство к действию. Медленно, но верно, дело шло к унификации правил богослужения. Посмотрим, что написано в трактате будущего папы о цветах.

Белый, символ чистоты, подходит для праздников, посвященных ангелам, девственницам и исповедникам, для Рождества и Крещения Господня, для Страстного четверга, Пасхи, Вознесения и Дня Всех Святых. Красный, символ крови, пролитой Христом и за Христа, пригоден для праздников

апостолов и мучеников, для Воздвижения и Пятидесятницы. Черный, цвет скорби и покаяния, следует использовать для заупокойной мессы, Рождественского поста, Дня невинноубиенных и во время Великого поста. А зеленый надлежит использовать в те дни, для которых не подходят ни белый, ни красный, ни черный, ибо — и для историка цвета это чрезвычайно важное замечание — "место зеленого — на полпути между белым, черным и красным". Автор уточняет, что черный иногда можно заменить фиолетовым, а зеленый — желтым[1]. Однако кардинал Лотарио, как и его предшественники, ничего не говорит о синем.

Это умолчание кажется странным, поскольку именно тогда, в последние годы XII века, синий цвет уже начал свою "экспансию": за несколько десятилетий он успел пробраться в церковь — мы встречаем его на витражах, эмалях, алтарных образах, тканях, облачениях священников. Но в систему богослужебных цветов он не включен и не попадет в нее никогда. Эта система сложилась слишком рано, чтобы в ней могло найтись место, пусть даже самое скромное, для синего. Ведь и в наши дни католическая литургия построена на трех "первичных" цветах древних социумов: белом, черном и красном; правда, по будням их дозволено "разбавлять" зеленым. <...>

2. *Новый цвет*

XI–XIV *века*

В начале второго тысячелетия, и в особенности начиная с XII века, синий в западноевропейской культуре перестает быть второстепенным и редко используемым цветом, каким он был в Древнем Риме и в эпоху раннего Средневековья. Отношение к нему меняется на прямо противоположное: синий становится модным, аристократическим цветом и даже, по мнению некоторых авторов, прекраснейшим из цветов. За несколько десятилетий его экономическая ценность многократно возросла, его все активнее используют в одежде, он занимает все большее место в художественном творчестве. Столь неожиданная и разительная перемена свидетельствует о том, что иерархия цветов, задействованных в социальных

1. Последняя рекомендация звучит совсем уж неожиданно, поскольку в средневековых хроматических системах, существовавших до XV века, не усматривается никакой связи между зеленым и желтым.

кодах, системах мышления и восприятия, была полностью реорганизована.

Роль Пресвятой Девы

На рубеже XI–XII веков интерес к синим тонам проявляется прежде всего в изобразительных искусствах. Разумеется, художники использовали этот цвет и раньше. Мы уже говорили о том, как широко он был представлен в раннехристианской мозаике, да и на миниатюрах каролингской эпохи его можно встретить достаточно часто. Но до XII века синий, как правило, остается вспомогательным цветом либо остается на периферии; по своему символическому значению он сильно проигрывает трем "основным цветам" всех древних социумов — красному, белому и черному. А потом за какие-то несколько десятилетий все вдруг меняется: синий обретает новый статус в живописи и в иконографии, все чаще появляется на гербовых щитах и используется в парадной одежде. Возьмем в качестве примера облачение Пресвятой Девы: по его изменениям легко проследить особенности и предпосылки этого удивительного феномена.

Деву Марию не всегда изображали в голубом одеянии: только с XII века западноевропейские живописцы стали ассоциировать ее образ преимущественно с этим цветом, так что он даже превратился в один из ее неотъемлемых атрибутов, — отныне он будет фигурировать либо на ее мантии (самый распространенный вариант), либо на платье, либо (более редкий случай) вся ее одежда будет решена в сине-голубых тонах. Раньше Пресвятую Деву изображали в одеждах разных цветов, но чаще всего темных оттенков: в черном, сером, коричневом, фиолетовом. Цвет ее одеяний должен был ассоциироваться со скорбью, трауром: Дева Мария носит траур по сыну, умершему на кресте. Эта традиция возникла еще в раннехристианскую эпоху — при Империи римляне нередко надевали черные или темные одежды по случаю кончины родственников или друзей — и сохранилась в эпоху Каролингов и Оттонов. Однако в первой половине XII века темных тонов в этой палитре становится все меньше, и постепенно делается атрибутом скорбящей Богоматери единственный цвет: синий. Вдобавок он приобретает более светлый, привлекательный оттенок: из тусклого и угрюмого, каким он оставался долгие столетия, синий мало-помалу превращается в ясный и жизнерадостный. <...>

И уже в первые десятилетия XIII века кое-кто из сильных мира сего по примеру Царицы Небесной начнет облачаться

в лазурные одежды: два или три поколения назад это было бы немыслимо. Первым королем Франции, который делал это регулярно, стал Людовик Святой.

Итак, новая традиция — изображать Деву Марию в синих одеждах — немало поспособствовала тому, что в обществе произошла переоценка этого цвета. Далее мы увидим, как эта переоценка сказалась на окраске тканей и расцветках одежды. А сейчас, чтобы больше не возвращаться к этой теме, напомним, как эволюционировал синий цвет у Богоматери, когда завершилась готическая эпоха, время его наивысшей славы.

Хотя даже в наши дни, еще относительно недавно, синий цвет считался атрибутом Богоматери, искусство готики не сумело окончательно закрепить его за ней. В эпоху барокко приходит новая мода: Пресвятую Деву облачают в золотое, ибо теперь считается, что это сияние божественного света. Эта мода достигнет своего апогея в XVIII веке и продержится вплоть до середины следующего столетия. Однако после принятия догмата о Непорочном зачатии, согласно которому Дева Мария в момент зачатия, по особой милости Господа, была очищена от первородного греха (догмат был окончательно принят папой Пием IX в 1854 году), иконографическим цветом Богоматери стал белый, символ чистоты и девственности. Отныне, впервые с раннехристианской эпохи, иконографический цвет Пресвятой Девы совпал с ее богослужебным цветом. Ведь еще с V века в отдельных епархиях, а начиная с понтификата Иннокентия III (1198—1216) — в большей части западнохристианского мира, праздники Богоматери ассоциировались с белым.

Итак, на протяжении веков одеяние Богоматери многократно меняло цвет. Наглядным свидетельством тому может служить деревянная статуя из липы, созданная на рубеже первого и второго тысячелетий и до сих пор хранящаяся в Льежском музее. Эта романская Дева Мария, как часто случалось в то время, была изображена в черном одеянии. Затем, в XIII столетии, согласно канонам готической иконографии и теологии, статую перекрасили в небесно-синий. Однако в конце XVII века ей, подобно многим другим произведениям искусства, придали "барочный" облик: покрыли позолотой. Этот цвет она сохраняла два столетия, до 1880 года, когда в соответствии с догматом о Непорочном зачатии ее перекрасили в белый. Эти четыре слоя краски различного цвета, которыми за тысячу лет успела покрыться небольшая деревянная скульптура, превращают ее в уникальный документ истории искусства и истории символики. <...>

От короля Франции до короля Артура: рождение "королевского синего"

Если успеху синего цвета в изобразительных искусствах содействовала Пресвятая Дева, то в столь специфической области, как геральдика, роль "рекламного агента" сыграл король Франции.

С конца XII века, или, возможно, даже раньше, гербом французского короля стал "лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями", то есть светло-синее поле, на котором через равные промежутки размещены стилизованные желтые цветы. В ту эпоху король Франции был единственным европейским государем, на чьем гербе присутствовал синий цвет. Этот цвет, вначале династический, лишь впоследствии ставший геральдическим, вероятно, был избран несколькими десятилетиями ранее в честь Девы Марии, покровительницы французского королевства и династии Капетингов. Несомненно, ключевую роль в этом выборе сыграли Сугерий и святой Бернар Клервоский[1]; и наверняка именно по их совету лилия, символ Богоматери, в царствование Людовика VI, затем Людовика VII (1130–1140) стала эмблемой династии Капетингов, а в начале царствования Филиппа Августа (около 1180 года) превратилась в полноценную геральдическую фигуру.

Позднее, в XIII веке, авторитет французского короля возрос настолько, что многие знатные люди и семейства, сначала во Франции, а затем и по всему западнохристианскому миру, также ввели в свои гербы лазурный цвет. В это же время геральдическая лазурь, как королей, так и феодалов, выходит за пределы собственно геральдики: помимо щитов и знамен, она используется при коронациях, посвящениях в епископский сан и других церемониях и празднествах, таких, как торжественные въезды короля или принца и рыцарские турниры, украшая парадные одежды. А это, в свою очередь, способствует распространению моды на синие тона в XIII–XIV веках.

К тому же прогресс в технике окраски тканей, достигнутый в начале XIII века, отныне позволяет получать светлые и яркие оттенки синего, вместо тусклых, иссиня-серых или блеклых, какими приходилось довольствоваться в прошлые века. И если раньше этот цвет использовался для рабочей

1. Сугерий (1081–1151) – настоятель аббатства Сен-Дени, влиятельный советник Людовика VI, а затем и Людовика VII. Бернар Клервоский (1091–1153) – основатель и глава цистерцианского аббатства Клерво в Шампани, самый влиятельный церковный деятель XII в. (*Прим. перев.*)

одежды ремесленников и в особенности крестьян, то теперь в синие одежды облачаются аристократы и представители привилегированных слоев общества. В 1230–1250 годах даже короли, как, например, Людовик Святой[1] и Генрих III, начинают одеваться в синее: государи предыдущего столетия вряд ли выбрали бы для себя такой цвет. Королям сразу же начинают подражать их придворные; более того, короля Артура, главного из легендарных королей Средневековья, с XIII века также часто изображают в синих одеждах, и его гербом становится лазурный щит с тремя золотыми коронами, то есть цвета его герба такие же, как у короля Франции.

Не все государи Европы торопятся усвоить эту новую моду – она не сразу приживется в германских государствах и в Италии, где императорский пурпур какое-то время еще сопротивляется экспансии королевского синего цвета. Однако это сопротивление продлится недолго: на исходе Средневековья даже в Германии и в Италии синий становится цветом королей, князей, феодалов и прочих представителей привилегированных сословий – а красный остается лишь символом императорской и папской власти. <...>

Новый *цветовой порядок*

Иконографический цвет Девы Марии, эмблематический цвет короля Франции и короля Артура, символический цвет королевской власти и просто модный цвет, синий все чаще ассоциируется в литературных текстах с такими понятиями, как радость, любовь, верность, покой и утешение. К концу Средневековья для некоторых авторов он становится самым прекрасным и благородным из цветов. В этом своем новом качестве он постепенно вытесняет красный. Уже во второй половине XIII века анонимный автор романа "Сон де Нансэ", созданного в Лотарингии или в Брабанте и восхваляющего рыцарские добродетели, замечает: "Синий цвет утешает сердце, ибо он император среди всех цветов". А вот что сказал несколько десятилетий спустя великий поэт и композитор Гийом де Машо (1300–1370): "Кто знает толк в цветах и умеет распознать их смысл, превыше всех ценит нежную лазурь".

Главное для историка – суметь объяснить эту внезапную моду на синее и доискаться до причин, обусловивших коренные

1. См. Жак Ле Гофф. Людовик IX Святой / Перев. с франц. В. Матузовой. – М.: Ладомир, 2001.

изменения в иерархии цветов. Быть может, все дело в техническом прогрессе, в новом способе изготовления красок, который позволил западноевропейским красильщикам сделать то, что их предшественникам не удавалось сделать в течение столетий — придать сукну красивый, насыщенный, глубокий, стойкий и яркий синий цвет? А появление новых оттенков синего в тканях и одежде постепенно привело к тому, что этот цвет внедрился и в другие области жизни: с помощью новых технических приемов искусные мастера научились закреплять его на других носителях? Или все было наоборот: в обществе изменилось отношение к синему цвету, он стал востребованным, и это вызвало технический прорыв в красильном деле, а затем и в прочих ремеслах? Другими словами, что было раньше: спрос или предложение? С чего все началось — с химии и технологии? Или же с идеологии и символики? Последний вариант представляется мне более вероятным.

Однако на все эти вопросы нельзя ответить однозначно, ибо во многих областях жизни химию трудно отделить от символики. Но совершенно очевидно, что мода на синий цвет в XII–XIV веках — это отнюдь не малозначительная подробность тогдашнего быта, она отражает глубокие изменения в обществе, в его мышлении и восприятии. И удивительная судьба синего — не частный случай, а показатель того, что люди стали иначе смотреть на цвета и по-иному соотносить их друг с другом. На смену прежнему цветовому порядку, восходящему, быть может, еще к доисторическим временам, приходит новый.

Его главная особенность — упразднение старой триады "белый–красный–черный", о которой мы говорили в начале этой книги и которая безраздельно властвовала в культурах Древнего мира (восточной, библейской и греко-римской), а затем — в Европе эпохи раннего Средневековья. Эта трехполюсная хроматическая система (существовавшая, по свидетельствам лингвистов и этнологов, также во многих цивилизациях Африки и Азии) была основана на антагонизме белого и двух других цветов, воспринимаемых как его противоположности, что давало возможность свести все цвета к трем основным: так, желтый считался разновидностью белого, а зеленый, синий и фиолетовый приравнивались к черному. У многих древних народов общество делилось на три класса, которым давали названия цветов; на заре истории Рима его обитатели делились на albati, russati, virides — белых, красных и темных (об этом пишет Ж. Дюмезиль в книге "Индоевропейские ритуалы в Риме").

Влияние этой древнейшей хроматической системы прослеживается в средневековой литературе (особенно в герои-

Игорь Померанцев
Czernowitz

Воспоминания утопленника

Связь с Черновцами у меня глубокая, я даже на глазок могу определить ее глубину: около двух метров. На кладбищах этого города похоронены мои тети, моя бабушка, мой отец, мой старший брат. Да и сейчас в городе живут моя невестка, увы, вдова, и мой племянник.

Я уехал из города в 1970 году, когда закончил университет. Одна причина была простая: после окончания английской кафедры факультета романо-германской филологии я не мог найти работу в городе. В те времена Черновцы, как и вся империя, были обнесены железным занавесом. Правда, в городе был кемпинг, куда заезжали иностранные туристы, но у меня уже в молодости не сложились отношения с КГБ, так что к туристам меня не подпускали. Была и другая причина. Я был молодым человеком с большими амбициями, отважно глядел в будущее и без ума любил поэзию. Я верил, что она отвечает мне взаимностью. Мне казалось, что мне по плечу любая столица и что всюду мне будут рукоплескать. Я ошибся. Но город покинул. И вот уже 35 лет не возвращаюсь в него. Просто не могу до него доехать, даже когда приезжаю в Киев. Я знаю, что нужно делать то, чего боишься, идти туда, где тебе страшно, и так преодолевать страх. Может быть, я испытываю не страх, а чувство неловкости? Это все равно что встретиться с женщиной, которую любил, после сорокалетней разлуки. Есть глупые фразы – "привет", "как дела?" Вот я скажу городу – "Как дела?" Он скептично на меня посмотрит и ответит: "Какие дела? Да без тебя мы тут обошлись". И впрямь, я не мог бы вслед за провинциалом Плутархом повторить: "Что до меня, то я живу в маленьком городе и, чтобы он не стал еще меньше, охотно в нем остаюсь". Черновцы так и остались для меня маленькими, как муха в янтаре, застывшими в памяти, притаившимися в истории. Или как любимые детские штанишки с бретельками на кнопках.

Первая встреча с городом была для меня огромным событием. Раннее детство я провел в Забайкалье, в Чите. Это был черно-белый период моей

© Игорь Померанцев, 2010

жизни, период тотальных, беспросветных зим. Мой отец работал в военной газете "На боевом посту". Он часто болел: ему был противопоказан климат Забайкалья. В конце концов отец демобилизовался, и мы уехали в Черновцы, где жили мамины родственники. Так из черно-белого забайкальского фильма я попал в дальнее Средиземноморье. Про эмигрантов говорят, что они переживают культурный шок, но я в эмиграции его не пережил, потому что у меня была прививка Черновцов. Зато после Читы в Черновцах я пережил чувственный шок и — по-своему, по-детски — эротический. Я попал в цветное кино, в мир, где светит слепящее солнце, где ты почти теряешь сознание от запаха белого налива, вишен, морелей — так называют на Буковине абрикосы. Эта чувственная прививка, чувственная батарейка до сих пор меня греет. Наверное, поэтому я люблю возвращаться не в Черновцы, а в места, где те же запахи, тот же воздух, где так же преломляется солнечный луч: на кладбища Стамбула, холмы Тосканы, в мир ближнего Средиземноморья.

В детстве я исколесил весь город на велосипеде "Орленок" и благодаря крутым улицам и "Орленку" понял, что означает словосочетание "сломя голову". Еще я любил бродить по Черновцам. У меня были свои любимые маршруты. Я жил на улице Лермонтова, которая выходила на улицу Кобылянскую. Если подняться по Лермонтова, пересечь бывшую улицу Ленина и трамвайные пути, пройти сквозь коммерческий центр, который назывался "Пассаж" — наверно, он и сейчас так называется, — пересечь еще две улицы и подойти к актовому залу университета, то можно очутиться на углу моих первых любовных свиданий. Был у меня еще один драматичный маршрут. Если спуститься по Кобылянской на Центральную площадь, после повернуть налево по направлению к бывшей синагоге, которую не уничтожили румынские фашисты, но взорвали большевики, — там теперь кинотеатр — миновать этот кинотеатр и зайти в аптеку на углу... Не знаю, сохранилась ли она. В самом начале 1960-х, когда мой отец перенес первый инфаркт, я бегал в эту аптеку каждый день и возвращался домой с двумя кислородными подушками. Может быть, старожилы еще помнят запыхавшегося мальчика, который вечно бегал по центру города с кислородными подушками. Этот мальчик — я.

Чем Черновцы отличались от других украинских городов? В этом городе в конце 50-х годов еще жила горстка австрийских евреев. Они были ни на кого не похожи и особенно отличались от стиляг. Стиляги носили одинаковую одежду: плащи болонья, белые кепки (батоны) с серыми прожилками. А горстка австрийских евреев носила потертые велю-

ровые темно-синие шляпы, серые в елочку двубортные пальто, стоптанные туфли с узкими носами, запонки с матовым мраморным отливом — и все это было старое, почти древнее, затрапезное, но как же стильно они выглядели! Черновцы так и остались для меня этим самым ископаемым австрийским евреем, заброшенным машиной времени в советский заповедник. Во второй половине XX века Черновцы выпали из европейской моды, как эти велюровые шляпы и серые двубортные пальто, но оставались городом стильным, городом легкой походки, хотя и обедневшим.

В советской империи Черновцы были еврейским городом. Впрочем, и в немецкой литературе его всегда называли еврейским. В середине 50-х только пятая часть городского населения были евреями, причем из них меньшая часть — австрийскими, а большая — бессарабскими. Но евреи обладают мощным энергетическим полем. Даже если их всего ничего — три десятка тысяч — они делают погоду в городе. Я уже в детстве знал, что евреи живут в Киеве, в Москве, в Ленинграде, но столичные евреи мне казались сплошь респектабельными, богатыми, процветающими, а вот в Черновцах были всякие — шпана, проститутки, убийцы, валютчики, вундеркинды, по улицам бродили евреи-горбуны, таскавшие на своих горбах контрабандную муку. Конечно, там была не только еврейская голь — там были, например, знаменитые боксеры и борцы, участвовавшие в Олимпийских играх, в чемпионатах мира. Мне в детстве казалось, что евреи — самые замечательные спортсмены, особенно борцы и боксеры.

В детстве я жил в Израиле. Назывался он Черновцы. Сначала мне об этом сказал отец. На мой вопрос, бывал ли он за границей, он ответил: "Мы живем за границей". Но не уточнил, за какой именно. О существовании государства Израиль я узнал очень рано. Из Черновцов даже в самые лютые холодные войны в Палестину уезжали навсегда. Я очень сочувствовал Израилю: в 60-е годы туда ехала еврейская нищета — матери-одиночки с сопливыми детьми, инвалиды, которых гноили в чуланах заботливые родичи, рецидивисты, поэты, писавшие на никому не нужном идише. Это был ручеек, который, как мне тогда казалось, может загрязнить чистые водоемы Израиля, созданные в пустыне еврейским гением. Мои юные еврейские друзья в пику люмпенам и неудачникам, закончив школу, уезжали в Сибирь и там в пятнадцать лет становились докторами физико-математических наук. Почему они выбирали Сибирь, я не особенно задумывался. Это было вполне в духе приключенческих романов Жюля Верна, которыми я тогда зачитывался. Но понемногу ручеек

наливался, раздавался вширь, пока окончательно не вышел из берегов. Моды на Америку в Черновцах не было. Все ехали в Израиль. Мне казалось, что я чуть ли не лично знаю всех новых израильтян, поскольку родом они из Черновцов. Я так близко стоял к этому потоку, что меня в конце концов тоже смыло и понесло. В Израиле же я впервые побывал, когда мне было уже под сорок. Он оказался огромной страной, населенной огромным народом. И ни одного, ни одного из тех самых черновицких "израильтян", я не встретил ни на Мертвом море, ни в Иерусалиме, ни в Кфар-Дароме.

Я помню знакомых отца. Он работал в областной украинской газете "Радянська Буковина". Отец родился в Одессе, знал три языка — русский, украинский и идиш, который входил в состав одесского воздуха. Я хорошо помню еврейского поэта, писавшего на идише — Меера Хараца, впоследствии ставшего классиком в Израиле. Это был недобиток Холокоста и одновременно недобиток ГУЛАГа — там он тоже отсидел. В конце 50-х этого недобитка хотели добить окончательно. Он опубликовал без ведома начальства несколько стихотворений за границей: в польской еврейской газете. За это ему устроили выволочку в редакции "Радянської Буковины". Думаю, мой отец в этом не участвовал, иначе Харац не пришел бы к нам домой сразу после редакционного партсобрания. Недобиток, серый воробышек, сидел у нас за столом и молчал. А потом начал читать стихи на идише. Ни я, ни мать моя, выросшая в Харькове, — ни слова не понимали. Мне было лет двенадцать, для меня идиш был жаргоном голытьбы, полуподвалов, людей, отрезанных от высокой культуры: какой-то вороний грай, а не язык. И вот я услышал, как Меер Харац читает стихи, услышал этот орлиный клекот и понял тогда в первый раз предназначение поэзии: окрылять язык. Этот окрыленный идиш я помню до сих пор.

Мы с отцом часто гуляли по городу, и он мне украдкой показывал талантливых украинских писателей: Володимира Бабляка, Романа Андрияшика. Я, конечно, пялился на них, хотя отец меня одергивал. До сих пор помню их напряженные лица, как будто они несли какие-то гири. Только потом, в 1972 году, когда я переехал в Киев, замороженный страхом, Киев после украинских зачисток, я понял, какие гири носили Бабляк и Андрияшик и почему они рано умерли. Еще в городе жил великий бандит Хома. Я хорошо знал его младшего брата, олигофрена по кличке Блюм, друга моего старшего брата. Однажды мелкий хулиган Шмок по глупости долбанул Блюмашу между глаз. Долбанув, он понял, на кого поднял руку, и побежал на Кобылянскую извиняться перед Хомой. Хома выслушал Шмока и

лениво отправил его в нокаут. После первой отсидки Хома сменил наше местечко на солидный Львов. Ему хватило года, чтобы поставить льва на задние лапы. Затем он укротил Западный Берлин. Хома и Блюм были преданными сыновьями. Заработав первый эмигрантский миллион, они транспортировали отца-инвалида из СССР в ФРГ, но на высоте восьми тысяч метров сердце старика разорвалось, и сыновья встретили труп. Блюм не дожил до сорока: он умер от опухоли мозга. А Хому зарезали в Мюнхене его же пацаны — то ли Тимоха, то ли Тенгиз. Так вся семья без остатка ушла в черновицкие мифы и легенды. Помню и вдохновенную проститутку Фиру по кличке Сосюра. Я мечтал о ней с двенадцати лет. И когда пришла пора осуществить мечту, Фира исчезла: ее унесло эмигрантским ветром в Хайфу на радость тамошним докерам и матросам и на беду местным проституткам. В Хайфе Фира радикально сбила цены, при этом не поступившись качеством услуг.

Я и мои друзья читали книжки взапой, но при этом были варварами. Мы не чуяли под ногами почвы. Мы не знали, какие золотые жилы топчем, по каким бесценным руинам ходим. Конечно, варвары мы были необычные — у нас за плечами была русская литература, американская, французская, но варварство — это отсутствие памяти, памяти исторической, культурной. В этом не было нашей вины. Памяти нас лишили. Я впервые услыхал про Пауля Целана, когда его имя занесло в Черновцы киевскими ветрами. Только потом я познакомился в Черновцах с людьми, которые учились с Целаном, дружили с ним. Я помню, как зашел в 1972 году к киевскому поэту-модернисту и при этом члену ЦК КПУ Мыколе Бажану, — меня к нему привел другой украинский поэт из Черновцов, Моисей Фишбейн, — и как трогательно, с каким пиететом говорил Бажан о Черновцах и о Пауле Целане. Столица знала больше и глубже понимала историю.

Старые Черновцы были перекрестком культур. У Пастернака есть строчка: "воздух криками изрыт". Воздух Черновцов был изрыт криками, стонами, вздохами на немецком, на идише, на украинском, на венгерском, на румынском, на польском, на русском. Фотографы работают со светом и тенью, композиторы — с чередованием звуков, а писатель работает с языком. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе богатейший языковой фон, языковой ландшафт Черновцов. Я назвал бы его "сквозняком лингв". Из этой полифонии и рождалась поэзия. Столицы устанавливают классические эталоны, определяют стандарты. А провинция — это столица модернизма. Потому что в глубинке полируют свою кровь юноши-книгочеи. А что еще им остается, кроме откло-

нения, надлома, кроме курватуры, которая присуща стилю модерн? Эта курватура карнизов и кровель может далеко завести чувствительных юношей. У Гейне есть такая мысль — эпохи заката чреваты субъективизмом. Это сказано скорее неодобрительно. Для меня же эта мысль — просто диагноз. Когда рушится все вокруг — империи, каноны, репутации, — на кого тебе еще положиться, кроме как на самого себя? Так ты становишься "субъективным" и работаешь с собственным "я", своевольно преломляешь реальность, потому что ты чреват, беременен "субъективизмом".

Из черновицких авторов мне близок Грегор, он же Гриша. Я бы не рискнул сказать, что он близок мне литературно: он прозаик, а не поэт. Его официальное имя — Грегор, хотя он до гробовой доски, знакомясь, по-детски называл себя Гришей. Это была ирония аристократа. Звали Гришу Грегор фон Реццори. Черновцы в своей прозе он называет Чернополь. Он близок мне стилем жизни. Недавно русский художник Виктор Пивоваров, живущий ныне в Праге, подарил мне расписную тарелку с надписью: "Радостный меланхолик". Таким он меня видит. Думаю, что Грегор — Гриша — фон Реццори был радостным меланхоликом. Он работал радиожурналистом — я тоже работаю "воздушным гимнастом" уже лет тридцать, — был автором кулинарных рецептов, снимался в кино, ни много ни мало — с Брижит Бардо. Он близок мне по стилю и темпераменту, хотя мне, конечно, далеко до "Гриши". Он предпочел в конце концов Германии Италию: там он жил, там он умер. Это был его маршрут — из дальнего Средиземноморья на ближнее.

У Пауля Целана мне нравятся паузы и зазоры. Его синтаксис. Он пережил смерть своих родителей в румынском лагере и сам был его узником. Вот тогда-то, я думаю, у него остановилось сердце. Для него зазоры и паузы между словами, между грамматическими конструкциями — это не авангардистская уловка, а паузы между ударами сердца. Он ответил на риторический вопрос Теодора Адорно "Можно ли писать стихи после Освенцима?" не риторически — своими стихами. И вот еще за что я благодарен Целану. Он был поэтом-невидимкой, поэтом-призраком. Витебск заляпан Шагалом с ног до головы. По Дублину не пройти, не зацепившись, не споткнушись о фразу Джойса. У Целана в даже самых трагических стихах не слышно затрудненного дыхания. Он не оставил после себя никакого скарба, неподъемной мебели, пятен пота и крови.

Еще Черновцы были городом великих врачей. Брафельд, Кляйн, Крошкин — эти имена были на устах всех горожан. Врачи выносили приговор, апеллировали к Богу, своему Богу — Асклепию, до-

бивались пересмотра дела, помилования. Приходил Брафельд — украинцы называли его Брахфельд — и кричал на маму и на папу: "Отворите окна, напустите морозу, иначе ваш сын умрет!" И удалялся. За его плечами хлобыстал алый плащ мага. Никто в Старом и Новом свете не ставил диагнозов точнее. Нашим магам приходилось отращивать особо чувствительные антенны и щупальца, поскольку пределом прогресса на околице империи были кабинет Вильгельма Рентгена да игла Франка. Вспоминая сейчас черновицких магов в атласных плащах, я перестаю быть атеистом. Вера — это пертусинный запах в детской, холод чужих пальцев в подреберье, отпечаток стетоскопа на лопатке. Какой же я атеист, если в моей детской ступала нога Брафельда, Кляйна, Крошкина?

Диссидентами бывают не только люди, но и города. Архитектура Черновцов в советской империи была диссидентской. Проходя мимо домов, живя в них, ты не мог не заразиться их духом. Черновцы — город-диссидент, который дал нам, своим жителям, уроки красоты, свободы, долга. Черновцы — это город-цитата, причем из другой эпохи. И раскавычить ее могут только чуткие исследователи. Это цитата из стихов замечательных австрийских поэтов, живших там между двумя мировыми войнами. Ты идешь по городу, как по цитате. Ты читаешь его. Прежнего города уже нет. Но остались обрывки предложений, осколки слов, которые вошли в сознание, в культурный обиход немецкого и австрийского читателя.

Есть такая детская игра "Замри!" Между войнами Черновцы "замерли". Они жили своей жизнью, не ожидая, не предвидя Холокоста. Это был город книжных червей, о чем написано много воспоминаний, в том числе Розой Ауслендер. В 1978 году, когда я оказался в Германии, моя подруга, учительница немецкой гимназии, позвонила в Дюссельдорф Розе Ауслендер и сказала: "Мы не знакомы лично, но я вам звоню, потому что ко мне приехал русский поэт из Черновцов и, может быть, вам интересно было бы с ним встретиться". К тому времени Р. Ауслендер была лауреатом, знаменитостью, классиком. Она ответила: "Я бы охотно встретилась, но я больна". Она тогда действительно болела тяжелой формой артрита, уже не могла писать, только диктовала стихи, но, думаю, был у нее и другой резон. Она когда-то написала, что Черновцы — "затонувший город". Это она придумала образ города-Атлантиды. Поэтому, мне кажется, она боялась встретиться с человеком, который жил и сочинял стихи на дне затонувшего города. Оказалось, что ее Атлантиду кто-то заселил. И мое физическое присутствие, разговоры о стихах и то, что я просто их пишу, разрушало хрустальный образ затонувшего города.

Она не захотела встретиться с утопленником.

Живя в Черновцах, я почти никогда не писал о Черновцах. Но стоило мне уехать в Киев, как я тотчас увидел их в полный рост:

От автора

Мой городок! Из труб не
дым, а Дымшиц.
Вот он летит с ухмылкой
и слезой.

Сомненья прочь! Читатель
не боится,
читатель любит бритвы острие.
Он был бы счастлив
вместе умереть
со мной у лампы
от разрыва горла.
Я заблуждаюсь? Что ж,
не миновать
ни собственных ошибок,
ни прозрений.
К чему стесненье?! В детстве
городок
мне преподал урок
дурного вкуса:
лишь там, где пафос,
там и красота,
где жизнь и смерть смешались —
там искусство.

Садись на раму. Вот велосипед.
Рывок. Другой. И мы летим.
И лица
родные гаснут. Только стук
в висках
да пиджачок хлобыщет
за спиною.
Держись покрепче. Сорвана
резьба.
Нам никогда уж не остановиться.

Вот сад мелькнул. Там мальчик:
на губах —
вишневый сад, на плечиках —
бретельки.
Вот тополиный пух,
и сквозь него
квартал еврейский, как горбушка
хлеба,
натертый чесноком.
Глаза старух.
Гляди, вдыхай. И ты поймешь,
что страх
с водою вместе хлещет
из колонок.

А шины шелестят. Все круче
скат.
И пух свербит щекотно
в носоглотке.
Вот что-то обожгло. Еще в ушах
звенит: "Любимый!"
Ветер плющит слезы.
И в нем спасение.

Обрывы рук. Откосы. Как раним
веселый воздух хлесткий.
От стрекоз
он стал еще прозрачнее и легче
и пахнет васильками. Далеки
шлагбаумы, вагонная горячка,
досмотр таможенный.
Подсаживает мать
мой друг. Еще, еще одно усилье.
Им не помочь.
Багажник дребезжит.
Летим, читатель! Спицы.
Сухожилья.
Я здесь, с тобой. Я б за собой
повлек
не то что с горки, но по краю
бездны,
когда бы не сомненья...

Черновцы — город с секретом. И тайной. Сначала про секрет. Есть города, которым не просто повезло — они заслужили везение. Я имею в виду города, на которые хотя бы краем глаза посмотрел Бог. Но почему они привлекли его внимание? У культуры — своя логика, свои магнитные поля. Так вот, Бог посмотрел на Черновцы — даже не посмотрел, а послушал их краем уха — и услышал какой-то шелест, перелив дифтонгов и фонем,

чересполосицу языков, услышал и удивился: какой маленький пятачок и каким чудным сквознячком оттуда веет. Лингвистическим сквознячком. Ну а что до тайны, то она — в нас самих. Тайна — это работа нашего воображения, это погреба и чердаки нашей памяти, и пока они существуют, до тех пор Черновцы останутся таинственным городом.

В 1975 году я писал о Черновцах: "мой Дублин, мой Витебск, мой городок". Я невольно сравнивал себя с Джеймсом Джойсом и с Марком Шагалом. Я был слишком самонадеян. Я не дотянул. Сильно не дотянул. Но Черновцы дотянули.

Прага
2008

Князья тишины

"*Страницы одного журнала. In memoriam Nyugat Tè: 1908–1919*": Альманах / Сост. и перев. с венгерского Майи Цесарской. – М.: Водолей Publishers, 2009

"Дорогой Игнотус! Пишу в дороге, при свете горящего села, что думаю про вас и люблю вас, вспомните и вы обо мне. "Нюгат" может не стыдиться за меня. Вчера меня повысили в звании, я теперь прапорщик, командир отряда. У нас изменился номер полевой почты: 96. Пришлите какую-нибудь газету, пока я еще могу читать. Редеем, но очень продвигаемся. Обнимаю всех вас".

Бела Балаж.

"Нюгат", 16 октября 1914 г., № 20.

Это письмо будущего известного теоретика и практика кино, соавтора одного из сценаристов Лени Рифеншталь, пропагандиста Эйзенштейна и эмигранта, переехавшего в Советский Союз. Душераздирающие дневники Белы Балажа публикуются в будапештском литературном журнале "Нюгат" уже через полгода после процитированного письма главному редактору, известному литератору и критику Игнотусу. Балаж лежит в госпитале после ранения, получает письмо о гибели своей дивизии в Сербии и создает текст о верности мертвым, окопном братстве, госпитальном аде и разрыве между миром цивилизации и областями, охваченными войной. Редкие проявления довоенной национальной романтики и предчувствия "гибели всерьез" на страницах журнала сменяются яростными приступами отчаяния и экспрессионистскими красками; главные авторы издания, и до 1914 года не чуждые социалистических идей, станут пацифистами и будут приветствовать революционную Венгрию 1919 года. На этой дате альманах памяти журнала "Нюгат" и заканчивается. Объяснение формальное (составителя) – смерть Эндре Ади, историческое – распад Австро-Венгрии, прекращение существования земли под названием Транслейтания, начало другой эпохи, другой реальности XX века.

Как при помощи волшебного фонаря или воображаемой кинохроники, благодаря этой книге я вижу их маленькие полупрозрачные фигурки на улицах, в театрах и в кафе Будапешта начала века. Их теплоту, их мелкобуржуазность и вызов ей, их интеллигентность, их традиционную меланхолию, их эстетическую страсть изменить довольно консервативный мир венгерской литературы конца XIX века. Напрашиваются сравнения с русским Серебряным веком. Они примерно как символисты и акмеисты Петербурга, хотя их самоаттестации находятся между импрессионизмом и экспрессионизмом (см. стихотворение Михая Бабича "Зимняя песня" 1911 года, где поэт сравнивает себя и своих

товарищей с шахтерами, — приходит на память "словесная руда" Маяковского); западники (Nyugat и означает Запад), реформаторы языка и смысла литературы, их знамя — Ади, у которого есть все качества культурного героя (невероятный талант, несчастная любовь, жизнь в Париже, темперамент публициста). Их национальный романтизм состоит в попытке преодолеть европейское одиночество венгерского языка, преодолеть пессимизм в отношении своей культуры: "быть чутким к своему месту в мире, знать меру собственной малости, уметь рассчитать силы" (Игнотус. Из редакторской статьи в первом номере журнала). Их пафос — урбанистический: "мадьяры основали здесь, на берегах Дуная, свой город, единственный всерьез и по-настоящему город... и факт этот отражен, в том числе и в литературе. И должен быть отражен, если литература желает быть зеркалом нации. И мы, утверждающие, что город надо отвоевать для литературы, мы выражаем венгерский национальный дух достоверней и подлинней тех, кто хотел бы повернуть его против нас". (Аладар Шёпфлин. "Нюгат" 1908 года, № 7.)

Их мало, их читатели — в основном городская интеллигенция и служащие (Будапешт в это время — динамично развивающийся миллионный город, шестой мегаполис Европы), у них стремятся напечататься все. Они не приветствуют формальный языковой эксперимент, скорее ищут новую странную гармонию XX века.

Базар уродцев и калек;
сто лет упрятаны в столе
тобой, о, только приоткрой...
Обгрызано с конца перо,
марка со штемпелем, билет;
проч. хлам для мены, ходовой,
кукла с отодранной ногой,
нога; болванка с бечевой,
резинка, тряпичный атлет,
гвоздь; оловянный постовой,
шкатулка, бублик вековой;
чертик пропоротый живот
в углу расселся, сам живой
и пялится тебе вослед[1].

Михай Бабич. "Нюгат", 16 ноября 1908 г., № 22.

В публицистике журнала довоенного времени — театр, кабаре, высокая и массовая культура, Барток и городская песня, новые технологии эпохи модерна (аэроплан, медицина, кинематограф, фотография). Сифилис как метафизическая болезнь времени. Много рецензий на поэтические сборники друг друга, авторов круга журнала и издательства "Нюгат" (что тоже роднит их стратегию с символистами и акмеистами: если бы не "Письма о русской поэзии" Гумилева, смысл поэзии модерна в России был бы гораздо темнее для читателя). Статья Игнотуса об уголовном процессе над цыганами, осужденными только потому, что они — цыгане. Удивительные идейные пересечения и тематические совпадения с сегодняшним миром (есть одна пассеистская и не вполне исторически достоверная идея, что мир конца XX века будет повторять уроки его начала; судя по текстам из "Нюгата", отобранным составителем, так и есть). Вот несколько примеров.

1. Перевод Майи Цесарской.

Я сделал карикатуру на Санина[1], а заодно сгустил в ней и авторскую наивность... На этом основании будапештская прокуратура предъявляет мне обвинение в подстрекательстве против веры и в богохульстве. (Фридеш Каринти. Из письма в редакцию, 16 апреля 1909 г.)

Писатель рождается в соревновательной демократии, где... продукт умственного труда прежде всего товар, распространением которого управляют прежде всего деловые интересы. (Деже Сабо. Болезнь "Я". 1 августа 1912 г.)

Загляните в последнюю главу нескольких (школьных. — *Е. Ф.*) учебников по истории литературы, где дается характеристика новейшей литературы, и вы убедитесь, сколь беспомощны перед сегодняшними писателями в остальном неплохо подготовленные преподаватели. (Аладар Шёпфлин. Литература и школа. 1 октября 1912 г.)

"...вольно читателю, не следуя ничьей последовательности, читать как ему заблагорассудится, как мы, собственно, чаще всего и читаем журналы..." — пишет в послесловии переводчик и составитель альманаха "In memoriam Nyugat Te: 1908–1919" Майя Цесарская. Кажется, это и есть некоторый скрытый структурный принцип книги: отсутствие структуры, в том числе и предисловия, и оглавления, — это не оплошность редактора, а отсутствие навязываемой читателю схемы. Избранные стихи и публицистика из журнала "Нюгат" просто располагаются хронологически. И если говорить о силовой и смысловой точке, из которой в моем читательском сознании выстраивается альманах, то это выстрелы Гаврилы Принципа[1], 1914 год, смерть эрцгерцога Франца Фердинанда, начало Первой мировой. Это и романтическое эссе Пала Кери "Рок": "Свой решающий удар рок окружил особой чрезмерной и мрачной пышностью и торжественностью"; и ядовитые "Заметки журналиста" Арпада Пастора, статья с подзаголовком "Сараево, в неделю убийства". Позволю себе довольно пространную цитату.

Когда наместнические власти и полиция разогнали Клуб Свободной Любви, то они не увидели в нем ничего особенного, кроме свинства и непристойности. Слыхано ли! Гимназисты и курсистки учительского института собираются и устраивают кутежи и оргии. Но никто не задумался о том, как все начиналось. Эти мальчики и девочки собирались тут, кто с книжкой, кто с тайной мечтой в сердце, славяне все до единого, и ветер, не знающий границ, доносил до них песни Москвы и Петербурга, песни вольных степей — и студенты и студентки, сидя в пыльных красных плюшевых креслах за мраморными столиками, фантазировали об искусстве, о национальном процветании, о собственном поприще, и шепот и споры не стихали до утра, и только потом следовало, на сладкое или на горькое, то самое свинство, из-за которого и прикрыли клуб. Такие места

1. "Санин" — роман М. П. Арцыбашева.

1. Принцип Гаврило (1894–1918) — сербский террорист, убивший 28 июня 1914 г. наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.

порождают Принципов и Чабриновичей[1].

И финал статьи:

Когда-нибудь, во времена поспокойней и посчастливей, надо будет снова съездить в Боснию-Герцеговину. Рассмотреть Восток, который начинается здесь... Как жаль, что ее истребят.

После 1914 года почти все избранное в альманахе "Памяти Nugat" либо непосредственно связано с войной, либо своим трагизмом свидетельствует о ней косвенно. Это и стихи блистательного Деже Костолани "Нынче брат мой младший у кайзера в солдатах...", и "Перед Пасхой" Бабича, и мужественный Оскар Геллерт, и "Проливное, немолчное письмо..." Маргит Кафки (ее поэзия, представленная в альманахе, вообще сделала бы честь любому современному автору; это лирический нарратив, не имеющий аналогов в русской поэзии Серебряного века), и тонкие, полные боли и достоинства короткие заметки в прозе Эндре Ади о юношах на войне, и новый яростный звук в его стихах, как и в стихах Костолани. И статья "Детские рисунки о войне", и желчный гуманистический текст неугомонного Каринти: "...родина — это не вамп-истеричка из романа ужасов, за которую нужно умереть... а земля, дом, небо, вода, забор, цыпленок, старик-крестьянин, городская улица... родина — это ты сам, умирающий солдат, и никто другой".

А уже с 1918-го они начнут уходить сами — Маргит Кафка, "бессмертный Ади". Последнее в альманахе — его стихотворение "С твоей душой" и статья Костолани его памяти.

Игнотус уедет в Вену и формально останется главным редактором до 1929 года, в 1938-м эмигрирует в Штаты, спасаясь от фашизма. Журнал существовал до смерти Бабича в 1941 году.

Как гласит русская народная легенда эпохи перестройки, студент Свердловского архитектурного института Вячеслав Бутусов случайно купил книжку Эндре Ади в переводе Леонида Мартынова. Три текста из этой книги стали песнями рок-группы "Наутилус". Хитом — "Князь тишины". Хорошо бы альманаху "In memoriam Nyugat" попасться на глаза какому-либо студенту.

Елена Фанайлова

1. Чабринович Неделько (1895—1916) — участник того же заговора.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

В прошлом экономисты традиционно подчеркивали, что существует связь между рынком и независимостью потребителя, другими словами – потребитель диктует, что именно следует производить, покупать и продавать. Считалось, что только потребитель обладает властью, от которой полностью зависят фирма-производитель и капиталист. <...> В действительности фирма-производитель и отрасль в значительной мере определяют цены и формируют спрос, используя для этого монополию, олигополию, создание и дифференциацию товара, а также рекламу, продвижение товаров и стимулирование сбыта. <...> В настоящее время принято считать, что ни фирма, ни капиталист сами по себе не обладают властью. Тот факт, что рынок зависит от профессионального и умелого менеджмента, в большинстве экономических учений даже не упоминается. Очевидно, что это – обман.

Разоблачению (или, говоря более мягко, корректировке) подобного рода обманов (или, говоря более мягко, мифов) посвящена последняя, вышедшая в 2004 году, книга (по объему скорее – брошюра) *выдающегося американского экономиста и государственного деятеля, сыгравшего заметную роль в развитии американского либерализма,* **Джона Кеннета Гэлбрейта** (1908–2006), которая так и называется – *Экономика невинного обмана: правда нашего времени* (перевод с английского **Игоря Ногаева**. – М.: издательство "Европа", 2009. – 88 с.). Гэлбрейт, один из крупнейших экономистов-практиков XX века (он был и сотрудником администрации Рузвельта, и советником Кеннеди), еще в 50–60-е разработал теорию так называемого нового индустриального общества. Анализируя сложившиеся экономические реалии, он пришел к выводу, что традиционные представления о капи-

За предоставленную для обзора книгу Наоми Кляйн автор благодарит магазин "Фаланстер".

тализме как о системе, в которой царит "свободный рынок", уже не вполне адекватны; к тому же и сам термин "капитализм" (после ряда глобальных кризисов) в достаточной мере себя дискредитировал. *Были начаты поиски неопасной альтернативы термину, и в США предприняли попытку использовать словосочетание "свободное предпринимательство" – оно не прижилось.*

В предложенной Гэлбрейтом концепции упор делался на то, что на современном этапе промышленного развития "центр тяжести" постепенно переходит от потребителя к производителю и ключевыми звеньями "нового индустриального общества" становятся крупные корпорации, которые начинают диктовать свои законы. А ключевыми звеньями внутри этих корпораций становятся, в свою очередь, менеджеры: именно они, а не собственники принимают решения, что фактически и делает их реальными (в отличие от номинальных собственников – "капиталистов") хозяевами предприятий, а вследствие этого – экономики в целом. Логическим следствием такого подхода стала и теория ковергенции, согласно которой сложившиеся капиталистическая и социалистическая системы в своей реальной эволюции "движутся" навстречу друг другу. Во второй половине XX века уже не "буржуазия и пролетариат" или "коммунистическая партия и рабочий класс" доминируют в социальных раскладах: в обеих системах на первый план выходит слой управленцев-технократов.

Новейшая история подтвердила адекватность теории конвергенции: в наше время "новое индустриальное общество" стало реальностью. Впрочем, в *Экономике невинного обмана* Гэлбрейт уже не пользуется этим термином, а предлагает *другое, более убедительное название современной экономической системы: "корпоративная система".* Актуальными для нашего читателя наверняка покажутся рассуждения автора о *Корпорации как бюрократии* и о фактическом слиянии государственного и частного секторов (глава *Миф о двух секторах*): аналогичные тенденции нетрудно увидеть и в современной российской экономике.

Особенно тревожным подобное слияние является, по мнению Гэлбрейта, в сфере военной промышленности, когда производители оружия начинают играть далеко не последнюю роль в принятии внешнеполитических решений. Горько звучат итоговые рассуждения автора о цивилизации и прогрессе в связи с военной кампанией в Ираке: *Экономические и социальные проблемы <...> можно решить с помощью мысли и действия. <...> Но самая серьезная человеческая ошибка, проблема человечества – война – до сих пор остается неразрешенной.*

Гэлбрейту вторит (и идет дальше) ставшая всемирно популярной после книги *No Logo: Люди против брэндов* журналистка **Наоми Кляйн**: *Ранее войны и бедствия открывали возможности перед узким сектором экономики – скажем, для производства истребителей или строительных компаний, которые восстанавливают мосты после бомбежки. При этом экономическая роль войны сводилась прежде всего к тому, что она позволяла открывать новые рын-*

ки, которые раньше были недоступны, и создавать повышенный спрос на продукцию при восстановлении мира. Теперь же война и бедствие целиком и полностью приватизированы – настолько, что сами становятся новым рынком и уже не нужно дожидаться окончания войны для роста спроса. Вышедшая в 2007-м книга Наоми Кляйн *Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф* по-русски появилась несколько месяцев назад (перевод с английского **М. Завалова**. – М.: издательство "Добрая книга", 2009. – 656 с.).

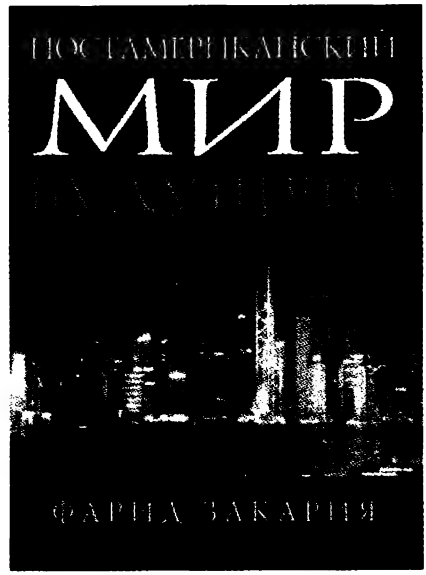
В своих рассуждениях о том, к чему ведет слияние частного и государственного секторов, Кляйн значительно более категорична, нежели Гэлбрейт. *Более точный термин для системы, которая стирает границы между Большим Правительством и Большим Бизнесом, – это не либерализм, не консерватизм и не капитализм, но корпоративизм. Ее главная характеристика – переход значительной массы общественного богатства в частные руки, нередко при этом растут долги, возникает все более широкая пропасть между неимоверно богатыми и на все готовыми бедняками и появляется агрессивный национализм, который позволяет оправдать бесконечные расходы средств на безопасность. Для людей, которые находятся внутри этого пузыря огромного богатства, это самое выгодное положение дел. Но поскольку подавляющее большинство людей оказывается вне пузыря, корпоративное государство начинает проявлять и другие характерные черты: агрессивный надзор, <...> массовые аресты, ограничение гражданской свободы и часто, хотя и не всегда, пытки.*

Наоми Кляйн делает, может быть, не безупречно корректный, но логически эффектный ход, расширяя буквальные смыслы понятий "пытка" и "шок" и перенося их на глобальные социальные процессы. Вынесенная в заголовок книги "доктрина шока" основывается на том, что крупные корпорации в своем стремлении к экстенсивному развитию заинтересованы в возникновении кризисных ситуаций и доведении их до состояния "катастроф" – чтобы затем преодолевать последствия этих катастроф при своем непосредственном участии. В рамках этой концепции благом для корпораций становятся и войны, и социальные революции, и природные катаклизмы: причем если они не случаются естественным образом, то их оказывается выгодно провоцировать и поощрять. (Здесь парадоксальным образом реализуются известные строки из коммунистического гимна, "Интернационала": "Весь мир

насилья мы разрушим до основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим...” — с поправкой, что в качестве “мира насилья” может выступать любая перспективная “строительная площадка”.) Согласно этой модели в один ряд у Кляйн выстраиваются и чилийский переворот 1973-го, и российские реформы 90-х, и вторжение в Ирак в 2003-м, и такие стихийные бедствия последних лет, как наводнение в Новом Орлеане или цунами в Шри-Ланке.

Конечно, о перерастании классического капитализма в капитализм монополистический мы знаем еще из “Капитала” Маркса, а об “империализме как высшей стадии капитализма” и о борьбе за глобальные рынки сбыта — из трудов Ленина, но ценность работ Джона Гэлбрейта и Наоми Кляйн в том, что они обобщают конкретный социальный опыт XX века и написаны не революционерами, а аналитиками. Их задача — не призывать к свержению сложившегося порядка (ведь, как показывает практика, радикальные революции чаще не улучшают, а ухудшают положение дел), а определить истинные координаты окружающего мира и понять, в какой же реальности мы живем на самом деле.

Актуальность этой задачи подтвердил и мировой экономический кризис 2008-го, заставивший среди прочего задуматься о посткризисных перспективах. Все чаще звучат мнения о конце однополярного мира, в котором господствует одна сверхдержава, и о постепенной трансформации глобального мироустройства. В 2008-м американский политолог, главный редактор еженедельника “Newsweek International” **Фарид Закария** опубликовал книгу *Постамериканский мир* (перевод с английского **Натальи Рудницкой**. — М.: издательство “Европа”, 2009. — 280 с.). “Постамериканский” мир, по мнению Закария, не означает мир антиамериканский: иными словами, глобальный баланс сил будет в ближайшем будущем меняться не вследствие ослабления Америки, а благодаря “возвышению” других игроков на мировой арене.



Какие из стран являются наиболее реальными претендентами на подобное “возвышение”, за счет чего оно может произойти и какова стратегия Америки в новой ситуации — вот основные вопросы этой книги. Главное внимание здесь уделяется двум азиатским гигантам: Китаю и Индии — именно они, считает Закария, обладают сегодня необходимыми экономическими и (что особо важно) человеческими ресурса-

ми. И пока в глобальном соревновании выигрывает Китай, который, по мнению автора, уже сейчас может считаться первым претендентом на роль альтернативного "полюса", или второй сверхдержавы.

К Индии Закария (будучи выходцем из этой страны) относится в целом более сочувственно, но ее шансы оценивает все же трезво. Индию — особенно в сопоставлении с Китаем — можно считать страной демократической, но именно в этом, утверждает Закария, и кроется ее слабость. Индия сопоставима с Китаем по интеллектуальному потенциалу, однако уступает в плане организационном, в координации и консолидации. Авторитарный режим и действующая система централизованного планирования (что Закария считает парадоксальным) делают Китай (с точки зрения уже упоминавшегося "корпоративизма") "корпорацией" более успешной, нежели Индия.

В самом деле, терминология "корпоративной эффективности" выглядит наиболее адекватной для описания новых мировых реалий — в то время как традиционные понятия: "капитализм", "социализм" или "демократия" — остаются скорее в арсенале социологов-историков и философов-теоретиков. "Неэффективная демократия" проигрывает на мировой шахматной доске "эффективной автократии". Отношение же Америки к партнерам по глобальной игре определяется в первую очередь прагматикой. Показательны в этой связи заголовки двух глав в книге Закарии: глава, посвященная Китаю, называется *Соперник*, а посвященная Индии — *Союзник*. Что касается нашей страны, то для нее не просто не нашлось отдельной главы: само имя *Россия* встречается на этих страницах до обидного редко.

И все же заключительный абзац *Предисловия к русскому изданию* книги Закария способен заразить читателя оптимизмом: *Несмотря на текущий экономический кризис, мы переживаем невероятные времена. Страны всего мира живут надеждой, они полны энергией. Мировая экономика обещает приличные условия существования для всех. <...> Главной задачей для Барака Обамы и лидеров его поколения будет создание новой системы международных отношений, которая поможет эффективно решать возникающие проблемы и в которую внесут свой вклад поднимающиеся страны. Это грандиозный проект XXI века: новая архитектура, которая обеспечит спокойствие, развитие и свободу для всего мира.*

Дон Делилло
Don Delillo
[р. 1936]. Американский писатель и драматург, лауреат многих национальных и международных премий.

Автор романов *Американа* [*Americana*, 1971], *Крайняя зона* [*End Zone*, 1972], *Грейт-Джонс-стрит* [*Great Jones Street*, 1973], *Звезда Ратнера* [*Ratner's Star*, 1976], *Игроки* [*Players*, 1977], *Бегущий пес* [*Running Dog*, 1978], *Имена* [*The Names*, 1982; рус. перев. 2000], *Белый шум* [*White Noise*, 1984; рус. перев. 2003], *Весы* [*Libra*, 1988], *Преисподняя* [*Underworld*, 1997], *Художник тела* [*The Body Artist*, 2001], *Космополис* [*Cosmopolis*, 2003], пьес *Инженер лунного света* [*The Engineer of Moonlight*, 1979], *Вальпараисо* [*Valparaiso*, 1999] и др. В *ИЛ* печатался его роман *Mao II* [2003, № 11–12] и статья *На руинах будущего* [2004, № 9].
Роман публикуется по изданию *Falling Man* [New York: Scribner, 2007].

Лоран Годе
Laurent Gaudé
[р. 1972]. Французский писатель и драматург. Лауреат премии Книготорговцев [2002], Гонкуровской премии [2002, 2004],

Автор романов *Смерть царя Тсонгора* [*La mort du roi Tsongor*, 2002; рус. перев. 2006], *Солнце клана Скорта* [*Le soleil des Scorta*, 2004; рус. перев. 2006], *Эльдорадо* [*Eldorado*, 2006], *Врата ада* [*La porte des Enfers*, 2008], пьес *Голубой тигр Евфрата* [*Le Tigre bleu de l'Euphrate*, 2002], *Онис неистовый* [*Onysos le furieux*, 2000] и др.
Рассказы *Le sang negré* и *Dans la nuit Mozambique* взяты из сборника *Dans la nuit Mozambique* [Gallimard, 2007].

Марк Фонтана
Marc Fontana
[р. 1957]. Французский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик с итальянского и литовского языков. С 2006 по 2009 год жил в Москве.

Автор многих сборников стихов, последний – *Переживание великих мгновений* [*Epreuves du grand moment*, 2008]. В его переводе на французский выходили произведения А. Моравиа, А. М. Рипеллино, М. Вольпи, Ф. Пустерла и др. Сотрудничал со многими журналами, как французскими, среди которых *Friches*, *Diérèse*, *Arpa*, *Nu(e)*, так и зарубежными: *Literatura ir menas* [Вильнюс], *Slovoto* [София].

Жак Ансе
Jacques Ancet
[р. 1942]. Французский поэт, переводчик с испанского.

Автор многих стихотворных сборников. Перевел произведения Х. А. Валенте, А. Гамонеды, Л. Сернуды и др.
Стихи взяты из сборника *Последняя фраза* [*La dernière phrase*. Lettres vives, 2004].

Жерар Бошолье
Gérard Bocholier
[р. 1947]. Французский поэт, профессор классической филологии в Клермон-Ферране. Главный редактор журнала *Apna*.

Автор многих стихотворных сборников.
Стихи взяты из сборника *Приход* [*La Venue*. Arfuyen, 2006].

Жан Мамбрино
Jean Mambrino
[р. 1923]. Французский писатель, поэт, переводчик с английского, литературный и театральный критик, сотрудничает с журналами *Les études*, *Times Literary Supplement* и *BBC*.

Автор многих стихотворных сборников.
Стихи взяты из сборника *Золотые сумерки* [*La pénombre d'or*. Arfuyen, 2002].

Жан-Ив Массон
Jean-Yves Masson
[р. 1962]. Французский поэт, переводчик с английского, итальянского и немецкого языков. Профессор кафедры сравнительного литературоведения в Сорбонне.

Автор многих стихотворных сборников. В его переводе на французский выходили произведения У. Б. Йейтса, М. Луци, Р. М. Рильке, Г. Гофмансталя и др.
Стихи взяты из сборника *Обеты мудрости и сновидений* [*Neuvains du sommeil et de la sagesse*. Cheyne éditeur, 2007].

Салах Стетие
Salah Stétié
[р. 1929]. Ливанец, пишущий на французском языке. Поэт, эссеист, долгое время состоял на дипломатической службе. Лауреат *Большой премии* в области франкофонии [1995].

Автор многих стихотворных сборников.
Стихи взяты из сборника *Текучесть смерти* [*Fluidité de la mort*. Fata Morgana, 2007].

Людовик Жанвье
Ludovic Janvier
[р. 1934]. Французский поэт, эссеист, романист гаитянского происхождения.

Автор многих стихотворных сборников.
Стихи взяты из сборника *Горстка людей* [*Une pognée de monde*. Gallimard, 2006].

Мишель Пастуро
Michel Pastoureau
[р. 1947]. Французский историк-медиевист. Специалист по геральдике, сфрагистике и нумизматике. Руководит кафедрой истории западной символики в Практической школе высших исследований в Париже. Член-корреспондент Академии надписей и литерату-

Автор многочисленных монографий. Мировую известность получили его книги по исторической семантике цвета (синий, красный, черный и др.), переведенные на многие языки. По-русски вышли его работы *Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола* [2001], *Геральдика* [2003], *Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей* [2008].
Текст публикуется по изданию *BLEU. Histoire d'une couleur* [Editions du Seuil, 2006].

ры. Член Международной академии геральдики, вице-президент Французского общества геральдики. Лауреат Национальной премии [2007]. Почетный доктор Лозаннского университета.

Игорь Померанцев [р. 1948]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий имени П. А. Вяземского [1996] и журнала *Октябрь* [2006]. С 1978 г. живет в Западной Европе [Лондон, Мюнхен, Прага], работает на радио *Свобода*.

Автор книг стихов *Стихи разных дней* [1993], *NEWS* [1998], *Почему стрекозы?* [1999], *Семейное положение* [2002], *Те, кто держали нас за руку, умерли* [2005] и др., а также четырех книг прозы и эссеистики, радиопьес.

Елена Николаевна Фанайлова Поэт, критик, обозреватель культуры радио *Свобода*. Лауреат премии Андрея Белого [1999], премии *Московский счет* [2003], премии журнала *Знамя* [2008].

Автор пяти поэтических книг. Переводила стихи Сергея Жадана [Украина] и Бригитты Олешински [Германия]. Пишет для журналов *НЛО*, *Сеанс* и др. Колумнист портала *Openspace.ru*.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Светлана Владимировна Силакова Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996] и премии имени А. М. Зверева [2007].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Татьяна Владимировна Чугунова
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе издавались статьи М. Пруста *Против Сент-Бева* [1999], романы Р. Радиге *Бес в крови* [2000], А. Маалуфа *Самарканд* [2003] и *Лев Африканский* [2004], Юлии Кристевой *Смерть в Византии* [2008] и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликован роман *Давний спор* С. Карьера [2007, № 4].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12], перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11], глава из романа *Благоволительницы* Дж. Литтелла [2009, № 5], фрагменты книги *Книгоиздание, пресса и власть во Франции в XX веке* Жан-Ива Молье [2009, № 7].

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Ваксмахера [2002] и *Мастер* [2008], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Прóклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], Ю. Киискинена [2009, № 9], Й. Инкалы [2009, № 9], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10] и др.

Алина Иосифовна Попова
Переводчик с французского и английского языков.

В ее переводе опубликованы эссе П. Валери, рассказы Д. Буланже, Э. Ионеско, А. Мишо [*ИЛ*, 2000, № 8], романы Н. Мишель, Ж.-Ф. Туссена, стихи П. Реверди [*ИЛ*, 1999, № 12], А. Бретона, Р. Десноса, Б. Пере [*ИЛ*, 2002, № 5], Жака Рубо [*ИЛ*, 2004, № 3].

Нина Федоровна Кулиш
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы фрагментов книги Ц. Тодорова *Человек, потерявший родину* [1998, № 6], эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], романа Ж. М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9], фрагментов книги Ф. Мюрэ *После Истории* [2001, № 4], эссе М. Уэльбека *На пороге растерянности* [2002, № 3], роман Ж.-Ф. Арру-Виньо *Урок непослушания* [2002, № 6], пьеса П. Бельфона *Совещание* [2009, № 7] и др.

Приносим извинения за допущенную в № 12 за 2009 год ошибку: в эссе А. Мелихова неправильно дано название книги Алэн Польц и имя переводчика.
Вместо названия "Женщина и война" следует читать "Женщины на фронте", а вместо фамилии переводчика Ю. Гусев – читать Е. Шакирова.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Жана Дюпа [1882–1964] *Суд Париса.*

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 17).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.03.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,00.
Уч.-изд. л. 26,67.
Заказ № 95 .
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

[5] 2009

РАССКАЗ АРНО ШМИДТА "ЛЕВИАФАН, ИЛИ ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ" / ФРАГМЕНТЫ РОМАНА АНДЖЕЯ БАРТА "ФАБРИКА МУХОЛОВОК" / ИШТВАН СИЛАДИ, ДЖОН МАКГАХЕРН, МУХАММАД-КАЗЕМ МАЗИНАНИ И КАЗИМЕЖ ОРЛОСЬ В ЛИТЕРАТУРНОМ ГИДЕ "DEREVENSKAYA ПРОЗА" / ПЕТР ВАЙЛЬ В РУБРИКЕ "IN MEMORIAM"